А.М. Александров-Агентов

от Коллонтай до Горбачева

Воспоминания дипломата,
советника А.А. Громыко,
помощника Л.И. Брежнева,
Ю.В. Андропова,
К.У. Черненко и
М.С. Горбачева

Под общей редакцией И.Ф. Огородниковой

МОСКВА
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»
1994

ББК 63.3(2)
А46

Александров-Агентов А. М.

А46 От Коллонтай до Горбачева / Под общей ред. И. Ф. Огородниковой. М.: Междунар. отношения, 1994.—304 с.

ISBN 5-7133-0799-9

Эта книга — итог пройденного пути человека, 50 лет жизни которого связаны с внешней политикой Советского государства. От референта корпункта ТАСС в Швеции в 1940 году до помощника по внешнеполитическим вопросам четырех лидеров КПСС — Л. И. Брежнева, Ю. В. Андропова, К. У. Черненко и М. С. Горбачева — таков его путь. В книге автор рисует целостную картину внешней политики СССР, дает характеристики и набрасывает портреты высших руководителей страны и мира. Наблюдательный, с феноменальной памятью, он ярко и точно воссоздает атмосферу эпохи. В книге использованы документальные и архивные материалы.

Для широкого круга читателей.

А $\frac{0503020000—043}{003(01)—94}$ Без объявл. **ББК 63.3(2)**

ISBN 5-7133-0799-9

Посвящаю светлой памяти верного спутника всей моей жизни Маргариты Ивановны Панкрашовой

I. В ГУЩЕ ДЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫХ

Автору этих строк довелось пройти в жизни длинный путь, в той или иной степени связанный с внешней политикой Советского Союза,— от скромной деятельности совсем еще «зеленого», со студенческой скамьи референта корпункта ТАСС в нейтральной Швеции вскоре после начала второй мировой войны до весьма серьезных обязанностей помощника по внешнеполитическим вопросам поочередно четырех главных руководителей КПСС (и тем самым Советского государства): Л. И. Брежнева, Ю. В. Андропова, К. У. Черненко и М. С. Горбачева. А в промежутке — долгие годы работы в МИД — и за рубежом, и в центральном аппарате этого ведомства. Поэтому теперь, подводя в конце жизни итоги пройденного пути, хочется вспомнить и рассказать о многом: и о том, в чем пришлось участвовать самому (пусть это и не такие уж крупные дела), и о том, что видел и слышал вокруг себя за эти насыщенные историческими событиями десятилетия, и о том, как все происходящее вокруг воспринималось и воспринимается, осмысливалось и осмысливается через призму прошедшего.

Поэтому и жанр предлагаемой читателю книги будет, я бы сказал, разнокалиберным, пестрым: от описания отдельных, даже небольших, но в чем-то типичных для своего времени жизненных событий и фактов до характеристик некоторых крупных деятелей страны и попытки как-то понять и истолковать «связь времен», смысл разворачивающихся событий. То есть это и воспоминания о каких-то фрагментах прожитой жизни, и

размышления о пережитом — разумеется, в пределах того, с чем мне как-то приходилось сталкиваться в жизни.

ДЛЯ НАЧАЛА О ЛИЧНОМ

Смысл любого повествования гораздо легче уловить и правильно понять, когда знаешь, кто рассказчик, почему он смотрит на вещи так, а не иначе. Поэтому прошу простить меня за нескромность, если начну с того, что расскажу немного о самом себе и о человеке, который в течение 52 лет был моим самым близким другом и во многом содействовал моему формированию как личности и как работника,— о моей ныне покойной жене Маргарите Ивановне Панкрашовой.

Родился я в 1918 году в Сибири в семье потомственных интеллигентов. Отец (умерший, когда мне было семь лет) был адвокатом, дед по материнской линии — практикующим врачом. Мать еще в первые годы века окончила в Петербурге физико-математический факультет Бестужевских курсов (первого в России женского университета). Во время революции 1905 года активно участвовала в революционных студенческих демонстрациях. Затем, вернувшись домой в Барнаул, стала учительницей сначала в гимназии, а после революции — в средней школе и оставалась ею до конца своей жизни — преподавала математику, естествознание, химию. С ней вдвоем я и прожил до поступления в университет в 1935 году. Жили бедно, даже очень бедно — времена были такие. Всегда в одной комнате, а в начале 30-х годов в Кузбассе некоторое время и в общежитии. Питание самое скудное, мебели никакой, кроме кровати, стола и стульев. Но зато, где бы мы ни жили (в Барнауле, Кемерове, в селах Алтайского края), комната всегда была завалена книгами — они лежали на столе, на подоконниках, даже на полу. И больше всего — художественная литература. (Мать, кстати, свободно читала по-немецки и по-французски.)

В 1935 году, окончив в Кемерове десятилетку, я поступил в давно облюбованный вуз — в Ленинградский институт философии, литературы и истории (ЛИФЛИ), который затем (кажется, в 1938 г.) преобразовался в фило-

логический факультет ЛГУ. Поступил я на лингвистический факультет, на скандинавское отделение. Главными для нас предметами (кроме общеобразовательных) были языки шведский, норвежский, датский, древнеисландский, литература скандинавских стран, а также дополнительно такие языки, как немецкий, английский, латынь.

Факультет был блестящий. Достаточно сказать, что среди наших преподавателей были такие звезды отечественной и мировой науки, как академики В. М. Жирмунский (романо-германская филология), Л. В. Щерба и И. И. Мещанинов (теория языкознания), В. В. Струве (история Древнего Востока), профессора Г. А. Гуковский (русская литература XVIII в.), С. И. Ковалев (античная история), А. П. Рифтин (общее языкознание), А. А. Смирнов (известный шекспировед) и многие другие.

В то же время немало прекрасных и популярных среди студентов преподавателей университета (в том числе на нашем факультете) внезапно «исчезло с горизонта», став в той или иной мере жертвами репрессий сталинского режима. Среди них и преподаватель шведского языка доцент В. В. Рахманов. Настроение студентов было подавленное. Никто, конечно, не верил, что преподавали нам «шпионы» и «враги народа». Но никто и не роптал — это тоже надо признать.

Что касается меня, то я в те годы от политики, тем более от внешней, был очень и очень далек. Все силы и мысли сосредоточивались на изучаемой специальности и на всем, что с ней связано. Казалось, что важнее скандинавской филологии ничего на свете нет. Моя первая научная работа, опубликованная в «Ученых записках ЛГУ» незадолго до окончания последнего курса, носит название «К вопросу о генезисе страдательного залога в древнеисландском языке». Признаюсь честно: в ее содержании теперь мне уж и самому трудно разобраться...

Чтобы пополнить скудный студенческий паек (стипендия была маленькая, жил все эти годы в общежитии), в каникулярное время подрабатывал переводами средневековых шведских текстов в библиотеке Академии наук. В итоге дело дошло до начала туберкулезного процесса (о нем я узнал позже, когда стал работать в Стокгольме).

Вот так и текли студенческие годы. Но самыми

большими для моей жизни в этот период событиями были знакомство, любовь и женитьба на студентке-однокурснице (с немецкого отделения) Маргарите Ивановне Панкрашовой.

Трудно представить себе более различные, чем у нас двоих, исходные позиции в жизни, которой затем предстояло стать общей, единой на 52 года. В отличие от меня, провинциала, Маргарита была коренной ленинградкой и интеллигенткой первого поколения: мать — мещанка крестьянских корней, отец — питерский пролетарий, моряк в первую мировую, коммунист ленинского призыва, позже — инженер на маленькой фабричке. Но материально семья жила вполне благополучно, а для дочери родители делали все, чтобы она получила хорошее, «престижное», как теперь принято выражаться, образование и совсем-совсем другую жизнь.

И вот дочку отдали в знаменитую Анненшуле на Невском, где преподавали по-немецки, на дом начали ходить учителя французского, английского и даже музыки, которая ее совсем не интересовала. Среди преподавательниц, призванных воспитывать этого пролетарского ребенка, были одно время даже вдова царского сенатора Вестмана и вдова печально знаменитого командующего русской армией в Восточной Пруссии генерала Ренненкампфа («обломкам старого режима» надо было на что-то жить). Но надо сказать, что вся эта возня Маргариту не избаловала и не испортила как человека. Она занималась с утра до поздней ночи, чуть не погибла от малокровия, но внутренне вся ушла в открывшийся перед ней новый мир. Ко времени окончания школы ее комната была переполнена прочитанными немецкими, французскими, английскими романами, книгами по истории и философии. Это изолированное и, можно сказать, самоуглубленное воспитание привело к тому, что Маргарита вышла из семьи со своими собственными, во многом противоположными семейной обыденности взглядами на жизнь, выработала в себе самостоятельность, нестандартность суждений и твердую волю. В университете она и по эрудиции, и по смелости подходов к учебным и жизненным проблемам значительно отличалась от большинства сокурсников. Стремление самостоятельно разобраться в окружающем, верность своим убеждениям, гражданское мужество в их отстаивании, нетерпимое отношение к формализму, шаблонности, халтуре,

конъюнктурщине и подхалимству — вот качества, которые она в итоге выработала в себе и пронесла через всю жизнь, в том числе и как работник МИД, и как ученый-историк.

И в том, что теперь принято называть «хобби», Маргарита Ивановна была глубока и последовательна. Так, соприкоснувшись в МИД с работой по организации наших документальных и художественных выставок в ряде стран, она, с детства привыкнув к частым посещениям Эрмитажа, Павловска, Русского музея, да еще насмотревшись потом на сокровища Лувра, Национальной галереи Лондона и десятков других музеев Европы и глубоко изучив множество книг и альбомов по истории искусства, достигла того, что к ее мнениям и взглядам с уважением прислушивались многие ведущие работники Эрмитажа и московского Музея имени А. С. Пушкина. Она была для них «своей».

В общем, согласитесь, я не мог не заинтересоваться столь необычной сокурсницей. Кстати, одним из знаков наших добрых отношений было то, что Маргарита весьма быстро (за какой-то неполный год) выучила в дополнение к прежним шведский язык, что, конечно, весьма облегчило нам обоим начало работы и жизни в Стокгольме, когда до этого дошло. Свои отношения мы скрепили заключением брака еще на четвертом курсе в 1939 году.

Так что летом 1940 года стены филфака ЛГУ на набережной Невы напротив «Медного всадника» покинула весьма своеобразная пара молодых интеллигентов, выросших и обученных в самую суровую и бесчеловечную эпоху сталинизма, но в то же время благодаря серьезному знанию четырех-пяти европейских языков и культуры соответствующих стран как бы внутренне отключенных от самых жестоких сторон окружавшей их тогда действительности и при этом искренне вдохновленных идеалами социализма как самого гуманного мировоззрения.

Теперь впереди была практическая жизнь — со всеми ее сложностями, неожиданностями, драмами, постижениями, обретениями и потерями.

ГОДЫ В ШВЕЦИИ. НА НЕЙТРАЛЬНОМ ОСТРОВКЕ СРЕДИ БУШУЮЩЕЙ ВОКРУГ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Летом 1940 года, едва успев сдать госэкзамены, я стал готовиться к поездке на работу в страну, язык и культуру которой изучал пять лет,— в Швецию.

Как это случилось? Да очень просто. Для этого не потребовались ни протекция, ни блат, ни другие хитроумные методы (чего у меня, конечно, не было и о чем я даже понятия не имел). Дело в том, что наш выпуск скандинавистов в ЛГУ оказался первым, молодых скандинавистов почти не было, а связи с северными странами росли и ширились и специалисты были нужны по многим линиям. И за нами началась настоящая «охота». Первыми «вербовщиками», установившими со мной контакт, были представители ТАСС. Мне была предложена командировка в качестве референта корреспондентского пункта ТАСС в Стокгольме. «Года на два,— сказали тогда мне,— а потом вы сможете вернуться и заняться научной работой в университете, как собирались».

Знать бы, что в жизни эти «два года» превратятся в семь лет и все обернется совсем иначе... Но тогда у меня никаких сомнений не было: подумать только — появилась возможность воочию увидеть и ощутить ту страну, язык и духовную жизнь которой изучал столько лет. Мне ведь иногда даже снился Стокгольм и почему-то его букинистические лавки! Так что, посоветовавшись с женой, которая меня поддержала (она ведь к тому времени, как я упоминал, и сама шведский выучила), я дал согласие. «Были сборы недолги»: через какую-то пару дней, собрав свои тощенькие чемоданчики с бельишком и словарями и попрощавшись с ошеломленными родителями (мать моя к тому времени перебралась из Сибири учительствовать в Новгород, чтобы быть поближе ко мне), мы устроились на третьих полках поезда до Москвы. Прибыв в столицу, мы явились в ТАСС. До сих пор помню, с каким удивлением взирали на меня тамошние кадровики: тощий парень в футболке, хлопчатобумажных штанах и брезентовых полуботинках. Другого у меня не было. Так что перед отправляющими встал вопрос не только оформления наших бумаг и организации кое-какой производственной практики (как мне показалось, довольно примитивной), но и приобретения элементарной экипировки для нас. Впрочем, все это заня-

ло не очень много времени — что-то около месяца, и вот уже нас обоих принимает в своем кабинете с прощальным визитом главный шеф — тогдашний генеральный директор ТАСС Я. С. Хавинсон. Напутствие его было довольно простым: упомянув, насколько большой интерес представляет для нас Швеция, он главным образом призывал к бдительности и дисциплинированности.

Но вот все позади, и ранним утром солнечного дня 22 июля 1940 г. мы поднимаемся с Центрального аэродрома (на Ленинградском проспекте) в небольшом самолете (что-то вроде ИЛ-12) и после пяти часов (такие тогда были скорости) мучительной болтанки с двумя промежуточными посадками (Великие Луки и Рига) оказываемся на стокгольмском аэродроме Бромма. Перед нами — новый мир, новая, совершенно незнакомая жизнь.

После того как не очень доброжелательные шведские таможенники (отношения со Швецией были тогда, после советско-финляндской войны, довольно напряженные) дотошно разобрали скудное содержимое наших чемоданов, включая личные письма, фотографии и т. п., мы наконец, ошарашенные и измученные, выходим из здания аэропорта и видим, что нас встречают: подходит, улыбаясь, шофер нашего дипломатического представительства (оно тогда называлось миссией и лишь потом через несколько лет — посольством), присланный А. М. Коллонтай, и прямиком везет нас в здание миссии.

Первые мимолетные впечатления из окна автомашины: нарядный, весь в зелени, чистенький, какой-то «умытый» город, неспешно движущиеся, хорошо, но не броско одетые пешеходы, масса велосипедов, заполняющих улицы (с автомобилями тогда было плохо из-за нехватки бензина — результат военной блокады). И в то же время мысли о том, что мы — в совсем другом «некотором царстве, некотором государстве», где не только капиталисты, классовая борьба, но и король, графы, бароны, помпезные официальные ритуалы...

Появились мы в Швеции в самый разгар войны между гитлеровской Германией и Западом. Уже были оккупированы Дания, Норвегия, Бельгия и Голландия и, самое главное, рухнула, потерпев позорное поражение, Франция. (Последнее явилось ударом для советского руководства, во многом нарушив его долгосрочные

внешнеполитические расчеты.) Внутри нейтральной Швеции — тоже напряженная борьба вокруг проблем внешней политики и накал страстей. Еще не утихли в сознании людей отзвуки недавней советско-финляндской войны, всколыхнувшей враждебные Советскому Союзу настроения в довольно широких массах шведского населения. И настроения эти еще больше подогревались реакцией на августовско-сентябрьские договоры между СССР и Германией 1939 года: ведь значительная часть шведов была настроена не только недоброжелательно к СССР, но прежде всего резко антинацистски. В самой стране, в ее политических, экономических и общественных кругах шла интенсивная (хотя чаще всего подспудная) борьба между сторонниками англо-американской и германской внешнеполитических ориентаций Швеции. Отношение к нам «влиятельных кругов» было по преимуществу негативным, но менялось волнообразно в ходе событий на международной арене.

Пришлось нам пережить и очень ощутимо почувствовать на себе эти «волны»: и после нападения на СССР гитлеровской Германии, когда со страниц всех «солидных» газет и из окон шведских домов, где было включено радио, неслись предсказания «неизбежного крушения Советов в течение максимум шести недель», и после ошеломившей легковерных «нейтралов» первой нашей победы под Москвой, когда начал развеиваться миф о непобедимости армий Гитлера, и после исторического сражения под Сталинградом, круто повернувшего и ход войны, и умонастроения народов Европы, и, уж конечно, тогда, когда огненный вал войны начал решительно откатываться обратно на Запад. Как разительно менялось на всех этих этапах отношение нейтральных шведов к Советской стране, а следовательно, и к нам, ее представителям!

Много возможностей для политической разведки и дипломатической борьбы давала тогдашняя Швеция, непрерывно балансировавшая между воюющими сторонами и подвергавшаяся их постоянному давлению. И какая удача, что велась там эта борьба с нашей стороны под руководством такого умного, опытного, авторитетного и тонкого политика, каким была Александра Михайловна Коллонтай.

Всего этого мы, конечно, еще не знали, едва ступив на шведскую землю, но первым врезавшимся в память

впечатлением в Стокгольме была именно беседа с Коллонтай.

Ну, казалось бы, какое это событие: приехал «младший чин» — референт корпункта ТАСС с женой, которая к тому же еще пока нигде не работала? Можно и не терять на это времени сверхзанятому человеку. Так нет, она приняла сразу же нас обоих в своем заваленном книгами и бумагами маленьком кабинете, приняла радушно и приветливо и долго расспрашивала о нашей жизни, учебе, о наших планах, немного рассказав попутно об обстановке, сложившейся в Швеции. В ответы вслушивалась внимательно, как бы стараясь определить, что перед ней за люди, каковы их потенции и природа. (Для такого интереса, как увидим, были свои причины.)

Очень обрадовало ее наше знание языков, особенно шведского. Мне она сказала: «Работайте не просто добросовестно, но с острым вниманием и живым интересом к окружающему, и тогда ваша информация будет полезна и Москве, да и мне здесь в работе. А иногда, может быть, буду просить вас помогать кое в чем в миссии» (так оно и бывало, если, например, шла речь об ответственных переводах). Жене пообещала помочь устроиться на работу, «чтобы не терять времени и квалификации». И действительно помогла: вскоре Маргарита стала работать в торгпредстве референтом-переводчиком. Кстати, там пришлось иметь дело с сыном Александры Михайловны — одним из ведущих инженеров торгпредства Михаилом Владимировичем Коллонтаем, человеком глубоких знаний, редкой интеллигентности и душевной мягкости.

Но о самой Коллонтай, о ее политической деятельности, стиле работы и жизни речь пойдет ниже. А пока — корпункт ТАСС в Стокгольме. Не очень внушительное учреждение: трех-(или четырех-?) комнатная квартира на втором этаже обыкновенного жилого дома неподалеку от центра Стокгольма. Самая непритязательная обстановка: деревянные стулья и письменные столы, шкафы, пишущая машинка и, конечно, несколько телефонов. Официальную представительскую и контактную работу вел корреспондент ТАСС, возглавлявший корпункт. Итоги своей активности он отражал в корреспонденциях, передававшихся по телефону или в информационных письмах закрытой служебной почтой.

При мне таких корреспондентов сменилось несколько: Лисин, Власов, Косов и, кажется, еще кто-то. Честно говоря, плоды их трудов особенно в память не врезались. Может быть, и потому, что я «по положению» не ко всему имел доступ. Что же касается автора этих строк, то здесь все было ясно: главная и первейшая задача — быстро, но внимательно, досконально прочитать большую кипу толстых сегодняшних газет — стокгольмских и главных провинциальных, отобрать из них самые важные политические, экономические и иные новости, затем перевести их, полностью или выборочно, на русский, отпечатать в нескольких экземплярах и полученную таким образом сводку немедленно передать по телефону в Москву стенографисткам ТАСС, а потом уже отнести для информации в миссию. Вот и все, вроде бы нехитрое дело, но сколько за этим было напряженного труда, сколько потребовалось времени и внимания, чтобы научиться разбираться в грудах новостей, сравнивать их, оценивать, анализировать, отбирать.

И конечно, никогда бы я с этой работой по-настоящему не справился, если бы рядом со мной в корпункте все эти годы не работал верный друг, товарищ и незаменимый учитель во всем, что касалось политической жизни,— взятый на работу в ТАСС шведский журналист и, как я понимаю, член ЦК Шведской компартии Кнут Бекстрем. Это был хорошо информированный, спокойный, вдумчивый человек, очень объективно оценивавший людей и события, далекий от какого-либо экстремизма и фанатизма. И вместе с тем человек величайшей добросовестности, трудолюбия и настоящей, прирожденной скромности. Кнут Бекстрем спокойно и терпеливо, день за днем посвящал меня в тонкости и хитросплетения шведской политической и экономической жизни, помогал разобраться в основных движущих силах и фигурах этой жизни. Словом, это был первый настоящий учитель в моей работе в Швеции. Несмотря на разницу в возрасте (Кнут был намного старше), мы стали настоящими друзьями, и я навсегда сохраню чувство благодарности к нему.

Так вот мы и работали на пару, выдавая ежедневно не один десяток страниц разнообразной информации — и по внутренним, шведским, и по международным делам. За машинистку приходилось работать тоже мне — по штату таковой в ТАСС не полагалось. Часть информа-

ции более долгосрочного и обобщающего порядка оформлялась в письма, направляемые в ТАСС почтой. Кстати, именно этот вид работы оказался мне весьма полезен позже, когда пришлось работать в дипломатической миссии.

Политическая жизнь внешне спокойной и благополучной нейтральной Швеции на самом деле представляла собой в эти бурные годы очень сложную и противоречивую картину. Правительство, руководившее страной в самые напряженные годы мировой войны, было коалиционным, в него входили представители всех крупнейших партий: социал-демократы, либералы, правые (консерваторы), аграрии (так называемый Крестьянский союз). Но в действительности правящие круги страны были, прежде всего в вопросах внешней политики, довольно четко разделены на несколько различных и по существу противоборствующих лагерей.

Значительная часть машиностроительной промышленности, судостроение, хорошо развитое торговое судоходство (заокеанские линии), значительная доля мощной финансовой группы Валленбергов (во главе с Маркусом Валленбергом) — такова в самых общих чертах была экономическая основа *проангло-американского* лагеря в политике Швеции. В партийно-политической жизни основной силой тут была либеральная партия, официально именуемая Народной. Но главным рычагом воздействия на общественное мнение страны у сторонников ориентации на Англию и США всегда была широко развитая и профессионально блестяще поставленная *пресса*, в том числе знаменитое издательство «Боньер» и такие влиятельные и популярные газеты, как, например, «Дагенс нюхетер» (Стокгольм) и «Гётеборгс хандельстиднинг» (Гётеборг). Естественно, что вокруг этого лагеря группировались многочисленные представители интеллигенции, особенно журналисты и писатели. Это были убежденные (причем часто весьма активные) антинацисты, ненавидевшие гитлеризм, сторонники либерально-буржуазного строя и стиля жизни, по большей части весьма прохладно и с подозрением относившиеся к Советскому Союзу и всему, что он представлял. Надо, однако, сказать, что по мере развития военных событий, укрепления антигитлеровской коалиции и ее военных успехов отношение проангло-американской части правящих кругов Швеции к СССР стало заметно

теплеть — хотя бы уж из соображений политического реализма.

Прогерманский лагерь в Швеции был не менее влиятелен и активен (хотя опоры среди широких кругов населения у него было гораздо меньше). Как ни парадоксально, но к его экономической базе относился частично тот же финансовый концерн Валленбергов (во главе с братом Маркуса Якобом, который в основном вел дела с Германией), далее — железорудная промышленность (почти целиком работавшая на военную машину Гитлера), остатки некогда могущественного спичечного концерна Ивара Крейгера (к тому времени уже покойного), принадлежавшие его брату Торстену Крейгеру весьма распространенные газеты «Стокгольмс-тиднинген», «Афтонбладет» и ряд других. Политико-парламентская опора этой группировки — Правая (консервативная) партия. Но самое главное то, что прогерманскими симпатиями в те годы явно «грешили» сам старик король Швеции Густав V, значительная часть аристократии и, что еще существеннее, высшего командования армии.

Была в Швеции и небольшая откровенно нацистская «партия», издававшая газетенку, но никаким влиянием и престижем она не пользовалась, ее сторонились даже активные приверженцы прогерманской политики.

Наконец, наиболее влиятельной силой, фактически определявшей внешнюю политику страны, была и долгие годы до войны, и во время нее, и десятилетия после войны *Социал-демократическая рабочая партия Швеции*. Только в наиболее острый военный период она, как уже упоминалось, поделилась властью со своими соперниками — либералами, консерваторами, аграриями, создав во имя укрепления нейтральных позиций страны коалиционное правительство. Но и здесь ключевые позиции оставались за социал-демократами. Прекрасно организованная партия с давними историческими традициями (создана в 1889 г., а ее бессменный лидер в годы перед второй мировой войной и во время всей войны Пер-Альбин Ханссон, фактический преемник основателя партии Яльмара Брантинга, был одновременно и главой правительства) была весьма влиятельна в широких слоях трудящегося населения, особенно рабочего класса. Ее социал-реформистская идеология, курс на «повышение

общественной роли и благосостояния трудящихся путем мирного соглашения с буржуазией» благоприятно воспринимались многими трудящимися в этой стране, не отличавшейся особенно резкими социальными контрастами. Что же касается внешней политики, то тут представители социал-демократов в правительстве и парламенте (за некоторыми исключениями, например ярого антисоветского активиста министра Сандлера в период советско-финляндской войны) были твердыми и последовательными сторонниками и проводниками политики нейтралитета. На этой почве П.-А. Ханссон даже пошел на определенные разногласия с королем, который, угрожая ему отставкой, требовал далеко идущих уступок Гитлеру после нападения Германии на СССР (пропуск германских войск через территорию Швеции на Восточный фронт и др.). Дело, правда, закончилось компромиссом: шведы разрешили немцам на определенное время транзит их «отпускников» из оккупированной Норвегии. Но в целом социал-демократы, задававшие тон во внешней политике Швеции и в период коалиционного правления, нейтралитет действительно сохраняли.

Видные лидеры правительства из числа социал-демократов — премьер Ханссон, министр финансов Э. Вигфорсс (он особенно), министр социальных дел Г. Мёллер и некоторые другие — постоянно поддерживали тесные и доверительные контакты с Коллонтай. Это было, бесспорно, полезно (например, при решении торговых вопросов, проблем отдельных советских граждан, оказавшихся на территории Швеции, налаживании контактов с Финляндией в целях прекращения войны и во многом другом).

Каково было отношение к Советскому Союзу? Позиция рабочего класса, пожалуй, главным образом определялась влиянием социал-демократов. В период советско-финляндской войны отношение было в основном негативным, а после нападения гитлеровской Германии на СССР и отпора, который получили захватчики, оно сменилось на сочувствие и даже солидарность. Это было нетрудно видеть, находясь в стране. Среди шведской интеллигенции уже давно сложился определенный, хотя и не очень многочисленный, круг прогрессивных деятелей — журналистов, ученых, писателей, артистов, которые последовательно выступали за развитие добрых отношений с нашей страной, идя по стопам таких круп-

нейших деятелей европейской культуры, как Ромен Роллан, Бернард Шоу, Генрих и Томас Манны и др. Шведские деятели культуры становились, как правило, личными друзьями Коллонтай. Они образовали ядро созданного во второй половине 30-х годов общества дружбы «Швеция — СССР».

Активнейшим образом выступала за дружбу и сотрудничество с Советским Союзом *Коммунистическая партия Швеции*. В отношении внешней политики она твердо защищала линию нейтралитета. Однако и численность, и политическое влияние компартии были невелики. В парламенте (риксдаге) она не была представлена. Хотя печать компартии (газета «Ню даг» в столице и «Норшенсфламман» на севере страны) была заметным фактором в мире шведской прессы.

Расширять свое влияние и агитировать за дружбу с СССР коммунистам в Швеции было трудно. На то было много причин — и исторических, и социальных.

Прежде всего об исторических. Как это ни странно звучит, но в некоторых государствах (особенно, по-видимому, в небольших) старые, иногда вековой давности исторические события создают в сознании народов столь прочные традиции и стереотипы, что их влияние сказывается и по сей день. Так вот и со Швецией. Сотни лет назад, в начале XVIII столетия, неудачный исход большой войны с петровской Россией навсегда изменил политическую роль Швеции, переведя ее из ранга великой европейской державы в категорию сравнительно небольшого государства. И войн-то серьезных с Россией с тех пор не было, и полный мир царил между обеими странами полтора века — и все же в сознании широких масс шведов (особенно не очень образованных) укоренился образ «русского» как «извечного врага». Детей малых испокон веков в деревнях пугали «русскими»...

Да что в деревнях. Расскажу об одном курьезном случае, который произошел со мной в высоких кругах столицы (уже когда я стал дипломатом, работал в миссии). На каком-то из приемов я познакомился с полковником шведского штаба обороны (генштаба), носившим, кстати, звучную аристократическую фамилию. Мы разговорились (безо всякой цели, по крайней мере с моей стороны). Полковнику очень понравилось, что я свободно говорю по-шведски, и он сказал в

заключение: «Мы обязательно должны еще встретиться и продолжить наш приятный разговор». Как положено, по окончании приема я доложил об этом случае начальству. Коллонтай сказала: «А что? Продолжите знакомство, может быть, это будет полезно. Пригласите его на ленч куда-нибудь».

И вот, следуя полученным указаниям, я вскоре позвонил своему новому знакомому и спросил, не согласится ли он пообедать со мной в ресторане «Подвал оперы» в удобный для него день. Приглашение было принято, мы встретились за маленьким столиком у окна. Но, прежде чем я, следуя протокольным обычаям, предложил приветственный тост, мой гость вдруг встал, выпрямился, как струна, и торжественным тоном провозгласил: «Господин атташе, позвольте мне прежде всего выразить свою сердечную признательность за ваш дружественный жест: за то, что вы пригласили меня на эту дружескую встречу именно сегодня — в день годовщины битвы под Полтавой. Я это высоко ценю». Я чуть не подскочил на стуле от неожиданности! Пустяковый эпизод, но выразительная иллюстрация той исторической традиции, о которой я говорил выше.

И, конечно, коммунистам, да и всем, кто стремился в Швеции к развитию добрых отношений с Советским Союзом, было в это время (т. е. по крайней мере до середины 1941 г.) трудно преодолевать либо открытую, либо глухую враждебность и недоверие сотен тысяч шведов, вызванные войной 1939—1940 годов между СССР и Финляндией.

Не способствовало успехам компартии с ее антикапиталистическими установками, конечно, и сравнительно благополучное материальное положение трудящихся, несмотря на то что война придвинулась к границам страны и внешняя торговля была сильно урезана. Продуктов в общем хватало, хотя некоторые продавались по карточкам, промтоваров тоже. Только бензина не было. До сих пор помню карикатуру в одной из шведских газет тех лет. На ней было изображено яростно бушующее море войны: вздымаются волны, летают самолеты, взрываются бомбы, тонут корабли. А в центре всего этого ада — маленький тихий островок, на котором перед уютной хижиной сидят на скамейке старичок и старушка. И старушка, оторвавшись от вязания чулка, говорит мужу:

«Слушай, если это будет продолжаться долго, у нас, пожалуй, не останется кофе».

Много материалов (и внутренних, но еще более международных) пришлось передать в ТАСС за те два с половиной года, что я проработал в корпункте. Но особенно четко сохранилось в памяти одно: в течение нескольких недель в мае — июне 1941 года мы настойчиво, чуть не ежедневно, передавали в Москву поступавшие из разных источников многих стран мира (по газетам, по устным рассказам приезжавших людей) сообщения, смысл которых сводился к тому, что в самые ближайшие дни предстоит нападение Германии на Советский Союз. Увы, эти наши корреспонденции, как и сообщения, я уверен, из ряда других стран, как и донесения разведчиков, включая Зорге, должного эффекта, как известно, не возымели...

Что касается моих собственных дел, то за время работы в корпункте ТАСС я отчасти благодаря своим ежедневным пресс-сводкам, отчасти же просто личному общению установил контакт со многими сотрудниками нашей дипломатической миссии (которая к концу войны уже стала именоваться посольством). Чаще всего речь шла о помощи с каким-либо переводом: в посольстве мало кто прилично знал шведский. А меня после пяти университетских лет и нескольких лет в Стокгольме шведы порой даже за земляка принимали. Поэтому, когда под влиянием тяжелых военных событий в августе 1942 года заболела и надолго выбыла из строя Александра Михайловна Коллонтай, оставшийся во главе миссии в качестве временного поверенного в делах советник Владимир Семенович Семенов, в отличие от Коллонтай языка страны не знавший, уговорил меня перейти на работу в миссию и как-то быстро оформил это в Москве. И вот с декабря 1942 года я стал работать там (поначалу в должности переводчика с паспортом атташе, потом — атташе, затем — вторым секретарем посольства). Так началась моя работа в МИД (тогда Наркоминделе), которой суждено было завершиться через 50 лет — в 1992 году!

Если вспомнить о пяти годах, которые мне довелось проработать в нашей миссии (посольстве) на улице Виллагатан, то, конечно, надо прежде всего говорить о доминирующей фигуре и этого учреждения, и всей нашей политики в отношении Швеции в предвоенные и военные годы — об Александре Михайловне Коллонтай.

Для нас, молодых, это была не просто уважаемая начальница. О нет, гораздо больше: это была живая легенда. Ведь мы же прекрасно знали ее биографию: решительно порвавшая с высшими аристократическими кругами царской империи, к которым принадлежал ее отец, активная участница международного революционного движения с первых лет XX века, друг и товарищ по революционной работе таких выдающихся деятелей мирового социалистического движения, как Жан Жорес, Поль Лафарг (зять Маркса), Георгий Валентинович Плеханов, Карл Либкнехт, Роза Люксембург, Клара Цеткин, основатель шведской социал-демократии Яльмар Брантинг, и, наконец, одна из давних и близких соратниц Ленина, член первого советского правительства, образованного в 1917 году. Нет смысла подробнее рассказывать здесь о деталях биографии этой поистине уникальной личности: об этом написано достаточно во многих книгах на разных языках. Мне здесь хочется подчеркнуть другое: уникальность ее жизненного пути (как, разумеется, и ее выдающиеся способности) заложила прочную основу для успеха ее деятельности как посла Советского Союза в Швеции.

Прежде всего это касается контактов, связей, информированности. Еще в дореволюционные времена уходило своими корнями ее близкое знакомство с виднейшими деятелями шведской *социал-демократии*, находившейся в это время у власти. Я уже упоминал премьера Ханссона, министров Вигфорсса, Мёллера, к ним можно добавить бургомистра Стокгольма К. Линдхагена, влиятельного председателя городского совета Стокгольма Ц. Хёглунда (знакомого еще с Лениным), многих парламентариев. Для *придворных кругов* и вообще аристократии Коллонтай была хоть и «большевичкой», но как бы только наполовину, там знали и помнили ее

аристократическое происхождение и воспитание, близость ее семьи к царскому двору и даже тот факт, что детские годы Шурочка нередко проводила в поместье своей бабушки в Финляндии. Король был к ней весьма благосклонен, а его братья (особенно эстет-европеист и художник принц Евгений) просто считали себя друзьями мадам Коллонтай. С ведущими *финансовыми и торгово-промышленными кругами* страны Александра Михайловна умела находить общий язык еще с тех лет, когда была торгпредом в Норвегии. И успешно культивировала свои связи в этих кругах: недаром к числу ее наиболее близких знакомых относились владельцы могущественного финансового концерна Валленбергов и крупнейший судовладелец Карл-Аксель Юнссон.

Наконец, известный во всей Европе (да и в США) блестящий публицист и оратор, а также в какой-то мере и писательница (у нее ведь были и художественные произведения — например, повесть «Василиса Малыгина»), Александра Коллонтай просто не могла, находясь на своем видном дипломатическом посту, не стать центром притяжения значительной части левонастроенной шведской *интеллигенции*. И она им стала. Вокруг нее образовалась немалая группа друзей из разных сфер духовной жизни Швеции — науки, искусства, литературы, журналистики. И многие из их числа оставались ее верными друзьями на разных этапах внешнеполитических бурь и до последних лет ее жизни. Мне в этой связи хочется назвать здесь такие имена: выдающиеся медики профессора Нанна Свартц и Израель Хольмгрен, доктор Ада Нильссон (ее ближайший, самый доверенный друг), химик профессор В. Пальмэр, физик профессор Эва Пальмэр, видный политический и общественный деятель адвокат Георг Брантинг (сын Яльмара), всемирно известный художник-экспрессионист Исаак Грюневальд, блестящий артист и директор стокгольмского Театра эстрады Карл Герхард, видная актриса Найма Вифстранд. Список мог бы быть продолжен.

И не только узкими группами видных деятелей ограничивалась популярность Коллонтай в Швеции. То ли пресса и радио, то ли тысячеустая молва тому способствовала, но только имя ее было известно практически в каждом шведском доме. Мне приходилось бывать в шведской «глубинке» за многие сотни километров от

Стокгольма, где собеседники, простые крестьяне, узнав, что я русский, восклицали: «О! Мадам Коллонтай!»

Или помнится такая сценка. Уже после оккупации гитлеровцами Дании и Норвегии, когда немцы, исподволь создавая психологическую атмосферу для будущей агрессии против СССР, всячески старались распространить в Швеции недружественные нам настроения, «звезда» шведской политической эстрады, неистощимый шутник и откровенный антинацист Карл Герхард, выступая со сцены своего театра, вдруг заявляет: «Обо мне ходят слухи, что я принадлежу к «пятой колонне» (по-шведски — «фемте колонн»). Так вот, это — ложь. На самом деле я принадлежу к „Колонн-тай"!» И реакция зала — дружные аплодисменты.

Удивительно ли, что при всем сказанном выше Коллонтай была самым осведомленным, самым информированным о делах и политике Швеции дипломатом среди всего дипломатического корпуса Стокгольма. Это открыто признавали многие иностранные послы.

И еще одно обстоятельство не могло тут не сыграть своей роли. На протяжении всех лет работы в Швеции Коллонтай твердо придерживалась позиции *поддержки шведского нейтралитета*, в том числе и в такие острые и деликатные периоды, когда проявлялось явно отрицательное отношение шведов к нам во время советско-финляндской войны 1939—1940 годов и Стокгольм сделал ряд уступок немцам после начала гитлеровской агрессии против СССР. В стратегическом плане, считала Коллонтай, нам гораздо выгоднее проявить определенную сдержанность в отношении Швеции и не дать сбить ее с позиции нейтралитета ни англо-французам (в 1939 г.), ни немцам (в 1941 г.). Думается, шведское руководство об этих взглядах Коллонтай знало достаточно хорошо и ценило их. А вот наши руководители далеко не всегда проявляли понимание этой позиции или по крайней мере тактики своего посла в Стокгольме и даже относились к ней с определенным подозрением (впрочем, об этом я еще скажу).

Очень трудным для Коллонтай и ее работы в Швеции оказался период, который последовал за заключением советско-германских договоров о ненападении (август 1939 г.) и о «дружбе и границе» (сентябрь 1939 г.). Это было политическим шоком не только для большинства наших друзей в Швеции, но и для всех антинацистских

и просто либеральных сил в стране. Политическая атмосфера в отношении СССР стала резко негативной. Хотя правительство Швеции стремилось остаться в рамках нейтральной корректности (тем более что боялось немцев), общественно-политические круги своих эмоций не скрывали. Самой Коллонтай, много лет жизни посвятившей борьбе с фашизмом, соглашение с Гитлером было, конечно, принять нелегко. Но, как посол своей страны, она должна была его оправдывать, а как политик — стараться убедить себя в необходимости такого шага для оттягивания войны с Германией.

В большом письме, написанном из санатория своей близкой подруге доктору Аде Нильссон осенью 1939 года, Коллонтай (явно под впечатлением от советско-германских соглашений) пишет: «Разве это не абсолютно новый метод разрешения конфликтов между государствами, который применяет сейчас СССР? Разве не умнее и гуманнее решать проблемы с помощью договоров и переговоров вместо того, чтобы хвататься за оружие?»[1].

Отражая по-своему тот же период в жизни Коллонтай, уже упоминавшийся шведский театральный деятель и добрый друг Александры Михайловны Карл Герхард так описывает в воспоминаниях случай, происшедший на полупустом приеме в советской миссии вскоре после заключения договора с немцами: «Мадам Коллонтай принимала гостей с обычной любезностью и достоинством, только два ярких пятна на щеках говорили о том, что у нее нет обычного душевного равновесия. И вот в тот момент, когда мадам Коллонтай протянула мне руку, в меня вселился какой-то бес. Я щелкнул каблуками с прусской дисциплинированностью, поднял вверх руку с вытянутой ладонью и прокричал громким голосом: «Хайль Гитлер!» В комнате сначала наступила тишина, но когда Коллонтай, широко улыбаясь, сказала: «Да, но мы по-прежнему коммунисты», вокруг возникло сдержанное веселое оживление»[2].

Невзирая на попытки как-то оправдать как необходимые соглашения с Германией и, конечно, вынужденная отстаивать эту позицию как посол в своих оценках ситуации, направлявшихся руководству МИД в этот период, Коллонтай проявила себя проницательным и хладнокровным аналитиком, всесторонне оценивающим политическую обстановку в стране пребывания и воз-

можности ее использования в интересах родины. И уж меньше всего она подделывалась (как это бывало тогда с некоторыми нашими не очень умными дипломатами) под «прогерманский» дух официальных московских деклараций того времени, хорошо понимая их истинную цену.

Чтобы наглядно проиллюстрировать объективность и четкость коллонтаевского анализа внешнеполитических аспектов шведской политики, ее оценку действий в этой стране враждующих лагерей — гитлеровской Германии и Англии — и выводов, которые можно было сделать из этого для нашей политики, приведу несколько существенных, на мой взгляд, цитат из политических писем, направленных Коллонтай В. М. Молотову в сентябре — ноябре 1940 года (т. е. в период действия наших договоров с Германией).

Сначала о контактах с *проанглийскими* элементами:

«Соблюдая соответствующие осторожность и такт, мы могли бы поддержать те проанглийские силы в Швеции, которые ищут в англичанах и американцах противовес немецкой политике в Швеции. С другой стороны, нам следует внимательно следить за эмиграцией из прибалтийских стран. В руках немцев эти элементы могут явиться удобным оружием для антисоветской работы в Швеции»[3].

И далее, об обратной стороне медали — о необходимости учитывать наши отношения с *Германией:*

«О том, что по вопросу продвижения Германии в ее борьбе с империалистической Англией у нас могут быть свои соображения и что нам может быть выгодно «до определенных пределов» не осложнять наши отношения с Германией,— этого шведы не понимают, так же как не желают этого понять и проанглийские дипломаты»[4].

К империалистической политике Германии и Англии и их сторонников в Швеции Коллонтай относится с одинаковой настороженностью и бдительностью. В письме от 28 октября она пишет Молотову: «Подавляющее большинство шведского населения со страхом и ненавистью опасается, как бы Германия не решила, что момент настал „включить Швецию в сферу великой Германии“»[5]. Но тут же следует острое предупреждение насчет английской линии: «Проанглийские круги здесь очень желали бы провоцировать осложнения между

нами и Берлином, невзирая на пагубные последствия подобной политики для самой Швеции»[6].

И чем больше продвигается подготовка Гитлера к нападению на СССР, чем ближе срок реализации «плана Барбаросса», тем больше растет тревога Коллонтай (как будто чувствовавшей, к чему идет дело) в отношении действий немцев и их агентов на шведской земле. Вот что пишет она Молотову 24 ноября 1940 г.: «Влияние Германии и работу шведских нацистов не следует недооценивать. Она, несомненно, усилилась за последние два месяца». И далее: «Нацистская идеология расползается и внедряется в шведскую общественность с быстротой, которая создает у меня опасения, не бывшие у меня еще несколько месяцев тому назад»[7].

Хорошо информированный и опытный политик, Коллонтай, конечно, предвидела возможность нападения Гитлера на СССР в близком будущем. Можно даже сказать, что она это предчувствовала. Видный шведский дипломат Гуннар Хэгглёф вспоминает о разговоре, который состоялся у него с Коллонтай в марте 1941 года на одном из приемов в советской миссии. Поскольку он только что вернулся из Берлина, Коллонтай спросила, как он оценивает позицию Германии в отношении Советского Союза. Хэгглёф ответил, что, по его мнению, Гитлер объявит войну России. «Увидел слезы на ее глазах,— продолжает он,— и какое-то мгновение она сидела молча. Потом она слегка похлопала меня по руке и сказала: „Будьте спокойны, дорогой г-н Хэгглёф. Вы не имеете права говорить мне это, а я не имею права слушать вас“»[8].

Несомненно, нападение гитлеровской Германии на СССР, а затем и присоединение Финляндии к этой агрессии были очень тяжело восприняты Коллонтай, которую, возможно, до конца не покидала надежда, что войны удастся избежать «с помощью договоров и переговоров». И хотя Александра Михайловна мужественно держалась и настойчиво проводила диктуемую новой обстановкой политическую линию, а также всячески старалась поддерживать дисциплину, мужество и патриотизм в рядах советских работников в Швеции, ее здоровью был нанесен серьезный удар, что в недалеком будущем (с весны 1942 г.) незамедлило проявиться.

Две главные цели, на которые Коллонтай направляла в этот период все свои усилия, были таковы: пер-

вая — удержать Швецию на позиции нейтралитета, не допустить ее втягивания в войну на стороне гитлеровцев, оказывать в этом направлении все возможное влияние и на правящие круги, и на общественность Швеции и вторая — попытаться побудить Финляндию выйти из войны.

Достижение первой цели было делом более легким: шведы сами не хотели втягиваться в войну и всячески сопротивлялись усилиям Германии в этом направлении, пытаясь «откупиться» более или менее частными уступками (разумеется, за счет интересов СССР). Тут Коллонтай было сравнительно нетрудно находить какую-то почву для взаимопонимания с премьером Ханссоном и министром иностранных дел Гюнтером. Сложнее было успокоить Сталина и Молотова, убедить их, что Швеция сохранит нейтралитет.

Между тем страх перед Германией и недоверие к ней росли среди шведов по мере распространения германской агрессии, а симпатии к Советскому Союзу вновь стали увеличиваться, когда стало ясно, с каким мужеством сопротивляются советские люди. В этих условиях большое значение приобрела надлежащая постановка нашей пропаганды в Швеции. И в этом плане делалось немало. Английский биограф А. М. Коллонтай Кэти Портер пишет по этому поводу: «Александре удалось содействовать росту симпатий многих шведов к России, организовав выпуск ежедневного бюллетеня с информацией о военных усилиях России»[9].

Сама Александра Михайловна писала об этом 16 апреля 1942 г. И. М. Майскому, послу СССР в Англии: «Наш бюллетень имеет огромный успех, расходится в количестве 10 тыс. экземпляров в день. Шлют запросы на него со всех концов Швеции, и даже попы просили прислать им бюллетень (на шведском языке), благословляя Красную Армию за то, что она спасает мир от фашизма»[10].

Бюллетень назывался «Новости из Советского Союза». Я хорошо помню его рождение и работу над ним, так как был ее активным участником. Поначалу это было совсем скромное издание, выпускавшееся на гектографе, и нашей главной целью было быстро снабжать шведскую печать свежей и правдивой информацией о жизни и борьбе Советской страны. Печатались сводки Совинформбюро, статьи таких популярных писателей,

как Илья Эренбург, Константин Симонов, Алексей Толстой, и другие материалы. Спрос на бюллетень быстро рос (насчет церковных кругов не знаю, но на шведских промышленных предприятиях, среди рабочих бюллетень был известен). По мере роста популярности и материальных возможностей бюллетень превратился в красиво оформленный иллюстрированный журнал, который делал свое большое и полезное дело.

Особо хочу отметить огромную роль, которую сыграл в организации и выпуске этого издания тогда еще совсем молодой шведский журналист коммунист Свен Сторк. С первых дней выпуска бюллетеня мы буквально дни и ночи работали с ним рука об руку над отбором, переводом и редактированием материалов. Свен Сторк еще студентом прекрасно изучил русский язык, был переводчиком высокого класса и талантливым журналистом и литературоведом. В те первые военные недели мы, работавшие над созданием бюллетеня, чувствовали себя как на боевом посту, и я видел, что Свен (или Никки, как шутя звали его жена и близкие друзья — по второму имени Никлас) отдавал все свои силы этому столь нужному для антигитлеровской борьбы делу. Таким он и остался до конца жизни — активным пропагандистом советской культуры, переводчиком нашей литературы, настоящим, искренним другом Советской страны. Предпоследний раз мы увиделись и по-братски обнялись с ним и его милой женой Анной-Марией в 1986 году во время моей краткой (на три дня) командировки по линии МИД в Швецию. Их скромная двухкомнатная квартира была заполнена книгами. Мы сидели и часами вспоминали «минувшие дни и битвы, где вместе рубились...». А последнее свидание состоялось годом позже, уже у меня на квартире в Москве, куда Свен прилетел по своим литературным делам. Через несколько месяцев я узнал о его смерти. Хочу лишь сказать, что память о таких людях привязывает к «чужой» стране крепче, чем рациональные мотивы.

Активно участвовала Коллонтай и в такой работе, как организация сбора среди населения Швеции денег и вещей для Фонда обороны СССР. Даже сама принимала людей, вносивших свой вклад в это благое дело.

Коллонтай воевала на своем боевом посту стойко, мужественно и не жалея сил (а ведь ей было уже 70 лет). Но адское напряжение (о дополнительных причинах

которого я еще скажу) взяло свое. В августе 1942 года на нее обрушилась беда — сердечный приступ, причем настолько тяжелый, что в больнице она долго лежала без сознания с почерневшим лицом и врачи серьезно опасались за ее жизнь. Характерная для нее деталь: прежде чем позволить сыну и своей верной секретарше Эми Лоренсон отвезти себя в больницу, Александра Михайловна, собирая остатки сил и сознания, привела в порядок все важные бумаги в своем кабинете. Спасли ее от смерти в тот раз высокое мастерство и неусыпные заботы двух преданных подруг — доктора Ады Нильссон и профессора Нанны Свартц. Она слегла надолго, находилась в приморском санатории в Сальтшёбадене недалеко от Стокгольма. Руководство текущими делами посольства принял на себя как временный поверенный в делах советник Владимир Семенович Семенов.

Это был довольно сложный период в наших отношениях со Швецией, нередко случались серьезные обострения, которые активно эксплуатировались гитлеровской дипломатией, стремившейся втянуть шведов в войну с СССР. Одним из постоянных источников раздражения и конфликтов были обстоятельства, связанные с перевозкой в Германию шведской железной руды. Примерно треть всей военной промышленности Германии работала на железной руде, поставлявшейся с рудников на севере Швеции шведскими судами по Ботническому заливу (т. е. между Швецией и Финляндией). И довольно регулярно эти суда подвергались нападениям «неизвестных» подводных лодок, многие из них были потоплены. Швеция, хотя и не имела прямых доказательств, утверждала, что подводные лодки были советскими, заявляла нам самые резкие протесты и угрожала, что все это серьезно повлияет на характер шведско-советских отношений. Мы, естественно, отрицали свою причастность к этим нападениям и говорили о немецких провокациях.

В памяти у меня сохранился один связанный с этими драматическими обстоятельствами курьезный эпизод. Он относится, конечно, и к некоторым особенностям стиля нашей тогдашней дипломатии (не коллонтаевского!), и к специфике работы переводчика. Временный поверенный в делах СССР был вызван в МИД Швеции к министру иностранных дел Гюнтеру, где выслушал очередной резкий протест с едва прикрытой угрозой по пово-

ду очередного инцидента с судном и подлодкой в Ботническом заливе. Я сопровождал поверенного в делах для перевода беседы. Министр был грозен и суров. Руководитель советской миссии слушал его спокойно, а потом, обратившись ко мне, вдруг произнес: «Скажите ему, что это гром не из тучи, а из навозной кучи». Что тут было делать? Я на секунду смешался, но потом, собравшись с мыслями, перевел так: «Господин министр, господин поверенный в делах говорит, что подобного рода громогласные угрозы нас совершенно не пугают».

Так или иначе, а война делала свое дело, отражаясь и на советско-шведских отношениях. Особенно это стало заметно после разгрома гитлеровцев под Сталинградом. Официальная Швеция заметно «смягчила» свою позицию в отношении СССР. И на советские приемы стали активнее ходить, и острота враждебной нам пропаганды в «большой» прессе притупилась, а уж после поражения немцев на Курской дуге и вовсе. В относящихся к этому периоду высказываниях и воспоминаниях шведских политиков неоднократно мелькала мысль о том, что правящие круги Швеции стали опасаться, что СССР при поддержке своих союзников по коалиции потребует от Стокгольма вступления в войну против Германии. Хотя, должен сказать, мне такого рода попытки с нашей стороны неизвестны. (В начале второй мировой войны Москва решительно выступила против попыток немцев вовлечь Швецию в войну.)

Но вот чего стали всерьез опасаться в Стокгольме на этом явно неблагоприятном для Германии повороте войны, так это нового и на этот раз более тяжелого по своим последствиям краха Финляндии как союзницы Гитлера в войне против СССР. И Стокгольм начал нажимать на финнов, побуждая их к выходу из войны. Примерно с осени 1943 года, когда Коллонтай вернулась из Сальтшёбадена и вновь приступила к работе (фактически еще полубольная), до нее стали доходить сведения (через МИД Швеции) об осторожных зондажах финнов насчет возможности переговоров о мире. Об этом, конечно, докладывалось в Москву, и Коллонтай имела соответствующие установки.

Коллонтай проявила инициативу и при посредничестве банкира Маркуса Валленберга (имевшего немалые капиталы в Финляндии) установила контакт с прибывшим в Стокгольм Паасикиви. Финнам были переданы

наши условия — жесткие (включая объявление ими войны Германии), но в общем не очень отличавшиеся от условий 1940 года. Последовали месяцы ожесточенной политической борьбы в самой Финляндии, где столкнулись сторонники и противники мира. Активизировался Берлин: в Хельсинки явился Риббентроп, который навязал президенту Рюти формальное закрепление военного союза с Гитлером.

Однако новые победы советских войск на Восточном фронте, открытие союзниками второго фронта на Западе и усиление нашего военного нажима на финнов сделали свое дело. Рюти был вынужден уйти в отставку, и в августе 1944 года Гюнтер смог наконец сообщить Коллонтай, что финны хотели бы направить в Москву делегацию для переговоров о прекращении войны. 17 сентября 1944 г. перемирие с Финляндией, как известно, было подписано. К радости шведов (и наверняка Коллонтай), обошлось без оккупации Финляндии Советским Союзом.

Успешное завершение переговоров с Финляндией было, конечно, в значительной мере триумфом для Коллонтай, потребовавшим немало физических и моральных сил в тяжелейших для нее лично обстоятельствах. Реакция не замедлила проявиться: новый тяжелейший инсульт, паралич левой половины тела, да еще воспаление легких. Позже она писала об этом в письме давней знакомой: «Я поплатилась за время подготовки переговоров параличом левой ноги и руки, но продолжала работать и оставаться на «поле брани» до отъезда делегации финского правительства в Москву, после чего слегла от истощения и воспаления легких»[11].

В марте 1945 года А. М. Коллонтай была отозвана в Москву, и на этом ее дипломатическая карьера фактически закончилась. Завершение ее было, по меркам того времени, почетным: она была назначена советником Министерства иностранных дел СССР, но, конечно, практически уже не работала, а мирно доживала свой век в компании неизменно преданной секретарши Эми Лоренсон в небольшой квартире на Ленинском проспекте (тогда Б. Калужской), занимаясь в основном мемуарами. Умерла Александра Михайловна в марте 1952 года, не дожив двух недель до своего 80-летия (отметить которое, кстати, уже договорилась с министром Вышинским в особняке МИД на ул. Алексея Толстого).

Такова в общих чертах внешнеполитическая сторона

деятельности Александры Михайловны Коллонтай на посту советского посла (сначала посланника) в Швеции, свидетелем которой мне в какой-то мере довелось быть. Но есть еще другая, *внутренняя* сторона этой деятельности, знать которую очень важно для более глубокого понимания смысла, подоплеки и причинной связи многих событий. Речь идет о факторах, во многом обусловивших стиль ее жизни и работы, характер ее отношений с руководимым ею коллективом советских работников в Швеции.

Для нас, воспитанных в суровой обстановке Советского Союза 30-х годов, вся жизнь и атмосфера в дипломатическом представительстве на Виллагатан, 17 выглядели довольно странно. Все крутилось вокруг «мадам», определялось ее личными традициями, вкусами, привычками. В парадных (приемных) залах висели ее портреты и фотографии выдающихся деятелей из мира международной политики и искусства с автографами. Специальная секретарша аккуратно вела альбомы вырезок из прессы разных стран, где что-либо говорилось о Коллонтай. Находясь на излечении в санатории, она одно время вызывала к себе дипломата из посольства, хорошо владевшего французским языком, и диктовала ему дневниковые записи по-французски.

Александра Михайловна не препятствовала развитию контактов своих сотрудников с иностранцами (знаю это и по себе), но крупные политические задачи ставила перед ними редко, а главные связи — с членами правительства, дворцовыми кругами, «королями» экономики — поддерживала лично (пока позволяли силы).

На приемах блистала. До сих пор у меня перед глазами картина: стройная, хрупкая (а ведь почти 70-летняя) Коллонтай в черном бархатном платье с белым испанским кружевным воротником и с букетом роз, лежавшим на руке, танцует вальс, меняя язык своих бесед почти так же часто, как партнеров по танцу.

А вот обобщенными выводами из собранной ею обширной информации, анализом и оценкой важнейших событий делиться не любила даже со старшими дипломатами посольства, оставляя основное «про себя». Впрочем, это одно из проявлений стиля работы, характерного для ветеранов советской дипломатии, интеллигентов дореволюционной формации (таких, как Литвинов, Суриц, Майский и др.). Одному из них приписы-

вают фразу: «Дайте мне хорошего повара, стенографистку и шофера, а с остальным я управлюсь сам». Кстати, шофер у Коллонтай был нанятый ею швед (пока из Центра не заставили его заменить), а самую доверенную секретаршу она в последнее время оплачивала не за счет Центра, а из собственных средств.

Все сказанное вовсе не означает, что Коллонтай была безразличной к судьбам и нуждам сотрудников посольства и вообще советских людей в Швеции. Напротив, она всегда была очень внимательной ко всем их нуждам и бедам и по-настоящему активно гуманной. Знаю это и по собственному опыту.

В начале войны мою мать, которая тогда учительствовала в Новгороде, направили в эвакуацию в поселок Быстрый Исток Алтайского края (на берегу Оби, между Барнаулом и Бийском). Никакой связи у меня с ней (из-за немецкого окружения Швеции) долгое время не было. И вдруг я получаю неведомыми путями дошедшее письмо, в котором мать рассказывает, как тяжело ей живется. Одинокая, полуслепая (близорукость около 20 диоптрий), она еще вдобавок сломала очки. И обувь вся развалилась. По сибирскому морозу приходится ходить, обмотав тряпками ноги... Придя в ужас и не зная, что предпринять, я в отчаянии побежал прямо к Коллонтай. Александра Михайловна встретила меня упреком: все чего-то просят, а вы никогда ни с чем не обращались... И тут же начала действовать: договорилась с английским посольством о переправке небольшой посылки через Англию и велела мне за один день эту посылку собрать. Я, конечно, приложил все силы, чтобы это сделать: купил две пары очков, теплые ботинки, юбку, кофту и т. д. И вот через каких-то полтора месяца приходит новое письмо от матери: она безгранично счастлива и не знает, как благодарить Александру Михайловну. Хочу подчеркнуть, что это был не показной жест со стороны Коллонтай, а естественное проявление гуманизма ее натуры — в этом я убеждался не раз.

А как же с «блестящей изоляцией» и стилем «маленького герцогства»? Тщеславие? Да, в какой-то мере было и это. Но главное — в другом.

Коллонтай было очень тяжело жить и работать в Стокгольме потому, что она была окружена стеной недоброжелательности и недоверия со стороны советских людей. Причем и сверху, и снизу.

Прежде всего сверху. Ее не любили и фактически открыто не доверяли ей Сталин и Молотов.

У Сталина был на то целый ряд причин. Во-первых, он не очень жаловал вмешательство женщин в серьезную политику (восточная традиция?). Во-вторых, он знал, что Коллонтай всегда обладала исключительным гражданским мужеством и не подделывалась под политику вышестоящих, если она противоречила ее убеждениям. Все знают о ее полемике с Лениным в 1921 году в период «рабочей оппозиции» и X съезда (она и ее единомышленники были за расширение влияния профсоюзов, а не партии на производстве). Но не все, вероятно, помнят, что и ранее ей приходилось открыто спорить с Лениным по крупным вопросам, например о лозунге превращения войны империалистической в войну гражданскую. (Она считала, что такая постановка вопроса подрывает борьбу масс за мир.) И, уж конечно, Сталин понимал, что она, если бы дело дошло до этого, не стала бы подстраиваться под многие из догм, изложенных им в «Кратком курсе» и других произведениях. В-третьих, он, конечно, хорошо знал, что она в ужасе от истребления им старых большевиков (среди которых был и ее бывший муж П. Дыбенко). Пока Коллонтай молчала, дисциплинированно сидя на своем посольском посту, но кто знает...

Недаром, по свидетельству ее бывшего секретаря Марселя Боди, она еще в 1930 году, приехав из Москвы в Стокгольм, говорила ему: «Что касается меня, то я запрятала свои принципы в дальний уголок своего сознания и осуществляю, насколько могу, политику, которую мне диктуют»[12]. Трудно, конечно, поручиться за точность цитаты, но смысл этих слов, вероятно, отражает действительное состояние духа Коллонтай. Недаром опять-таки, уезжая в командировку в Москву по вызову в 1937 году, Коллонтай обращается к своему близкому другу — доктору Аде Нильссон с просьбой позаботиться о ее личных бумагах, «если со мной случится какое-нибудь несчастье»[13].

В-четвертых, Сталин (как и Молотов) считал, что Коллонтай пристрастна к шведам, слишком им симпатизирует и поэтому необъективна в своей информации. Характерно, что в одной из бесед с переведенным тогда в Москву из Стокгольма английским послом Керром Сталин спросил его (это был первый период

войны), не считает ли он, что Швеция вступит в войну на стороне Германии. «Нет, не считаю,— сказал Керр,— думаю, шведы сохранят свой нейтралитет. И ваш посол мадам Коллонтай тоже так считает». «Ну, наш посол в Стокгольме не очень хорошо видит»,— заметил Сталин. (Цитирую по памяти из однажды виденной записи беседы.)

И наконец, Сталина, судя по всему, беспокоило содержание мемуаров Коллонтай. Недаром, если верить свидетельству перебежчика Петрова (в то время он был шифровальщиком резидентуры НКВД в Стокгольме), Сталин, когда с Коллонтай случился удар, систематически требовал информацию о состоянии ее здоровья, а агенты НКВД в нашем посольстве получили (и выполнили) указание тайно вскрыть сейф Коллонтай и сфотографировать его содержимое[14]. Но, как видно, ничего страшного не нашли: Коллонтай была достаточно осторожным человеком.

Молотов также не доверял Коллонтай как человеку, с его точки зрения, прозападных, либеральных настроений. И конечно, тоже считал ее необъективной в отношении Швеции, а заодно и Финляндии. Характерна фраза, которую он бросил в разговоре с Коллонтай сразу после начала советско-финляндской войны в 1939 году: «Не беспокойтесь за свою Финляндию, через три дня все будет кончено»[15]. Ошибся тогда нарком в своих расчетах, крепко ошибся...

Не могу не сказать об одной резолюции Молотова на пересланном ему Вышинским доносе, «посвященном» Коллонтай одним из тогдашних дипломатов нашей миссии (причем именно дипломатом, а не «стукачом»-профессионалом). Донос был грязненький и мелочный: мало информирует своих сотрудников, окружила себя шведской обслугой, падка на лесть, поселила в здании миссии сына и невестку и т. п. Не поленившись прочитать эту бумагу, Молотов (в то время, как известно, нарком иностранных дел) начертал на ней крупными буквами синим карандашом: «Надо о т. Коллонтай подумать. Кстати, почему ее сын с семьей находятся там?» Обычно, по нормам того времени, такая резолюция должна была означать отзыв посла, «разбирательство» и... бог знает что дальше. Но вся штука в том, что процитированная здесь грозная резолюция была наложена... 19 июня 1941 г. Через три дня началась война, и тут уж

было не до разбирательства с доносом на Коллонтай. А потом у нее был инсульт, а потом... ее услуги вновь понадобились для организации вывода Финляндии из войны. Так все и кончилось благополучно.

Но сама-то Коллонтай, конечно, хорошо знала об отношении к ней высшего советского руководства. Тем более что там, на месте, на Виллагатан, 17, оно имело свои довольно осязаемые материальные последствия: наше представительство было буквально наводнено работниками госбезопасности, действовавшими под разными «крышами», но имевшими задание не столько собирать нужную стране информацию о внешнем мире, сколько... следить за Коллонтай. Я видел в архивах и другие, уже более «профессиональные» доносы на нее: куда поехала, с кем встречалась, почему не составила запись беседы и т. п. И не случайно Александра Михайловна посадила клеить в альбомы вырезки из газет и журналов присланную ей из Москвы «личную секретаршу»: у нее тоже было аналогичное задание. Можно себе представить, как все это действовало на нервы Коллонтай, как мешало ее ответственной, действительно нужной народу работе.

Кстати, «стукачи» не обходили своим вниманием и рыбешку помельче. Мне уже позже, после возвращения из командировки в Швецию, рассказывали товарищи, что сами видели «где положено» доносы подобного же типа на меня и жену: где были, с кем разговаривали и пр. А при тех активных контактах с политическим и культурным миром, которые нам по поручению начальства приходилось поддерживать, материалов для подобных «документов» было, видимо, достаточно. Остается только удивляться, как это мы нетронутыми остались. Может быть, помогло доброе отношение руководства посольства — Коллонтай, Семенова, Чернышева. А может быть, и та помощь, которую я, считая своим патриотическим долгом, иногда оказывал нашим военным представителям в обработке поступавших к ним материалов о гитлеровской Германии. (Даже получил в военные годы орден Красной Звезды.)

Но если уж речь идет о трудностях в работе Коллонтай внутри посольства, то здесь нельзя обойти и такой вопрос, как ее взаимоотношения с работником, которому предназначено было быть ее главной опорой, помощью, а нередко и заменой (в случае болезни). Я имею в

виду уже неоднократно упоминавшегося советника посольства (миссии) Владимира Семеновича Семенова. По моему личному впечатлению, эти отношения сложились не совсем удачно. Уж очень разные это были люди — и по воспитанию, и по жизненному опыту, и по стилю работы.

О Коллонтай достаточно сказано выше. Что же касается В. С. Семенова, то это был хотя и молодой тогда (около 30 лет), но уже довольно опытный дипломат, который успел даже поработать советником в нашем посольстве в Берлине до нападения Гитлера на СССР. И образование было на уровне: окончил, если не ошибаюсь, философский факультет Ростовского университета, был начитан и трудолюбив, любил музыку. Однако найти общий язык с Коллонтай ему было трудно. Насквозь «идеологизированный», довольно жесткий и бескомпромиссный, это был в то время типичный дипломат сталинско-молотовской школы. Недаром он позже был заместителем Молотова в МИД, а затем Громыко. С «либералкой» Коллонтай и нейтральными шведами у него дело шло как-то со скрипом. Не случайно один из западных дипломатов в Москве (кажется, норвежский посол Андворд) в разговоре с одним из заместителей нашего министра иностранных дел (насколько помню, Лозовским) заявил следующее: «Мадам Коллонтай — большой патриот и большой друг Швеции. Господин Семенов — тоже большой патриот, но он не друг Швеции». И не случайно опять-таки Молотов, получив записку Коллонтай о желательности пополнения нашего посольства в Стокгольме молодыми, новыми кадрами (а Семенов в это время был по вызову в Москве), написал на полях: «Это она на Семенова намекает». Но так или иначе, их сотрудничество вскоре закончилось, и Семенову не пришлось стать преемником Коллонтай на посту посла в Стокгольме. Ему предстояла другая, более масштабная деятельность. После окончания войны он был назначен в Берлин политическим советником главы Советской военной администрации в Германии маршала Жукова, затем — Верховным комиссаром в нашей зоне (ГДР), а позже, как уже упоминалось, стал заместителем министра и затем на долгое время — послом в ФРГ.

ПРЕЕМНИК КОЛЛОНТАЙ — ИЛЬЯ СЕМЕНОВИЧ ЧЕРНЫШЕВ

На смену Коллонтай был послан в Стокгольм сначала (в 1944 г.) советником, затем временным поверенным в делах, а с 1947 года уже послом молодой дипломат Илья Семенович Чернышев. Это оказалась удачная замена. Нелегко было работать послом в Стокгольме после Коллонтай с ее богатейшими связями и огромной популярностью. Но Чернышев справился. Помогли ему в основном не эрудиция и опыт — их было не так много: окончил исторический факультет Московского университета, успел некоторое время поработать (как и Семенов, но на более скромной должности атташе) в нашем полпредстве в Германии перед началом Великой Отечественной войны, а потом — в центральном аппарате Наркоминдела (где, кстати, был одним из помощников заместителя наркома Деканозова). Успех ему обеспечили, по-моему, в первую очередь личные качества — природный ум и деликатность, неподдельная скромность и умение ладить с людьми, как со своими, так и с иностранцами, любознательность и какой-то веселый, настойчивый оптимизм.

Коллонтай отнеслась к нему благожелательно, с доверием и, видимо, передала, что могла, из своих связей и информации. У меня до сих пор сохранилась полученная от нее из Москвы в 1947 году записка, где она благодарит меня и мою жену «за то, что вы так хорошо помогаете Илье Семеновичу». И то сказать, помогать ему (например, ориентироваться в делах в стране, в сборе и оформлении информации) приходилось немало. Ведь этот самый молодой тогда советский посол (получил свой ранг в 32 года) не знал еще ни страны, ни тем более ее языка (справлялся немного с немецким). И что совсем необычно для мидовских нравов тех времен — он не только был благодарен за получаемую помощь, но даже направил в Москву ряд существенных документов (например, характеристики членов шведского правительства и т. п.) за *двумя* подписями: «Посол СССР в Швеции И. Чернышев, атташе А. Александров».

Следует добавить, что и жена И. С. Чернышева Галина Дмитриевна была под стать ему по характеру и стилю общения с людьми: веселая, приветливая, чуждая

всякому чванству, она не только спокойно и умело общалась с иностранцами, но с такой же естественностью активно участвовала наравне со всеми, например, в субботниках по уборке школы и других подобных мероприятиях. Наверное, вспоминала при этом комсомольские годы на строительстве Магнитогорского комбината.

Среди своих Илья Семенович был активным членом волейбольной команды, а «в верхах» — не менее активным партнером по теннису, причем играл регулярно не только с членами дипломатического корпуса, но, бывало, и с самим королем — немаловажный признак того, что его «признали» в шведских правящих кругах. Дело было, конечно, не только в том, что шведы увидели и оценили его открытую, доброжелательную натуру. С самого начала стало заметно, что Чернышев, чуждый всякому великодержавному зазнайству, с интересом и уважением относится к Швеции, ее жизни, экономике и культуре и является определенным сторонником дальнейшего развития и углубления советско-шведских отношений. Все это, разумеется, облегчало молодому послу развитие полезных контактов с различными влиятельными кругами страны.

И Чернышеву крупно повезло: его предложения о комплексном развитии торговых, культурных и иных связей со Швецией, внесенные вскоре после окончания войны, были положительно встречены в Москве и, что самое главное, получили поддержку Сталина. В августе 1945 года Чернышев был вызван в Москву на заседание Политбюро, где обсуждался этот вопрос. (За ним был прислан специальный военный самолет, так как регулярного воздушного сообщения между Москвой и Стокгольмом еще не было.) Было принято развернутое решение об отношениях со Швецией — и дела пошли. Важным этапом на этом пути стало заключение уже в следующем, 1946 году крупного советско-шведского торгового договора. (Одним из горячих сторонников этого соглашения был занимавший тогда пост министра торговли, видный прогрессивный общественный деятель, добрый друг Коллонтай и Чернышева профессор-экономист Гуннар Мюрдаль.)

Оживились и культурные связи. Советский Союз посетила группа крупных шведских журналистов, на сценах Швеции выступали видные деятели советского искус-

ства и культуры: композиторы Шапорин и Шебалин, писатель Леонид Соболев, «звезда» Большого театра певица Вера Александровна Давыдова, молодой тогда пианист В. К. Маржанов, с блеском провел свои гастроли хор русской песни под управлением А. В. Свешникова. Поездки крупных представителей деловых кругов обеих стран для заключения торговых сделок стали делом обычным.

Словом, труды Коллонтай и Чернышева давали свои плоды: отношения с нашей нейтральной соседкой Швецией становились на прочные рельсы.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ АППАРАТЕ МИД СССР. 5-Й ЕВРОПЕЙСКИЙ ОТДЕЛ

«Все имеет свой конец, а колбаса даже два»,— говорит шутливая немецкая пословица. Пришел конец и моему семилетнему пребыванию в Швеции. Просил я об отзыве домой давно, много раз, но отпустили только осенью 1947 года.

В бытовом отношении московская жизнь началась трудно: в Москве у нас не было никакого жилья, долго ютились у знакомых, потом — в малюсенькой комнатке бывшего мидовского дома отдыха на станции Клязьма. И лишь летом 1948 года выделили мне комнату (правда, большую) в одной из квартир в доме МИД на улице Горького, где мы прожили впятером (мы с женой, две дочери и моя мать) до 1956 года.

Работать я начал в 5-м Европейском отделе министерства (Скандинавские страны и Финляндия) сначала первым секретарем, заведующим референтурой (сектором) по Швеции, затем помощником заведующего отделом.

В целом скажу сразу: те 13 лет (1948—1961 гг.), которые мне довелось проработать в центральном аппарате МИД (сначала в старом здании на Кузнецком мосту, а с 1952 г.— в новом высотном здании на Смоленской площади), значили для меня много, стали существенной частью моей жизни. Пришлось заниматься многими сложными и интересными проблемами, повидать немало стран (особенно в период работы советником у А. А. Громыко), а главное — сотрудничать

со многими интересными людьми, выдающимися дипломатами, яркими личностями, общение с которыми оставило глубокий след. Назову в этой связи хотя бы такие имена, как Г. М. Пушкин, В. С. Семенов, В. В. Кузнецов, Н. С. Патоличев (он три года был в МИД заместителем министра), собратья по «скандинавистике» А. Н. Абрамов и П. Д. Орлов, мои многолетние коллеги — германисты С. Г. Лапин, А. И. Блатов и А. Г. Ковалев, американисты А. Ф. Добрынин, Г. М. Корниенко, М. Н. Смирновский, мощная команда «разоруженцев» — С. К. Царапкин, К. В. Новиков, Ю. М. Воронцов, О. А. Гриневский, Р. М. Тимербаев, а также такие разносторонние и высокоодаренные дипломаты, как Л. И. Менделевич и В. М. Фалин.

И конечно, А. А. Громыко (о котором подробнее речь пойдет ниже). Можно, пожалуй, в этом контексте назвать и Н. С. Хрущева, к работе над материалами которого я как представитель МИД не раз привлекался его секретариатом, имел при этом неоднократные контакты с ним самим, а затем участвовал в двух его весьма известных поездках: в мае 1960 года в Париж (где он сорвал совещание руководителей четырех великих держав) и в сентябре того же года в Нью-Йорк, на сессию Генеральной Ассамблеи ООН (10 суток через Атлантику на небольшом дизель-электроходе «Балтика»).

Но все это было позже, когда я уже продвинулся немного по иерархической лестнице министерства, стал сначала помощником заведующего 5-м, потом 3-м Европейским отделом (Германия и Австрия), заместителем заведующего, а с 1957 года — советником при министре (Громыко). Первоначальное знакомство с МИД, где первые годы я трудился вторым, затем первым секретарем «пятой Европы», произвело самое унылое впечатление. Я в полной мере изведал в эти годы, чем и как живет «глубинка» мидовского аппарата — нижние эшелоны этой громадной бюрократической машины, то есть сотни людей. Как я теперь ясно понимаю, в стиле их работы и всем укладе их жизни в те времена достаточно четко отразились многие характерные черты управленческой машины сталинского режима в целом: максимальный, абсолютный централизм, неодобрение всяческого вольнодумия и «неуместной» инициативы снизу, доведенная до абсурда секретность и полная изоля-

ция рядовых работников от серьезной политической информации — отведение им роли «винтиков».

Коллектив «пятой Европы» работал в основном именно в таких условиях. Правда, это был, так сказать, «провинциальный», не самый боевой отдел (в отличие, скажем, от германского или американского), но общий стиль для массы рядовых работников был в общем один и тот же. Говоря прямо, это было застойное бюрократическое болото, в котором весьма трудно было реализовать себя способным и готовым к активности работникам. А самое худшее, что для части сотрудников это стало привычной и даже удобной формой существования. Десятки людей корпели с утра до позднего вечера над составлением бумаг, не имевших фактически никакого реального значения: составляли аннотации квартальных и годовых отчетов наших посольств и миссий, зачастую высасывая из пальца далекую от реальной жизни и реальной обстановки в соответствующей стране «критику» этих отчетов, сооружали переписанные из материалов тех же посольств справки по различным вопросам и характеристики для досье (или, как у нас выражались, «для шкафа»), чтобы было чем отчитаться о проделанной работе. Да и откуда нам, бедолагам, было брать что-то другое, если доступа к информации не было никакого: рядовым работникам не показывали записей бесед вышестоящего начальства с иностранцами, не показывали (и даже не пересказывали) телеграмм, поступавших от наших послов, не давали иностранных газет. Даже с бюллетенями ТАСС разрешали знакомиться лишь урывками — только с информацией, имеющей прямое отношение к данной стране. А контакты с посольством соответствующей страны сводились к обмену нотами по текущим делам. При этом даже минутный разговор по телефону с кем-либо в «подшефном» посольстве по какому-либо мелкому текущему делу должен был фиксироваться в письменном виде для отчета. Что же касается решения этих текущих дел, то по любому из них, даже самому незначительному и очевидному, требовалась письменная санкция «курирующего» отдел заместителя министра. Соответствующие докладные записки шли потоком из отделов к бедным «замам», а от них — обратно в отделы с резолюциями. Словом, «дел» хватало...

Так называемые производственные совещания, кото-

рые периодически положено было проводить в отделе (тоже для отчетности), сводились к совершенно бессодержательным разговорам по всем давно известным вопросам — никто ничего иного и не ждал. Моя попытка провести пару таких совещаний на шведском языке (для тех, кто изучал или числился изучающим шведский) потерпела полный провал: это был просто односторонний монолог.

Свое самое яркое выражение тенденция к отстранению рядовых сотрудников МИД от участия в более или менее серьезных политических делах получила в пресловутом приказе Вышинского (когда он стал министром): не допускать к участию в подготовке проектов записок в «директивные органы» (т. е. в ЦК или Совмин) работников, занимающих должность ниже заместителя или помощника заведующего отделом. (Распоряжение это было позже, в 1953 г., отменено Молотовым, кстати, по моему предложению.)

Прошу прощения у читателя, но не могу удержаться от того, чтобы не процитировать случайно обнаруженный мною в старых бумагах шутливый стишок, который я набросал как раз в те годы, о коих идет речь. При всей его литературной беспомощности он, по-моему, неплохо отражает царившую в наших душах реакцию на это царство бюрократизма, так по крайней мере отозвались о нем тогда мои коллеги. Звучал он так:

В этой тихой заводи чиновников
не слыхать, хоть бейся и реви,
ни блатных напевов уголовников,
ни напева нежного любви.

В основном — «входяще-исходящие»
да уныло пухнущий «контроль»...
Нет уж, видно, люди мы пропащие
и глотать бумажки — наша роль.

И хоть в каждом есть еще стремление
хоть чуток поэзии найти,
наше маленькое вдохновение
выхода не может обрести.

Но ура! Идея гениальная:
что если отныне нам начать

все бумажки наши тривиальные
только в рифму, строфами писать?

И начальство тоже резолюции
налагать пусть учится в стихах...
Только от такой ведь революции
разберет его, пожалуй, страх.

И издаст начальство повеление:
дескать, пусть рачительный поэт
подает скорее заявление,
что работать здесь охоты нет.

Но шутки в сторону. Конечно, и в этих условиях во всех эшелонах мидовского аппарата, в том числе и в нижних, было много талантливых и знающих людей. Но развивать свои способности, по-настоящему повышать свою квалификацию они могли либо в период загранкомандировок (ротация), либо поднимаясь по служебной лестнице в рамках самого МИД.

Если же говорить о крупных политических проблемах, касающихся стран Северной Европы, которыми в те годы пришлось заниматься МИД — и в какой-то мере нашему отделу тоже,— то их было, пожалуй, две (причем взаимозависимые).

Это прежде всего заключение 6 апреля 1948 г. в Москве Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и Финляндией. Инициатива его заключения принадлежала Сталину — и это был очень умный и своевременный шаг. Он сделал возможным преодоление за довольно короткий период порожденных двумя недавними войнами вполне понятных взаимных чувств недоверия, подозрительности и неприязни между народами обеих стран. Заключенный договор стал хорошей базой для развития по-настоящему добрых и взаимовыгодных отношений между СССР и Финляндией на последующие годы и десятилетия. Это был в общем действительно равноправный и справедливый договор.

Президент Паасикиви и его правительство проявили достаточно государственной мудрости и дальновидности, чтобы принять его таким, каким он был предложен, даже если у финнов, может быть, и не вызывало особого энтузиазма включение в текст договора пункта о «взаимной помощи» в военном плане. Стороны обязывались

сотрудничать при отражении военного нападения «Германии или любого союзного с ней государства» на Финляндию или на Советский Союз через территорию Финляндии. В Хельсинки, конечно, понимали, что подобный пункт был минимальной уступкой со стороны Финляндии, неизбежной в послевоенной обстановке. К тому же финнам удалось получить своего рода «компенсацию» — признание Советским Союзом в том же договоре «стремления Финляндии оставаться в стороне от противоречий великих держав». То есть это было все-таки признание своего рода нейтралитета Финляндии (хотя и не безоговорочного), что для финнов, конечно, было немаловажно в условиях разгоревшейся тогда уже «холодной войны» между бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции. Тем не менее с нашей стороны и тогда, и многие годы после делалось все, чтобы слово «нейтралитет» в применении к политике Финляндии не употреблять, дабы не ослаблять ее военное обязательство, содержащееся в договоре.

Не могу не сказать и о том, что удачному старту договора способствовала спокойная, доброжелательная и весьма уважительная в отношении недавнего противника речь, произнесенная Сталиным на обеде по случаю подписания договора. В речи содержались и более широкие по смыслу слова о возможности большого вклада в развитие человечества любого государства, независимо от того, большое оно или малое. Речь эта, очень хорошо воспринятая в Финляндии и соседних с ней Скандинавских странах, была, по-видимому, в какой-то мере экспромтом: Сталин говорил без заранее подготовленного текста, рядом не было стенографистки, и если бы не находчивость моего друга, заведующего 5-м Европейским отделом Александра Никитича Абрамова, который тут же схватил пачку столовых салфеток и записал на них текст, то и передавать-то в печать было бы нечего!

Конечно, заключение договора в 1948 году явилось как бы логическим продолжением того курса, который был взят еще в сентябре 1944 года, когда, подписывая перемирие со вторично потерпевшей поражение Финляндией, советское руководство решило не оккупировать эту страну (хотя с военно-технической точки зрения вполне могло это сделать), а попытаться построить с ней надежные мирные отношения. Но был здесь и еще один немаловажный нюанс, наглядно демонстрирую-

щий, как мне думается, диалектику развития международных отношений. Ведь в конце войны Сталин, как известно, еще рассчитывал на сохранение в той или иной степени и в мирной обстановке сотрудничества с союзниками по антигитлеровской коалиции, особенно с Америкой Рузвельта. И он не мог не понимать, что военный захват именно Финляндии вызвал бы острую реакцию на Западе, особенно в США, резко ухудшил бы атмосферу отношений с ними. В этом, я полагаю, была одна из важных причин умеренности Сталина в отношении Финляндии в 1944 году.

Что же касается 1948 года, то здесь все было как раз наоборот. Надежды на доброе сотрудничество с Западом уже давно исчезли (по вине обеих сторон), воцарилась «холодная война», во главе стран Запада шла Америка Трумэна под идеологическим знаменем пропитанной ненавистью к СССР и страхом перед ним фултоновской речи Черчилля. Именно в это время началась активная подготовка военного союза Запада против СССР и подпавших под его влияние стран Восточной Европы, того союза, который вскоре получил имя Североатлантического (блок НАТО). Было ясно, что и страны Северной Европы будут стараться вовлечь в этот военный союз. В такой ситуации закрепление добрых отношений с Финляндией, в том числе и в области обороны, не могло не рассматриваться Москвой как одна из превентивных мер, ограничивающих возможности создаваемого Америкой военного союза против СССР. Так что в обоих случаях учет американской политики сыграл свою (положительную) роль в формировании советско-финляндских отношений, хотя мотивы были противоположными.

И здесь я перехожу ко второму крупному вопросу, с которым пришлось иметь дело 5-му Европейскому отделу в годы моей работы там. Речь идет о предпринятой, прежде всего Швецией, попытке создать в эти годы военно-политический союз трех Скандинавских стран: Швеции, Норвегии и Дании.

Еще в конце 1947 года отдел, анализируя ситуацию, отмечал, что так называемое северное сотрудничество не только активизируется по всем линиям, но и принимает все более недружественный в отношении Советского Союза характер, превращаясь в своего рода «северное» отражение «холодной войны», развернувшейся к этому

времени почти в глобальном масштабе. 26 марта 1948 г. заведующий отделом Абрамов докладывал руководству МИД: «Есть основания полагать, что сейчас происходит подготовка и военного союза Скандинавских стран, который создается с одобрения и даже под прямым нажимом США и Англии»[16]. (Можно добавить, что в дипломатическом плане особенно усердствовала Англия: в открытый нажим на скандинавов включилось не только ее внешнеполитическое ведомство, но и члены правительства.) А в мае того же 1948 года наш посол И. С. Чернышев сообщил из Стокгольма, что в ближайшее время возможно подписание пакта о политическом, экономическом и военном союзе между Швецией, Норвегией и Данией, причем, как информировала датская печать, работа по подготовке скандинавского военного союза продолжалась «в течение многих месяцев по определенному плану»[17].

Но уже к тому времени обнаружились и существенные расхождения в позициях предполагаемых участников союза. Если Норвегия, а вслед за ней и Дания были фактически за подчинение этого союза западным державам (например, в форме военных гарантий со стороны Запада), то Швеция настаивала на создании самостоятельного северного блока, не связанного заранее никакими обязательствами перед Западом и имеющего первоочередной задачей попытаться удержать его членов вне военных действий в случае новой войны.

В записке, направленной в октябре 1948 года заместителю министра В. А. Зорину, я попытался так объяснить эту позицию Стокгольма: во-первых, Швеция прекрасно понимала, что в случае войны ей пришлось бы принять на себя первый удар в этом регионе и стать раньше других полем боя; во-вторых, опыт второй мировой войны побуждал шведов скептически оценивать военные возможности Англии и США по сравнению с военной мощью СССР, и, в-третьих, сыграла свою роль — и немалую — добрососедская политика СССР в отношении послевоенной Финляндии (снижение репараций, а затем заключение договора о дружбе). Конечный вывод моего анализа, однако, вполне соответствовал общему настрою и отдела, и руководства МИД в то время: «Скандинавский военный блок, каким бы нейтральным ни изображали его творцы, будет не чем иным, как северным филиалом антисоветского западного блока»[18]. Оценивая

это заключение сегодня через призму десятилетий, я все же думаю, что оно было правильным: в условиях создания и укрепления НАТО, при полном военном и экономическом бессилии в то время Норвегии и Дании и их зависимости от Запада шведам не удалось бы удержать задуманный ими блок на позициях нейтралитета.

Пока этот процесс продолжался (а длилось это несколько месяцев), отдел предлагал различные «превентивные» шаги с нашей стороны: запрос разъяснений от Швеции, предупредительные ноты всем трем Скандинавским странам и, конечно, соответствующие выступления печати. Руководство МИД проявило больше сдержанности (вполне правильно, как я теперь считаю), и дело ограничилось статьями в прессе. Хотя, конечно, наши послы на местах не делали секрета из отношения СССР к этой проблеме. Впрочем, вопрос скоро решился сам собой: скандинавы не сумели договориться друг с другом, Норвегия и Дания оказались втянутыми в НАТО, а Швеция осталась нейтральной.

Как говорится, «для разрядки» хочу завершить скандинавскую тематику рассказом об одном маленьком, но любопытном инциденте, который живо запомнился мне. Произошел он в 1956 году, когда я, будучи заместителем заведующего 3-м Европейским отделом МИД, к скандинавским делам имел лишь косвенное отношение, занимаясь в основном вопросами Германии и Австрии. Тем не менее во время официального визита в СССР премьер-министра Швеции Эрландера (которого я знал лично много лет, еще со времени работы в Швеции) мне было поручено сопровождать его в поездке по стране, а точнее — в Грузию. В республике этой Таге Эрландер никогда раньше не бывал и вообще, как выяснилось, почти ничего о ней не знал. Так он и сказал мне честно в самолете по пути из Москвы в Тбилиси. Что тут будешь делать? Рассказал ему в нескольких словах о древней истории грузинского народа — гордого и свободолюбивого, сумевшего отстоять свою самобытность и независимость от натиска окружавших его империй — Древнего Рима, Ирана, Византии, арабов. Рассказал о многовековых корнях грузинской культуры, о ее расцвете в период грузинского Возрождения (Шота Руставели, царица Тамара), о мирном присоединении Грузии к России в конце XVIII — начале XIX века.

Эрландер все это внимательно выслушал и тепло

поблагодарил. Тут как раз перелет подошел к концу, началась посадка. На аэродроме, как положено, встречали местное руководство, девушки с цветами и большая толпа журналистов. Премьера подвели к микрофону, чтобы он сказал несколько приветственных слов. Он откашлялся и начал... И что же я услышал: «Дорогие друзья! Мне даже трудно описать, как я счастлив, что моя нога ступила наконец на землю прекрасной Грузии, этой замечательной страны, чьи традиции самобытности и независимости такие же древние, как ее культура, страны, которая веками успешно отстаивала свою независимость от натиска соседних могущественных империй. Я счастлив быть на земле великого Руставели, чье имя так же широко известно у нас, на Севере Европы, как и в других концах мира...» и т. д. (Цитирую, конечно, примерно, по памяти.) Вот это да, подумал я. Вот образец опытного политика, который умеет подхватить на лету любую, даже малейшую возможность, чтобы использовать ее в своих политических целях!

ГОРИЗОНТЫ РАБОТЫ РАСШИРЯЮТСЯ

Весной 1953 года произошло объединение двух отделов МИД — 3-го и 5-го — в один 3-й Европейский отдел, который занимался Германией, Австрией и Северной Европой. И я оказался на новой арене: занимался сначала Австрией, а потом всем комплексом германских проблем. А заведующими были, сменяя друг друга, видные и опытные дипломаты Владимир Семенович Семенов и Георгий Максимович Пушкин. Оба — члены коллегии МИД, а впоследствии — заместители министра. Это были не просто опытные, а творчески мыслящие люди, принадлежавшие к «мозговому центру» министерства. Работа рядом с ними была большой школой. Особенно потому, что дела, которыми занимался отдел, в значительной мере находились в центре нашей внешней политики того времени, по крайней мере европейской. Так что с этого времени, я считаю, состоялся в какой-то мере и мой доступ на арену этой политики (при всей отведенной мне скромной роли). Он, этот доступ, заметно расширился, когда в 1957 году я по предложению

Громыко перешел работать к нему советником при министре.

Однако до этого в течение десяти лет работать довелось под эгидой других министров — В. М. Молотова, А. Я. Вышинского, затем снова Молотова (и совсем недолго — Д. Т. Шепилова).

И, может быть, здесь будет уместно поделиться некоторыми наблюдениями и оценками деятельности и личных качеств этих руководителей советской внешней политики тех лет, как они выглядели «в перспективе снизу», с точки зрения работников аппарата НКИД — МИД СССР.

О В. М. МОЛОТОВЕ

Вячеслав Михайлович Молотов возглавил Наркоминдел (оставаясь поначалу одновременно и главой правительства, т. е. председателем Совета Народных Комиссаров) в 1939 году. Он пришел на смену популярному на Западе М. М. Литвинову, и замена эта имела глубокий политический смысл. Именно в это время у Сталина начала вызревать мысль о возможности крутого поворота во внешней политике Советского Союза — поворота от оказавшихся безрезультатными поисков коллективной безопасности в Европе путем изоляции гитлеровской Германии совместными усилиями с Западом к попытке достичь какой-то договоренности с Гитлером. Перспектива сотрудничества с Западом представлялась теперь не просто ненадежной, ей грозил полный провал. Это стало совершенно ясно после соглашения за спиной СССР и против его интересов, которое заключили с Гитлером в 1938 году Англия и Франция (вместе с Италией), бросив Берлину «на съедение» Чехословакию. И Сталин публично (хотя и намеком) предупредил Запад о возможности смены своего курса еще в марте 1939 года в докладе на XVIII съезде партии («Не думайте, что мы будем таскать для вас каштаны из огня»). Поведение английской и французской делегаций на военно-политических переговорах с Москвой в течение 1939 года наглядно подтвердило те опасения сталинского руководства в отношении политики западных держав, из-за которых руль внешней политики СССР был повер-

нут так круто. Литвинов должен был уйти и как человек, олицетворявший прежний курс на достижение безопасности в сотрудничестве с Западом, и, наконец, как еврей, чтобы не раздражать Гитлера. Пришел Молотов, не обремененный ассоциациями с какой-либо конкретной линией во внешней политике (кроме, конечно, общего антифашистского курса, которого придерживалось все советское руководство), но зато известный как «правая рука» Сталина, один из самых близких к нему деятелей.

Что же касается внутренней жизни Наркоминдела, то приход Молотова и здесь ознаменовался резкими переменами. Он с самого начала поставил себе задачу — покончить с «либерализмом» в среде дипломатических кадров, со всякого рода «заигрыванием» с Западом, а заодно и с весьма солидной еврейской прослойкой в кадрах НКИД. Молотов — это жесткая, бескомпромиссная сталинская рука в Наркоминделе. Недаром одной из его первых акций на Кузнецком мосту стала массовая «чистка» аппарата, смена на ключевых постах почти целого поколения — первого поколения советских дипломатов в основном еще дореволюционной, интеллигентской формации. Новый «молотовский призыв» пришел в дипломатию из рядов партийных и советских работников, технической интеллигенции (причем этот процесс повторился после «второго пришествия» Молотова в МИД в 1953 г. после смерти Сталина).

И, конечно, в Наркоминделе сразу же установилась, по свидетельству работавших в тот период сотрудников, жесткая дисциплина. Ушел в прошлое стиль определенной мягкости и даже, откровенно говоря, разболтанности сотрудников, характерный для «эпохи Литвинова». (А когда в 1949 г. Молотова на посту министра сменил Вышинский, то жесткий порядок стал жестоким и бесчеловечным.)

В подходе к проблемам внешней политики Молотова прежде всего отличала «несгибаемо классовая» позиция. Взаимоотношения с государствами иного общественного строя он как бы априори рассматривал как борьбу, в которой мягкость непростительна, а уступчивость недопустима. Отсюда — крайняя негибкость, «железобетонность» в подходе ко многим важным для нас вопросам, решение которых требовало как раз гибкости и готовности к необходимым компромиссам. (Достаточно вспомнить, например, его сопротивление в 50-е годы договорен-

ности о нейтралитете Австрии и примирению с титовской Югославией.)

Однако эта твердость классового подхода отнюдь не исключала для Молотова (как и для Сталина) открытого циничного торга за счет интересов третьих стран при заключении сделки даже с самым заклятым классовым врагом, если в такой сделке усматривалась государственная выгода для СССР. Наиболее известный пример — секретный протокол к так называемому «пакту Молотова — Риббентропа» в августе 1939 года с его последствиями для государств.

Когда годом позже Япония (готовившаяся к захвату французских и английских колоний в Юго-Восточной Азии, а в перспективе — к войне с США и Англией) предложила советской стороне заключить договор о ненападении, Молотов тут же поставил вопрос о компенсации, которую может получить СССР за такой договор. 14 августа он напомнил послу Японии о прошлогодней советско-германской договоренности: «Это был не только договор о ненападении, а он сопровождался вполне удовлетворительным разрешением вопросов о Западной Украине и Белоруссии, Литве, Латвии и Эстонии, Бессарабии и северной части Буковины, а также в отношении Финляндии»[19]. Продолжая эту тему в беседе с послом, Молотов 18 сентября подчеркивает: пакт о ненападении с СССР «развязывает Японии руки на юге, а с другой стороны создает для СССР затруднения в его отношениях с США и Китаем»[20]. И наконец, конкретизирует свои требования о «компенсации»: «Признать Внешнюю Монголию и Синьцзян сферой интересов СССР» (что якобы обещал ему Гитлер от имени японцев во время бесед в Берлине в ноябре 1939 г.). И, кроме того, добавляет, что «может встать вопрос о Южном Сахалине и Курильских островах»[21].

Дело на этот раз удалось не полностью: пакт с Японией был заключен, но на более скромных условиях, чем хотел Молотов. Пакт был заключен за спиной и Германии, и США, и Англии, и Китая. Он оказался полезен и для СССР в его войне с гитлеровской Германией, и для Японии в ее войне с США и Англией. Что, впрочем, не помешало Сталину позже, после капитуляции Германии, нарушить пакт с Японией и объявить ей войну в порядке выполнения «союзнического долга» перед США и Англией. Как видим, о каких-либо классовых социалистических

принципах и уж тем более о морали тут говорить не приходится. Это был обыкновенный цинизм, как он практиковался во внешней политике многими государствами многие века. И Молотов был тут вполне в своей стихии.

Следует отметить и еще одну черту Молотова — его откровенно презрительное отношение к попыткам рассматривать внешнеполитические вопросы с позиций *гуманизма*.

Он считал такие соображения излишними и даже вредными. Приведу только один пример — его отношение к судьбе советских военнопленных, попавших в руки гитлеровцев в ходе войны. Со стороны нейтралов и даже немцев нам не раз делались предложения обменяться списками пленных, находящихся у той и другой стороны, чтобы можно было в соответствии с нормами международного права известить их родственников, установить переписку и т. п. Всякий раз Молотов резко, с ходу отклонял эти предложения, ссылаясь на то, что гитлеровцы — преступники, не соблюдающие никаких международных законов. Когда 10 марта 1943 г. Ватикан при посредничестве США вновь передал СССР предложение обменяться информацией о советских военнопленных, находящихся в руках «стран оси» (т. е. Германии и ее союзников), и пленных из этих стран, находящихся у нас, Молотов ответил в ноте послу США: «...В настоящее время этот вопрос не интересует Советское правительство»[22]. И это в то время, когда в немецком плену находились и умирали мучительной смертью миллионы советских людей. Ни руководителя советской внешней политики, ни советское руководство в целом не интересовали ни их судьба, ни даже их имена. Понятно, что при такой позиции Москвы обращение гитлеровцев с захваченными ими советскими людьми становилось еще более зверским и бесцеремонным.

Молотов никогда не был тонким, эффективным дипломатом. Просматривая записи его бесед с государственными деятелями различных стран, видишь, что нередко в ходе длительной беседы он, отвечая на различные аргументы собеседника, пытавшегося искать разносторонние подходы к обсуждаемому вопросу, отвечал, как заведенный граммофон, *буквальным повторением* одной и той же изначально произнесенной им формулы. Собеседники могли уважать Молотова как компетентного

и образованного политика, непреклонно отстаивающего позицию своей страны, но вести (в отличие, например, от Литвинова, Майского, Коллонтай) плодотворную дипломатическую дискуссию, направленную на поиск *взаимопонимания*, удавалось, кажется, не многим. Недаром в международных политических кругах того времени за Молотовым прочно закрепилось прозвище «господин Нет».

Не случайно поэтому Н. С. Хрущев почти сразу же после своего прихода к власти (поначалу вместе с Г. М. Маленковым) в 1953 году, хотя и вернул Молотова — после четырехлетнего перерыва, вызванного подозрительностью дряхлого Сталина,— на пост министра иностранных дел, тут же начал все острее и острее критиковать МИД (т. е. того же Молотова) за неповоротливость, за недостаток инициативы и в европейских, и в азиатских, и в разоруженческих делах. Мне, например, неоднократно приходилось быть свидетелем такой критики со стороны Хрущева, так сказать, в неофициальной обстановке, во время оживленных бесед, завязывавшихся между членами руководства после какого-нибудь приема, когда участники их (особенно Хрущев) бывали в «подогретом» состоянии.

Однако представлять себе деятельность Молотова в этот период как сплошной консерватизм, сопротивление гибкости (как это было в австрийском и югославском вопросах и некоторых других) было бы, пожалуй, несправедливо. Отчасти, видимо, сознавая необходимость некоторого обновления нашей внешней политики после ухода Сталина, но еще более отражая определенный настрой на этот счет таких членов руководства, как Хрущев, Маленков и Микоян, Молотов подготовил в этот период в МИД и внес в ЦК предложения о ряде инициатив, направленных, например, на улучшение отношений с Ираном (к тому времени очень плохих), на активное содействие СССР возобновлению мирных переговоров и заключению перемирия между китайско-корейской стороной и американцами в Корее. Молотов деятельно способствовал достижению мира в Индокитае, был одним из сопредседателей Женевского совещания 1954 года, в результате которого Франция прекратила войну против народов Вьетнама, Лаоса и Камбоджи.

Следует отметить, что в процессе решения этих крупных азиатских проблем Молотов неизменно дейст-

вовал в тесном контакте с КНР — государством, к которому всегда питал большое уважение. Недаром в одном из молотовских выступлений в середине 50-х годов прозвучала обратившая на себя тогда всеобщее внимание формула — «социалистический лагерь во главе с Советским Союзом и Китайской Народной Республикой», за которую его потом нещадно «избивал» Хрущев.

При Молотове были также подготовлены (без каких-либо возражений с его стороны, насколько мне известно) такие шаги, как прекращение с начала 1954 года дальнейшего взимания репараций с ГДР (о чем было объявлено во время переговоров с делегацией ГДР в Москве в августе 1953 г.) и заявление советского правительства от 26 марта 1954 г. о том, что между СССР и ГДР устанавливаются «такие же отношения, как и с другими суверенными государствами», и что ГДР вправе сама решать все свои внутренние и внешние дела, включая и взаимоотношения с Западной Германией. Так что по своей доброй воле или под давлением обстоятельств Молотов-министр с 1953 года был определенным участником оживления нашей внешней политики.

Что же касается чисто личных качеств Молотова как работника кабинетного, то его отличали довольно широкий культурный кругозор (по крайней мере по сравнению с другими его коллегами из ближайшего окружения Сталина), скрупулезная тщательность, любовь к точности формулировок, стремление как можно основательнее вникнуть в вопросы, с которыми он имел дело. Сам он писал четко, ясно, немногословно. В представляемых ему документах не терпел фактических неточностей и халтуры, не выносил выспренности и краснобайства. Помнится, на одной из записей бесед с иностранцами своего заместителя С. А. Лозовского, отличавшегося необычайной многословностью, Молотов крупными буквами начертал размашистую резолюцию: «Когда вы, наконец, научитесь говорить по делу, а не болтать попусту?»

С подчиненными, как уже видно из этого примера, Молотов бывал груб и резок, хотя в общем по-своему справедлив. Больше всего ненавидел подхалимство. Импонирующих ему работников выделял со свойственной ему суховатой сдержанностью. Один из его помощников как-то сказал мне: «Ты знаешь, Вячеслав Михайлович нередко разносит в пух и прах за какие-нибудь ошибки

докладывающих ему заведующих отделами и даже своих заместителей, но я ни разу не слышал, чтобы он повысил голос на Громыко. Самое большее, если скажет: „А вот как товарищ Громыко мог такое пропустить, я не понимаю“». Видимо, тут было какое-то созвучие характеров. Недаром и много лет позже, уже будучи давно в отставке, Молотов с одобрением говорил: «Громыко — мой выдвиженец»[23].

Под руководством Молотова в МИД было работать нелегко. Царила своеобразная атмосфера сурового гнета. Доклад ему лично каких-либо материалов требовал всегда большого напряжения нервов. И тем не менее я отчетливо помню, с каким облегчением вздохнул многочисленный и всякое повидавший на своем веку аппарат МИД, когда в коридоре седьмого этажа высотного здания на Смоленской площади вновь появилась в марте 1953 года коренастая, плотная фигура Вэ Эм (как его звали сотрудники). По какой же причине этот вздох облегчения? Почему? Да потому, что этому предшествовало четырехлетнее господство в Министерстве иностранных дел такой поистине одиозной фигуры, как Андрей Януарьевич Вышинский. И не хотелось бы писать здесь и вообще вспоминать о нем, но — из песни слова не выкинешь.

ОБ А. Я. ВЫШИНСКОМ

О карьере Вышинского в целом говорить нет нужды, она еще памятна многим, и о ней много написано разными авторами, как отечественными, так и иностранными. И в самом деле, фигура во многих отношениях весьма своеобразная и «красочная»: политический перебежчик в революционные годы — меньшевик до революции, административный чиновник одного из районов Москвы при Временном правительстве, подписавший в те дни предписание задержать в случае обнаружения В. И. Ленина, скрывавшегося тогда от правительства, член компартии лишь с 1920 года, но уже вскоре — быстро восходящая «звезда» советской юридической науки и практики, чей «вклад» в юриспруденцию был призван служить теоретической базой сталинского террора. Достаточно вспомнить в этой связи о его яростных

атаках на понятие «презумпция невиновности» и провозглашение признания обвиняемого «королевой доказательств». И наконец, практика: зловещая роль беспощадного главного обвинителя на печально известных процессах, закончившихся по указанию Сталина физическим уничтожением почти всех ближайших соратников В. И. Ленина. Вот с каким багажом пришел А. Я. Вышинский в 1940 году в Наркоминдел первым заместителем наркома (т. е. В. М. Молотова) и продержался в МИД до дня своей смерти в 1954 году. Но все это, повторяю, тема особая, подвергнутая и подвергаемая детальному рассмотрению биографов Вышинского. Я хочу рассказать здесь лишь о тех впечатлениях, которые остались у меня от деятельности Вышинского в МИД в годы, когда мне довелось там работать, и о тех (впрочем, немногих) личных контактах, которые пришлось с ним иметь.

Прежде всего о внешнеполитической линии Вышинского. Таковой у него, по-моему, вообще не было. Как и в юриспруденции, он был лишь активным, преданным исполнителем воли и предписаний вышестоящих инстанций. Какие-либо конкретные достижения, конструктивные результаты деятельности Вышинского в области дипломатии назвать я бы затруднился. Такое, видимо, было время. И в соответствии с ним Вышинский был не конструктивным политиком, а отточенным оружием «холодной войны» — в этом он был настоящим мастером. Иностранные делегаты в ООН из противоположного нам лагеря его нередко просто боялись: настолько яростными и «непарламентскими» по форме бывали порой методы его полемики. Он, например, мог, указывая пальцем на присутствующего видного государственного деятеля западной державы, воскликнуть на весь зал: «Вот он, поджигатель войны, смотрите!» Но при этом оппоненты и уважали его как сильного противника, находчивого, эрудированного и временами остроумного оратора.

Вышинский был, несомненно, весьма образованным человеком, причем не только в сфере права или истории. Он хорошо владел французским языком (не говоря уж о своем родном польском). Работоспособность его, быстрота и неутомимость в работе были исключительными. Работая в своем кабинете, он мог «пропустить» через себя сотни и сотни страниц документов в день, причем

не поверхностно, а вчитываясь в детали и даже успевая исправлять опечатки. Его резолюции были обычно решительными, краткими, часто язвительными, а порой и не лишенными юмора. Приведу один, хотя и пустяковый, пример. В отчете об одном из заседаний Совета Безопасности ООН была фраза о том, что по такому-то вопросу представитель СССР «согласно имеющимся указаниям наложил вето». При этом по фатальной небрежности машинистки в слове «вето» буква «в» отскочила, была напечатана отдельно. Вышинский не замедлил обвести возникшую «пикантность» синим карандашом и аккуратно написал на поле: «Нельзя ли уточнить, во что именно?»

Режим его рабочего дня был, можно сказать, нечеловеческим. Будучи министром, он начинал работу примерно в 11 часов утра, а заканчивал (с двухчасовым обеденным перерывом) около 4—5 утра следующего дня. Ну и аппарату (по крайней мере руководителям отделов и их ближайшим сотрудникам) приходилось подстраиваться соответственно. Хорошо помню, как однажды, когда в период временного отсутствия руководства в 5-м Европейском отделе я, помощник заведующего, выполнял обязанности старшего по отделу, после двух часов ночи собрался было уходить домой, меня задержал резкий звонок аппарата прямой связи и не менее резкий голос старшего помощника министра: «Никуда не уходи, жди вызова. Сейчас у министра совещание замов, и среди вопросов — два твоих». Возвращаюсь к столу. Сижу. Десятый раз перечитываю документы, относящиеся к «моим вопросам», чтобы в чем-нибудь не сбиться, отвечая начальству. А глаза уже начинают слипаться. Примерно в начале пятого опять звонок: «Быстро, иди!» Поднимаюсь со своими папками на четвертый этаж, вхожу в кабинет министра. Во главе собравшихся за своим письменным столом сидит Вышинский, лицо (видимо, от повышенного давления) красного, чуть не свекольного цвета. Вдоль перпендикулярно стоящего длинного стола сидят его заместители. У всех вид, мягко говоря, измученный, а страдавший туберкулезом Ф. Т. Гусев совсем зеленого цвета, и лицо покрыто капельками пота. Гнетущая картина. Вопросы мои проскочили быстро, без эксцессов. Вышинский задал пару отрывистых вопросов, я на них ответил, и все было решено минуты за три. Но вышел из кабинета я с каким-то тяжелым чувством, как

из страшного паноптикума. Мне было и жалко этих людей, и как-то боязно за них.

Впрочем, мне думается, что одной из главных причин изнурительного рабочего режима Вышинского была боязнь не оказаться на месте, если вдруг позвонит Сталин (работавший, как известно, по ночам). Сталина Вышинский боялся смертельно, да оно и понятно: у того в руках было слишком много рычагов, с помощью которых знаменитого юриста и блестящего оратора можно было сбросить в пропасть как «врага народа». Все прошлые «грехи» Вышинского были ему, конечно, известны.

Зато к своим подчиненным Вышинский пощады не знал. Помню, с каким искренним возмущением он, выступая в 1952 году на партактиве МИД, рассказывал, как предыдущей ночью, где-то в третьем часу утра, он позвонил одному заведующему отделом, другому, потом третьему — и никого не застал на месте. «Да что они, черт побери, делают?» — вопрошал министр. Жестокость и грубость Вышинского в отношении подчиненных ему людей доходили порой до садизма. Я сам, находясь однажды по какому-то делу в приемной министра, видел, как из его кабинета вышел с трясущимися коленками и со слезами на глазах один из известнейших экспертов МИД, почтенный, заслуженный профессор, человек высокой культуры и интеллигентности, а вслед ему из кабинета неслись выкрики высокого начальства: «Дурак! Идиот! Сопляк, мальчишка в коротких штанишках!»

Но бывало еще и похуже. Расскажу о двух случаях. Первый произошел с одним из работников секретариата Вышинского, которому предстояло перейти на чисто дипломатическую работу — не помню, в оперативный отдел или загранкомандировку. Как всегда, в таких случаях полагается представить свидетельство, что за тобой не числится никаких секретных документов по прежнему месту работы. И вот, к ужасу моего товарища, оказалось, что за ним числится пять шифротелеграмм, присланных для министра и не возвращенных в соответствующее подразделение МИД. Утеря шифровки — это самое страшное преступление в те времена, оно грозило не только потерей работы, но и кое-чем гораздо более серьезным. Напрягая память, товарищ вспомнил, что именно эти самые шифровки он передал Вышин-

скому, когда того вызвал к себе для доклада Сталин. Вышинский их не вернул, а спросить его в секретариате побоялись. Товарищ вынужден был пойти к министру и спросить у него про эти невозвращенные телеграммы. В ответ послышался поток гневной ругани: сами черт знает куда сунули, сами и расхлебывайте, а меня нечего к этому припутывать. В отчаянии товарищ прибег к последнему средству: позвонил знакомому сотруднику из секретариата Сталина и спросил, не знает ли он что-либо об этих шифровках. «Как же,— отвечал тот,— я очень хорошо помню, как Андрей Януарьевич дал их товарищу Сталину, а тот, прочитав, смял их и бросил в мусорную корзину, как он это иногда делает». И лишь только подтверждение из такой авторитетной инстанции спасло человека от тяжелых последствий. А Вышинскому было на это наплевать, лишь бы его не «впутывали».

Второй случай имел более тяжелые последствия. У одного из моих коллег по отделу, работавшего тогда в нашем посольстве в Стокгольме, пропал экземпляр квартального политотчета посольства, с которым он работал накануне. Посольская уборщица сказала, что, убирая вечером, увидела эту бумагу и, подумав, что она брошена как ненужная, кинула ее в мешок для мусора, который обычно вывозился на свалку по утрам. В поисках пропавшего документа перевернули все вверх дном, ездили и на свалку, но все напрасно. Несчастный виновник пропажи был отозван в Москву и по указанию неумолимого министра передан в руки партийного и государственного правосудия. (Уже много позже выяснилось, что «пропажа» была подстроена недоброжелателями из числа сотрудников самого же посольства.) Мне как представителю отдела МИД, хорошо знакомому с текстом отчета, одна из копий которого исчезла, пришлось выступить в роли эксперта на заседании Комитета партийного контроля на Старой площади, где слушалось злополучное «дело». Я сказал, как было в действительности: отчет представлял собой монтаж цитат из шведской прессы за соответствующий период, никаких серьезных выводов и тем более предложений не содержал, государственной тайны — еще менее. Но это не помогло: товарищ был исключен из партии, судебными органами приговорен к пяти годам заключения, которое и начал отбывать в одном из бериевских «заве-

дений». Его спасли лишь смерть Сталина, арест Берии и удаление из МИД Вышинского. Этот министр палец о палец не ударил в защиту своего сотрудника, наоборот — старался скорее от него избавиться. Остается добавить, что вскоре потерпевший был восстановлен во всех правах и возобновил работу в МИД.

Что же касается грубости Вышинского в отношении сотрудников министерства, то этот порок, как заразная болезнь, перекинулся тогда и на часть работников его секретариата, и не только на них. Сам Вышинский, очевидно, сознавал, как его характер воспринимается окружающими. Во всяком случае, однажды, гуляя с одним из своих помощников в парке нашего представительства при ООН, он сказал ему: «Я знаю, что проработать год у меня в секретариате — это все равно что семь лет каторги отбыть».

Ну а относительно того, до какой степени Вышинский был падок на лесть, достаточно упомянуть об одном случае, имевшем место во время мирной конференции 1946 года в Париже и рассказанном мне очевидцем. По пути на заседание конференции в машине Вышинский с яростью разносил одного из ехавших с ним сотрудников за какую-то допущенную, по его мнению, оплошность. При выходе из машины упомянутый сотрудник бросился вытирать носовым платком каплю грязи, попавшую на ботинок Вышинского. И восклицал при этом: «Это недопустимо! Ведь как раз сегодня утренние парижские газеты писали, что вы, Андрей Януарьевич,— самый элегантно одетый из всех делегатов конференции!» Вышинский довольно заулыбался, и «ссора» была забыта.

Из всего сказанного выше нетрудно, наверное, заключить, что между двумя такими людьми, как Молотов и Вышинский, особых взаимных симпатий быть не могло. Хотя, конечно, Молотов, будучи министром, в полной мере использовал потенциал Вышинского как знающего и умелого исполнителя, высококвалифицированного работника.

И все же общее впечатление таково, что Сталин, прекрасно понимавший все прежние «грехи» Вышинского и его полную зависимость от себя, считал полезным *держать Вышинского рядом* с Молотовым. Недаром Вышинский был направлен в Наркоминдел первым заместителем наркома почти сразу после того, как нар-

комом стал Молотов. И не случайно, наверное, когда к концу 40-х годов Молотов по какой-то таинственной причине вдруг оказался в немилости у Сталина и был удален из МИД (оставаясь формально на посту заместителя предсовмина), министром вместо него стал тот же Вышинский. В этой связи не приходится удивляться, что после смерти Сталина Вышинский был сразу же смещен с поста министра и на Смоленскую площадь вновь вернулся Молотов.

О Д. Т. ШЕПИЛОВЕ

Когда Молотов еще до его полной опалы и удаления из состава руководства партии и государства в 1957 году был устранен Хрущевым из МИД ввиду явного расхождения их позиций по многим внешнеполитическим вопросам (тогда Молотова на короткое время сделали министром госконтроля), на посту министра иностранных дел его сменил Дмитрий Трофимович Шепилов, бывший главный редактор «Правды» и специалист по политэкономии. Он всеми рассматривался тогда как протеже Хрущева, и, видимо, им был. И надо сказать, что, работая в МИД, он, насколько мы могли судить, охотно и активно поддерживал и развивал гибкую линию Хрущева и Микояна во внешней политике.

Однако в МИД Шепилов пробыл недолго: придя туда в 1956 году, он уже в феврале 1957 года «ушел наверх» — секретарем ЦК партии по вопросам идеологии. Правда, пробыл там еще более короткий срок, ибо летом 1957 года допустил явный просчет, присоединившись к большинству в составе Президиума ЦК* (Маленков, Молотов, Каганович, Ворошилов и др.), которое предприняло неудачную попытку сместить Хрущева. Предательство покровителя обошлось Шепилову дорого: он, как и основные участники «антипартийной группы», немедленно был снят со всех руководящих постов и ушел в политическое небытие, да еще снабженный прочно закрепившимся за ним политическим ярлыком — «и примкнувший к ним Шепилов».

---

* С 1952 по 1966 год — Президиум ЦК КПСС *(прим. ред.)*.

О его деятельности в МИД я, конечно, много сказать не могу — слишком она была кратковременной. Об основной политической линии я уже упомянул. Остались и кое-какие воспоминания о нем как о личности, о стиле его работы. На имевших с ним дело сотрудников министерства Шепилов производил впечатление человека демократичного, доступного, готового внимательно выслушать мнение собеседника. В общении с подчиненными был неизменно корректен и вежлив. Олег Александрович Трояновский, которому довелось работать помощником и у Молотова, и у Вышинского, и у Громыко (не говоря уж о Хрущеве и Косыгине), сказал мне как-то: «По-моему, Шепилов — единственный министр, который ни разу не накричал ни на одного из своих помощников». Или вот такой случай. В самом начале своей министерской карьеры Шепилов получил задание отправиться в Каир для личной беседы с Насером (с которым был знаком еще со времен «Правды») по какому-то важному вопросу. Накануне вылета помощники спрашивают министра, кто с ним должен лететь. «А зачем кому-то еще лететь? Переводчик хороший в посольстве есть? Ну и ладно, а портфель свой я сам носить умею». Пораженные этим ответом, бывалые мидовцы не могли примириться с нарушением общепринятых норм. Дело кончилось тем, что с Шепиловым полетел не только помощник, но и заведующий соответствующим отделом министерства.

Из своей практики знаю (я тогда некоторое время исполнял обязанности заведующего 3-м Европейским отделом), что Шепилов относился к аппарату МИД и подготовленным им документам с большим доверием. Так, однажды я пришел к нему с солидным проектом записки в ЦК по поводу ослабления нашего контроля над ГДР и дальнейшего расширения ее суверенных прав в ряде областей. Документ готовился долго и обстоятельно «утрясался» с различными ведомствами. Основная его суть была, конечно, известна Шепилову и, видимо, обговорена «наверху», но текста он еще не видел. Бегло пролистав многостраничный документ, он внимательно взглянул на меня и спросил: «Тут все правильно?» Получив утвердительный ответ, сразу же подписал. Предложения МИД были приняты.

Но одна «накладка» все-таки получилась. Среди предлагавшихся мер был пункт, предусматривавший ограни-

чение функций (и, кажется, численности аппарата) представительства нашей госбезопасности в ГДР. Оказалось, что работники этого ведомства, с которыми вопрос обсуждался при подготовке проекта, почему-то не доложили дела своему министру. А им был тогда И. А. Серов, бывший начальник ГРУ (военной разведки), фигура во многих отношениях довольно зловещая. Получив постановление, он тут же позвонил мне по телефону и так орал, что, по-моему, у меня трубка разогрелась. «Какое он имеет право? Я — такой же министр, как и он!..» и т. д.

Ребята, коллеги по отделу, которые были свидетелями этой «задушевной беседы», в шутку пообещали носить мне передачи, «если что...». Но ничего, обошлось. С Шепиловым Серов, видимо, не говорил, сорвал гнев на мне, а постановление так и осталось.

Коллективу сотрудников МИД, перед которым он выступал пару раз, Шепилов понравился: интеллигентный, общительный, демократичный (я бы мог еще добавить: с незаурядным актерским талантом). В МИД о его уходе жалели.

ОБ А. А. ГРОМЫКО

С Громыко как министром мне пришлось работать много лет — и в качестве заместителя заведующего отделом МИД, и в качестве советника при министре (т. е. при самом Андрее Андреевиче), и затем уже как помощнику генерального секретаря ЦК. Отношения у нас с ним были хорошие, я бы сказал, взаимно уважительные (иначе Андрей Андреевич не предложил бы мне в 1957 г. перейти к нему на должность советника, а я бы такое предложение не принял). Расстались мы тоже по-хорошему: когда Л. И. Брежнев пригласил меня работать у него, Андрей Андреевич сопротивляться не стал.

Мне, конечно, в течение ряда лет приходилось по поручению Громыко активно участвовать в подготовке текстов его выступлений (в ООН, в Верховном Совете, на пресс-конференциях и т. п.), и в общем дело всегда шло гладко. Чтобы продемонстрировать установившуюся степень взаимопонимания и взаимного доверия, хочу рассказать только об одном случае. Как-то в конце

50-х годов Н. С. Хрущев поехал в Минск, чтобы выступить там перед республиканской аудиторией. Уезжая, он сказал, что вопросы внешней политики затрагивать в своих выступлениях не намерен, так что МИД может не беспокоиться. И вдруг утром того дня, когда должно было состояться выступление Хрущева, он позвонил Громыко и сказал, что хочет включить в речь «кусок» о Германии и Берлине и пусть Громыко сразу же в пределах одного часа передаст ему проект такой вставки в речь. Положение министра было не из легких. Конечно, создать какую-то совершенно новую позицию по германскому или берлинскому вопросу в таких условиях было бы невозможно. Но найти какие-то новые подходы, новые нюансы в дополнение к тому, что уже было высказано советской стороной, было необходимо. Иначе какой же смысл включать эту тему в речь? А времени всего, если учесть запись стенографисткой в Минске, оставалось минут 45. Громыко вызвал меня, в двух словах обрисовал ситуацию и, кивнув в сторону задних комнат своего секретариата, сказал: «Идите, пишите и передавайте мне листок за листком по мере готовности». Я изолировался в маленькой комнатушке по соседству, напряг все свое воображение и начал «выдавать» один за другим написанные от руки, как можно разборчивее, листочки текста. Секретарша выхватывала их у меня и бежала с очередной «порцией» к Громыко. А Андрей Андреевич уже сидел у аппарата ВЧ и, быстро прочитав очередной листок, вносил в него небольшую (но очень точную) правку и тут же диктовал текст в Минск. Хрущев предложенную вставку принял и произнес в том виде, в каком получил от Громыко. Не стану преувеличивать: никаких сенсационных новаций в тексте не было, но все же это было отмечено комментаторами после выступления. В данном случае для меня тут важна лишь одна сторона дела — степень доверия, которое проявил к своему сотруднику Громыко, начавший передавать текст, даже не видя его продолжения и конца, быстрота, с которой он сам «вжился» в этот текст, внося в него весьма конструктивные поправки.

Конечно, в течение многих лет сотрудничества у нас с Громыко возникали и разногласия, и трения. Но это относилось в основном к периоду, когда я уже работал у Брежнева помощником секретаря ЦК, особенно генерального секретаря. Мне по долгу службы надлежало

не только изучать и докладывать поступающие на имя шефа внешнеполитические материалы — информацию и предложения, в том числе и из МИД, но и давать свою оценку этим материалам, высказывать свои соображения, а иногда и альтернативные предложения. Что-то из этого Брежнев отклонял, с чем-то соглашался и тогда просил Громыко внести ту или иную поправку в предложение МИД. На критику соображений своего ведомства Громыко иногда реагировал довольно болезненно, считая это как бы вмешательством со стороны, нарушением «монополии» МИД. И объясняться с ним тогда приходилось не Брежневу, а чаще всего мне, так как он догадывался о происхождении той или иной поправки (а иногда Леонид Ильич и сам ему об этом говорил). Но в общем это был довольно естественный рабочий процесс, без излишней драматизации.

Было, однако, одно такое «разногласие» по очень важному для нашей страны вопросу, которое я, честно говоря, не могу простить Андрею Андреевичу до сих пор. Речь шла о нашей тактике в связи с размещением в европейской части СССР современных ракет высокого класса средней дальности, получивших на Западе наименование СС-20. Подробнее об этом я расскажу ниже, в главах, посвященных деятельности Брежнева в отношении США и ФРГ.

В целом я могу рассказать о Громыко, конечно, значительно больше, чем о Молотове, Вышинском и тем более Шепилове: все же я видел его в работе гораздо ближе и дольше. У Громыко были качества, позволившие ему стать тем, кем он стал: энергия, редкая работоспособность, настойчивость. С их помощью он проложил себе путь от крестьянской избы в белорусской глубинке (где родился 18/5 июля 1909 г.) до высот государственного управления, пробыв 28 лет на посту министра иностранных дел Советского Союза.

Роль, которую играл Громыко при различных руководителях партии и государства, была различной. Трудно, пожалуй, говорить о какой-то цельной концепции или стратегии Громыко в сфере внешней политики: всякий раз он добросовестно выражал и осуществлял идеи и установки руководителя, которому служил в данный момент. Хотя, конечно, всегда делал это в свойственной ему манере, в своем стиле и проявляя необходимую инициативу.

Период формирования Громыко как деятеля внешней политики и дипломатии — это, безусловно, эпоха **Сталина и Молотова.** Под их руководством Громыко уже активно трудился на ниве дипломатии, пользуясь большим доверием руководителей. Заведующий отделом американских стран Наркоминдела, посол в США, представитель СССР в ООН, заместитель министра иностранных дел, участник конференций в Думбартон-Оксе, Ялте, Сан-Франциско (где была создана ООН) и Потсдаме, Громыко постоянно был в поле зрения не только Молотова, но и Сталина. И к обоим он сохранил до конца жизни весьма уважительное и даже теплое отношение. Об этом недвусмысленно говорят его мемуары.

Именно в эти военные и первые послевоенные годы сложились характерные черты А. А. Громыко как дипломата и деятеля внешней политики, его сильные и слабые стороны.

Безотказно работающий и компетентный Громыко не перенял от Сталина гибкости во внешней политике, способности к нестандартным методам и неожиданным поворотам (вероятно, в то время это было бы ему и «не по чину»), но зато перенял от Молотова, наряду с тщательностью в работе, и другие, далеко не положительные свойства: склонность к догматизму и формализм, несклонность понимать и учитывать точку зрения и интересы партнера по переговорам.

Что касается *содержания* внешнеполитической деятельности А. А. Громыко, то его личная сопричастность к важнейшим этапам послевоенного урегулирования в 40-е годы несомненно повлияла на то, что именно *закреплению итогов второй мировой войны, и прежде всего границ в Восточной Европе*, он уделял неослабное внимание во всей своей последующей работе — вплоть до Московского договора с ФРГ 1970 года и Хельсинкского совещания 1975 года. Вот как он сформулировал это в мемуарах, подводя итоги долгих лет: «...Прочный мир на земле должен основываться на признании и уважении политико-территориальных реальностей, которые сложились на континенте в итоге второй мировой войны... Незыблемость послевоенных границ является коренным вопросом безопасности в Европе»[24].

Со времен Сталина А. А. Громыко усвоил также первостепенное значение *отношений с США*, в том числе

и в области *обуздания гонки вооружений,* и всегда много работал на этих направлениях.

Значительно меньше интереса Андрей Андреевич проявлял к *отношениям с социалистическими союзниками СССР, со странами Дальнего Востока и вообще Азии**, а также *Африки и Латинской Америки.* К этому, употребляя его любимое выражение, у него «не было вкуса», такой интерес не был заложен в военные и первые послевоенные годы. (Возможно, конечно, что в отношении соцстран Громыко исходил из того, что связи с ними — это прерогатива прежде всего руководства и аппарата ЦК партии. Так оно в значительной мере и было.)

И Сталин, и Молотов несомненно ценили А. А. Громыко как знающего и эффективного работника. В 1952 году (год назначения послом в Англию) на XIX съезде КПСС он был избран кандидатом в члены ЦК. Однако в узкий круг действительных творцов внешней политики Громыко в те времена допущен не был. До членства в Политбюро ему еще было далеко.

Своеобразно сложились отношения Андрея Андреевича с **Н. С. Хрущевым.** Тот, придя к власти, вскоре же вступил в ожесточенный и продолжительный конфликт с Молотовым и своей опорой в МИД сразу же избрал Громыко. Именно Громыко, а не мининдел Молотов, едет с Хрущевым в Индию и с «примирительной» миссией в Югославию (на что закоренелый сталинист Молотов уж никак не годился). Фактически Громыко с этого времени — мининдел Хрущева. Назначение в 1956 году министром Д. Т. Шепилова было лишь кратковременным эпизодом внутриполитических маневров Хрущева. В феврале 1957 года А. А. Громыко стал министром иностранных дел.

Но самостоятельность нового министра на этом посту была очень относительной. Хрущев был не тот человек, который позволил бы кому-либо формировать за него внешнюю политику. А Громыко, пожалуй, был не тот человек, который стремился прокладывать свой собственный курс в политике. Он неизменно был готов к сотруд-

---

*Исключение составил, пожалуй, лишь Ближний Восток; им Громыко пришлось заниматься много — жизнь заставила. Но и тут инициативность ограничилась, по сути, лишь выдвижением и отстаиванием идеи созыва международной конференции по ближневосточному урегулированию.

ничеству как лояльный исполнитель. Над этой послушностью Громыко (весьма его устраивавшей) Хрущев даже позволял себе не очень деликатно подтрунивать, в том числе и в присутствии иностранцев.

Однако эксплуатировал он своего министра вовсю. Внешнеполитические идеи и инициативы били из Хрущева ключом. «Доводить их до ума», обрабатывать, обосновывать и оформлять должен был министр со своим аппаратом.

Один маленький пример в качестве иллюстрации. Осенью 1958 года автору этих строк довелось быть свидетелем, как Громыко с двумя своими сотрудниками явился к Хрущеву в его кабинет в ЦК, чтобы доложить свои соображения о наших дальнейших демаршах по актуальному тогда вопросу о Западном Берлине. Андрей Андреевич надел очки и начал было читать подготовленную записку. Но Хрущев сразу же прервал его и заявил: «Погоди, ты вот послушай, что я скажу — стенографистка запишет. Если совпадет с тем, что у тебя там написано,— хорошо, а если нет — выбрось свою записку в корзинку». И начал диктовать (как всегда, сумбурно и неряшливо по форме, но достаточно ясно по смыслу) свою идею насчет провозглашения Западного Берлина «вольным демилитаризованным городом».

Не следует, конечно, упрощать дело. Разумеется, и в бурный хрущевский период Громыко вносил свои предложения, участвовал в выработке многих внешнеполитических акций, умело опираясь при этом на весьма квалифицированный аппарат МИД, и активно действовал на переговорах. Достаточно упомянуть продолжавшееся месяцы Женевское совещание министров четырех держав плюс ГДР и ФРГ по германскому вопросу в 1959 году или обстоятельные переговоры летом 1963 года по выработке договора о запрещении ядерных испытаний в трех средах (в атмосфере, в космосе и под водой). Однако ключевые, наиболее яркие моменты нашей внешней политики тех лет — такие, например, как заключение Государственного договора с Австрией (еще при Молотове), примирение с Югославией, начало решительного сближения с Индией, предложения в ООН о предоставлении независимости колониальным странам и народам, о всеобщем и полном разоружении, а также такие негативные моменты, как разрыв с Китаем, срыв совещания в верхах четырех держав в Париже в 1960 году,

кубинский «ракетный» кризис 1962 года,— суть результат личного вмешательства Хрущева во внешнюю политику, его инициатив. Громыко участвовал в исполнении, может быть, даже внутренне не всегда сочувствуя той или иной крайней позиции. (Достаточно было видеть, как Громыко с отсутствующим видом, задумчиво постукивал ладонями перед собой, когда Хрущев со всего размаха молотил ботинком по трибуне во время его знаменитой демонстрации в ООН в 1960 г.)

Хрущев частенько упрекал своего министра в недостаточной гибкости, в инертности позиций. Но сотрудничали они все же активно. И труд Громыко был отмечен: в 1956 году на XX съезде КПСС он стал членом ЦК.

Взаимоотношения Громыко с **Брежневым** с самого начала сложились значительно более благоприятно, чем с его предшественником. Они и до прихода Брежнева к руководству были на дружеской ноге. Кроме того, Брежнев, особенно в первые годы, отнюдь не претендовал на роль непререкаемого авторитета во внешней политике, охотно признавал свою неопытность в этой сфере и был всегда внимателен к мнению и советам такого опытного дипломата, как Громыко. Несмотря на различие характеров и темперамента, они чувствовали себя друг с другом хорошо и работали слаженно, хотя Брежнев, как и Хрущев, временами ворчал по поводу излишнего формализма Громыко.

Так или иначе, первое десятилетие работы с Брежневым (пока он был еще здоров и вполне работоспособен) стало, пожалуй, наиболее плодотворным периодом деятельности Громыко на посту министра. Брежнев, как правило, благожелательно принимал соображения Громыко и предложения МИД, а Громыко охотно поддерживал и разрабатывал идеи генсека, направленные на укрепление разрядки международной напряженности. В течение этого десятилетия советскому руководству в результате многолетних усилий удалось наконец добиться признания Западом послевоенных границ в Европе как основы европейского и всеобщего мира.

В начале 70-х годов произошел, как известно, крупный сдвиг к лучшему и в наших отношениях с США. В итоге длительных, терпеливых переговоров профессионалов-дипломатов, а затем переговоров Брежнева и Громыко с Никсоном и Киссинджером в 1972 году в

Москве и в 1973 году в США был подписан ряд принципиально важных документов, в том числе документ «Об основах взаимоотношений между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки». Естественно, большинство подписанных в этот период советско-американских документов предварительно готовили Громыко и аппарат МИД в тесном сотрудничестве с Министерством обороны и КГБ, хотя все это проходило под систематическим наблюдением Брежнева и Политбюро ЦК в целом.

Необходимо также отметить, что в этот период Громыко активно поддерживал упомянутые акции Брежнева в отношении США и во внутриполитическом плане: при контактах с военными, когда шли длительные обсуждения проекта Договора ОСВ-1, а также на пленуме ЦК, где интенсивно обсуждался вопрос, приглашать или не приглашать Никсона в Москву (была ведь в разгаре интервенция США во Вьетнаме). А в 1974 году в ходе двухдневных переговоров Брежнева и Громыко с Фордом и Киссинджером был по существу расчищен путь к Договору ОСВ-1, хотя подписан он был лишь пятью годами позже.

Как бы кульминацией многоплановых усилий СССР и его союзников по Варшавскому Договору, направленных на укрепление разрядки в эти годы (включая многочисленные шаги по развитию и углублению двусторонних связей с Францией, ФРГ, Италией), явилось Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, состоявшееся в 1975 году в Хельсинки при участии всех европейских государств (кроме Албании), США и Канады. Подготовка Хельсинкского совещания продолжалась долгие годы, и с нашей стороны процесс этот целиком держали в своих руках Громыко и его сотрудники.

Были в эти годы и другие немаловажные внешнеполитические дела, в которых активно участвовал Громыко. Выступая в июне 1983 года на сессии Верховного Совета СССР, он имел основание подчеркнуть:

«Ведь это советские внешнеполитические инициативы дали жизнь целому ряду масштабных международных договоров и соглашений — о нераспространении ядерного оружия, о запрещении испытаний такого оружия в трех средах, о запрещении размещения оружия массового уничтожения на дне морей и океанов, о запрещении бактериологического оружия и др. Заключенные в 60-е

и 70-е годы, они и поныне выполняют свое предназначение»[25]. Авторитет Громыко как активного участника всех этих внешнеполитических акций заметно возрос. Логично поэтому, что именно в это время Андрей Андреевич Громыко поднимается еще на одну ступень в своем общественном положении: в 1973 году его избирают (вместе с Ю. В. Андроповым и А. А. Гречко) членом Политбюро ЦК КПСС. Брежнев оценил своего надежного помощника во внешнеполитических делах.

Могут спросить, какова же была роль Громыко в таких акциях советского руководства, как ввод войск в Чехословакию в 1968 году и в Афганистан в 1979 году. Конечно, оба эти вопроса — не компетенция МИД и его руководителя. Обсуждались они (причем многократно) и решались в ходе заседаний Политбюро ЦК или его руководящего ядра во главе с генсеком. Нет данных, чтобы Громыко был инициатором той или другой акции. Но с возражениями, судя по всему, он тоже не выступал и в практическом осуществлении их по своей дипломатической линии, конечно, принимал деятельное участие.

В конце 70-х и начале 80-х годов условия деятельности Громыко как министра иностранных дел радикально меняются. Состояние здоровья Брежнева резко ухудшается, и постепенно он фактически устраняется от повседневного руководства делами, в том числе и внешнеполитическими, передоверяя их своему ближайшему окружению. В сотрудничестве с Андроповым и Устиновым Громыко стал почти полновластной фигурой в формировании внешней политики страны. Вносимые им предложения в этой области пользовались непререкаемым авторитетом. И это положение монополиста, помноженное на изначальную склонность Громыко к бескомпромиссной жесткости и некоторому догматизму в политике (склонность, которая не уменьшилась с возрастом), начало оказывать свое весьма негативное влияние. Тем более что в новой ситуации Громыко стал особенно ревниво и подозрительно относиться к внешнеполитическим инициативам, исходящим не из его ведомства. На этой почве у него сложились довольно натянутые отношения, например, с секретарями ЦК КПСС и аппаратом ЦК, которые занимались международными делами.

Активность внешней политики СССР в этот период

заметно падает. На многих направлениях эта политика забуксовала.

Именно ввиду той исключительной роли, которую стала играть позиция Громыко во внешнеполитических делах этих лет, на ее характеристике имеет смысл остановиться несколько подробнее.

На фоне ввода войск в Афганистан резко ухудшились наши *отношения с США*. Вновь возродилась атмосфера, близкая к «холодной войне», Громыко активно в нее включился. Его высказывания о США в начале 80-х годов отличаются исключительной резкостью, подчас носят даже вызывающий характер, хотя министр при этом продолжает призывать к налаживанию отношений. Вот пара примеров:

«Главный источник, порождающий опасную напряженность в мире,— агрессивная политика наиболее реакционных сил в США и некоторых других странах Запада... Вашингтону не удастся закамуфлировать свой милитаристский курс, чуждый интересам народов, как бы он ни пыжился это сделать»[26].

Обращаясь к послу Кубы на завтраке в его честь 29 ноября 1983 г., Громыко заявил:

«То, с какой враждебностью империализм, особенно американский, воспринимает эту дружбу и эти отношения между нашими странами, и есть косвенное доказательство правильности курса, который избрали наши страны»[27].

И в таком очень важном для нашей страны вопросе, как решение НАТО о размещении в Западной Европе американских ядерных ракет средней дальности, линию советской дипломатии начала 80-х годов никак не назовешь ни гибкой, ни эффективной. Сначала — полный отказ от предложенных США переговоров, потом — начало переговоров, но с весьма жестких позиций, а затем (когда началось размещение «першингов» и крылатых ракет) — демонстративный уход с переговоров. Понадобился совершенно иной, гораздо более гибкий подход, выработанный Горбачевым и Шеварднадзе, чтобы решить эту проблему и избавить Европу от одного из грозных видов ядерного оружия.

Не менее застывшей была и линия нашей дипломатии на многолетних переговорах с Западом о сокращении вооруженных сил и вооружений в Центральной Европе.

Разумеется, позиции в таких вопросах определял не один Громыко. В частности, они формировались в тесном сотрудничестве с руководством Министерства обороны, добрые отношения с которым (с Г. К. Жуковым, Р. Я. Малиновским, А. А. Гречко) Андрей Андреевич тепло вспоминает в своих мемуарах. И, вероятно, позиция советской стороны в упомянутых выше вопросах в немалой степени несла на себе отпечаток этого сотрудничества.

Конечно, и в эти годы Советский Союз выступал с инициативами в вопросах военной разрядки. Но это были предложения, рассчитанные не столько на договоренность с партнерами, сколько на политический эффект, например внесенный в ООН проект резолюции «Об осуждении ядерной войны» или предложения от имени Организации Варшавского Договора заключить с НАТО договор о взаимном неприменении военной силы (1983 г.), а также начать переговоры о неувеличении и сокращении военных расходов (1984 г.). Реальных результатов эти инициативы не имели.

Когда же Рейган накануне новых президентских выборов в 1984 году проявил склонность к возобновлению политических контактов с руководством СССР, к нему для беседы был направлен А. А. Громыко, находившийся в то время на сессии Генассамблеи ООН. 28 сентября 1984 г. между ними состоялась продолжительная, но, судя по всему, совершенно бесплодная беседа.

Контакт с Рейганом получился лишь годом позже — у М. С. Горбачева, уже после ухода А. А. Громыко с поста министра.

Нельзя не упомянуть и о той по форме жесткой, даже грубой, а по существу оборонительной позиции, которую всегда занимал Громыко в отношении активно эксплуатировавшейся западной дипломатией темы соблюдения прав человека.

Как известно, последующие годы (не только в связи со сменой руководства нашей внешней политики, но и в контексте развития советской общественной жизни в целом) показали, что вопрос о соблюдении прав человека может быть не только предметом взаимной перебранки, но и сферой конструктивного сотрудничества между государствами на благо людей.

В целом, пожалуй, можно сказать, что в эти годы

А. А. Громыко, даже призывая к нормализации советско-американских отношений и договоренностям с США, исходил из того, что это будут скорее соглашения с противником, чем сотрудничество с партнером.

Что касается отношения Громыко к такому кардинальному вопросу, как *европейская безопасность*, над проблемами которой ему пришлось немало поработать, то здесь в основе его позиции — чисто блоковый подход. Вот его формула на этот счет (из речи на общеевропейской встрече в Мадриде 7 сентября 1983 г.):

«Что составляет сейчас суть проблемы обеспечения европейской и международной безопасности?

В самом сжатом виде ее можно выразить так: это — поддержание сложившегося в Европе и в глобальном масштабе примерного военно-стратегического равновесия между Варшавским Договором и НАТО»[28].

Думается, что тесно связан с такой трактовкой и подход Громыко к отношениям СССР с его социалистическими союзниками. Он тоже носил в определенной мере упрощенный характер. В сложной обстановке 80-х годов (вспомним острые события в Польше, своеобразные тенденции в политике Венгрии, активизацию политики Запада в отношении ГДР, нарастающие трудности экономического сотрудничества в рамках СЭВ и др.) особенно нужны были чуткая, внимательная и гибкая политика, учитывающая особенности каждого из партнеров-союзников, нахождение действительно общего языка и взаимовыгодных решений. Такие методы были мало свойственны Громыко. Скорее он был склонен к унаследованному еще от послевоенных лет патерналистскому подходу в отношении соцстран.

Особо надо сказать о роли, которую А. А. Громыко играл в те годы в формировании отношений с Китаем. И здесь его установки трудно назвать гибкими и конструктивными. Начало 80-х годов было отмечено крайне резкими нападками на Китай в выступлениях министра. Вот два образчика:

«Экспансионистская политика Пекина — один из крупных источников международной напряженности. Никакие попытки смыть с этой политики печать гегемонизма, экспансии и пособничества империализму не могут иметь успеха»[29].

«Пекин проводит политику, идущую вразрез с интересами мира, политику гегемонизма и агрессии»[30].

Встречи А. А. Громыко с представителями КНР и в эти годы (во время сессий ООН) остаются в общем безрезультатными, хотя после ташкентской речи Брежнева в марте 1982 года (об этом ниже) Громыко в своих публичных выступлениях стал призывать к политическому диалогу с Китаем в интересах обоих народов и оздоровления международной обстановки.

С октября 1982 года начались советско-китайские политические консультации, которые с нашей стороны вел заместитель министра Л. Ф. Ильичев. Консультации были долгими и двигались туго. Советская сторона предложила сразу же формализовать улучшение отношений, заключить договор о ненападении или неприменении силы, подписать документ о принципах взаимоотношений. (Склонность к такого рода формализации вообще была характерна для стиля Громыко.) Китайцам это не подошло.

Тем не менее развитие практических отношений с КНР, поначалу особенно экономических, сдвинулось с места и пошло в общем неплохо. Однако многочисленные источники свидетельствуют о том, что к развитию экономических связей с Китаем А. А. Громыко (в то время председатель весьма влиятельной комиссии Политбюро ЦК по Китаю) относился весьма сдержанно, опасаясь усиления военного потенциала КНР.

Явной пассивностью отличалась политика Андрея Андреевича в отношении другого великого соседа СССР на Дальнем Востоке — Японии.

Основы его отношения к этой проблеме были заложены давно. Ведь еще в 1951 году на конференции в Сан-Франциско глава советской делегации А. А. Громыко, как он сам пишет в своих воспоминаниях, «убедительно аргументировал» отказ своего правительства подписать выработанный под руководством американцев (и выгодный, конечно, прежде всего им) мирный договор с Японией, в тексте которого, между прочим, было зафиксировано, что Япония отказывается от «всех прав, правооснований и претензий» на Южный Сахалин и Курильские острова. В дальнейшем в течение десятилетий все дипломатическое искусство Громыко в подходе к проблеме четырех южнокурильских островов, возврата которых требовала Япония, сводилось к повторению фразы: «Такого вопроса не существует».

Не удивительно поэтому, что в течение ряда лет А. А. Громыко, будучи министром, упорно уклонялся от осуществления визита в Японию, куда его настойчиво приглашали, и отправился туда в 1976 году лишь под нажимом сверху.

В какой атмосфере проходил этот визит, можно судить уже по тому, как Андрей Андреевич сам описывает состоявшуюся у него тогда в Токио беседу с одним из ведущих политических деятелей Японии, будущим премьер-министром Накасонэ: «Следуя за изгибами мысли Накасонэ, я задал себе вопросы: не слишком ли хорошо звучат его слова, чтобы быть правдой? Разве этот политический деятель не из той страны, которая неоднократно совершала нападения на нашу Родину?»[31].

Остается сказать несколько слов об отношении А. А. Громыко к Организации Объединенных Наций. Без этого нельзя. Андрей Андреевич стоял, можно сказать, у колыбели ООН, активно участвовал в разработке ее Устава, под этим документом стоит его подпись. Громыко был главой делегаций СССР на многих сессиях Генеральной Ассамблеи ООН, выступал на ряде заседаний Совета Безопасности. Словом, он как бы неотделим от ООН. И вместе с тем сами его выступления в этой организации, его участие в дискуссиях, в полемике в рамках ООН говорят о том, что для А. А. Громыко ООН всегда была скорее трибуной для защиты политики СССР и разоблачения противников этой политики, чем инструментом реального международного сотрудничества государств. Это, конечно, было обусловлено духом времени: в течение десятилетий роль ООН в условиях резкого противостояния двух лагерей действительно была невелика. Лишь за последние годы в значительной мере благодаря новаторским инициативам СССР и на фоне общего улучшения советско-американских отношений конкретный вклад ООН в оздоровление международной обстановки, в урегулирование ряда региональных конфликтов стал по-настоящему заметен, престиж ее возрос. Но это произошло уже после того, как Громыко отошел от руководства МИД. (Конечно, и в минувшие годы в ООН был выдвинут ряд крупных советских инициатив, например, в выступлениях Н. С. Хрущева о всеобщем и полном разоружении в 1959 г., о ликвидации системы колониализма в 1960 г., в заявлении

1982 г. об обязательстве СССР не применять первым ядерное оружие и др.)

Что можно сказать о деятельности А. А. Громыко как министра иностранных дел в недолгие периоды, когда у руководства находились тяжело больные **Ю. В. Андропов и К. У. Черненко?** Примерно то же, что сказано выше о длительном периоде болезни Л. И. Брежнева.

Роль министра в определении внешней политики оставалась по-прежнему главенствующей (в тесном сотрудничестве, как и ранее, с военным руководством). Андропов даже сделал его дополнительно в 1983 году первым заместителем председателя Совета Министров СССР, хотя реального значения эта новая должность Громыко не имела.

Приход **М. С. Горбачева** к руководству партией и государством произошел, как известно, при активном содействии А. А. Громыко. Поддержав молодого (по сравнению с коллегами того времени) члена Политбюро, выступив на пленуме ЦК КПСС с рекомендацией его кандидатуры на пост генерального секретаря и поддержав провозглашенный М. С. Горбачевым курс на перестройку, Громыко (чей голос в то время весил немало) бесспорно проявил политический реализм и дальновидность. Однако, как оказалось, это была по существу единственная серьезная услуга, которую ветеран советской внешней политики был в состоянии оказать новому руководителю. Андрею Андреевичу было трудно приспособиться к новым установкам, новому подходу ко многим проблемам внешней политики. Слишком давил на него груз прошлых лет, их психологии, их стиля, их традиций. (Об этом, кстати, довольно убедительно говорят многие его рассуждения в вышедшей в 1988 г. книге воспоминаний «Памятное». В них немало упрощенных оценок и суждений, выдержанных в духе стереотипов времен «холодной войны».)

В целом своей многолетней деятельностью на поприще внешней политики А. А. Громыко безусловно способствовал созданию солидных основ (например, в области советско-американских отношений, разоруженческих проблем, европейской безопасности), опираясь на которые можно было перейти к проведению нового, более творческого и эффективного внешнеполитического курса. Но он же создал (или закрепил) за эти годы в

сфере внешней политики немало стереотипов и барьеров, которые надо было преодолевать, устранять, чтобы сделать возможной новую политику. Поэтому уход А. А. Громыко в июле 1985 года с поста министра иностранных дел был логичным и, можно сказать, исторически неизбежным. Андрей Андреевич завершил свою карьеру на высоком (хотя в те годы еще довольно формальном) посту председателя Президиума Верховного Совета СССР. Умер он в 1989 году через несколько месяцев после ухода на пенсию.

В заключение остановлюсь на некоторых личных качествах Андрея Андреевича Громыко, сказавшихся и на его государственной деятельности.

В этой связи, наверное, нужно прежде всего еще раз упомянуть его огромную энергию, выносливость, колоссальную трудоспособность, умение работать быстро и эффективно, организовать свой труд. В отличие от многих своих коллег, Громыко обычно (если особые обстоятельства не требовали иного) не засиживался в своем кабинете на Смоленской площади до поздней ночи и не вынуждал этим задерживаться сотрудников министерства. Но зато, уезжая домой, брал с собой большую кипу документов, над которыми продолжал работать в спокойных домашних условиях.

Общепризнано, что А. А. Громыко как министр отличался высокой компетентностью, хорошим знанием многообразных дел, которыми ему приходилось заниматься. Он постоянно держал в памяти массу фактов, дат, позиций, умел неплохо распознавать различные уловки своих партнеров по переговорам. Это, кстати, отмечает в своих воспоминаниях такой квалифицированный собеседник, как бывший госсекретарь США Киссинджер, который пишет об опытности советского министра и его способности разгадывать «тактику надувательства»[32], применявшуюся американской стороной.

В переговорах Громыко отличался большим упорством, настойчивостью и в то же время, по мнению многих, недостаточной гибкостью.

Громыко-министр был неизменно дисциплинирован и лоялен в отношении своих руководителей. Очевидно, это — одна из важных причин его политического долголетия. При этом Андрей Андреевич всегда был крайне осторожен в своих высказываниях и формулировках. Временами это его свойство принимало гипер-

трофированные формы. Он, например, не позволял своим сотрудникам, занятым обработкой диктовок Н. С. Хрущева, предназначенных для текстов речей или иных документов, менять ни слова из того, что зафиксировала стенографистка, хотя нередко эти фрагменты были в литературном отношении совершенно сырыми, а подчас и не очень грамотными. Такой ригоризм Громыко проявлял, несмотря на то что помощники самого Хрущева считали доработку его текстов делом естественным и необходимым, да и сам Хрущев против нее не возражал.

Но это вовсе не значит, что Андрей Андреевич был вообще человеком робкого десятка. В дипломатические битвы он бросался смело и решительно, и это качество его партнеры знали и уважали. Вспоминается случай, когда в мае 1960 года А. А. Громыко был направлен в Нью-Йорк, чтобы выступить в Совете Безопасности ООН с разоблачением действий американцев в связи со шпионским полетом самолета У-2 над территорией СССР. Обстановка была крайне острая. Направляясь на пресс-конференцию, где ему предстояло встретиться лицом к лицу с парой сотен разъяренных американских и иных западных журналистов, Андрей Андреевич наотрез отказался от услуг переводчика и провел этот «бой» на английском языке сам, без посторонней помощи.

От одного из наших видных дипломатов, близко знавшего А. А. Громыко по работе в течение многих лет, мне довелось услышать такую фразу: «Собственно говоря, Андрей Андреевич ведь всегда был исполнителем, а не творцом во внешней политике». Доля истины в этом, вероятно, есть, если иметь в виду принципиальные долгосрочные концепции, радикальные повороты в политике и т. п. И все же полностью справедливой такую оценку считать нельзя. А. А. Громыко был инициатором многих наших значительных внешнеполитических шагов и, конечно, умело осуществлял их на практике.

Об отношении Громыко *к людям*, с которыми он работал. Андрей Андреевич умел в общем неплохо подбирать и растить кадры. Под его эгидой сформировались и внесли заметный вклад в осуществление внешней политики СССР видные советские дипломаты А. Ф. Добрынин, Г. М. Корниенко, Ю. М. Воронцов,

О. А. Трояновский, В. М. Фалин, А. Г. Ковалев, Ю. А. Квицинский и многие другие.

В общении с сотрудниками Громыко бывал не только требователен, но нередко резок и сух (видимо, молотовская традиция). Своих подчиненных — за исключением, пожалуй, лишь заместителей министра — он обычно называл не по имени и отчеству, а только по фамилии: «Послушайте, Иванов...» Один из его помощников, проработавший с ним много лет, как-то полушутя сказал: «По-моему, Андрей Андреевич до сих пор не знает, как меня зовут». В то же время Громыко был способен проявлять большую лояльность в отношении своих сотрудников, в беде не бросал — иногда даже с определенными неудобствами для себя, хотя временами был терпим и там, где, может быть, и не следовало бы. В общем, несмотря на свою внешнюю суровость, это был скорее доброжелательный человек.

Довольно сложная тема — А. А. Громыко и *культура*. Вышедший из крестьянской среды, Громыко всю свою жизнь испытывал настоятельную тягу к культуре. Он много, хотя, по-видимому, в общем бессистемно, читал; прочел помимо учебных или чисто профессиональных книг немало произведений художественной, публицистической, научной литературы, проявлял интерес к живописи. Имел о прочитанном свое, далеко не всегда стандартное мнение. Помнится, однажды польский коллега — министр Адам Рапацкий спросил у Андрея Андреевича, какое из произведений классической литературы он больше всего любит. Ответ был неожиданным: трагедию Шиллера «Мария Стюарт». В своих воспоминаниях Громыко охотно пишет о встречах со знаменитыми деятелями литературы, искусства, науки — правда, в основном лишь вскользь. И при всем этом трудно сказать, чтобы внешне Андрей Андреевич производил впечатление утонченного интеллектуала. Речь его как устная, так и письменная была далеко не безупречна в стилистическом отношении. Оратором хорошим он никогда не был, хотя выступать, естественно, приходилось часто.

В общении А. А. Громыко был как бы скован, что называется, застегнут на все пуговицы. Это даже подчеркивалось внешне: обычно темно-серый костюм с темным галстуком, неизменная (даже в жаркую погоду) темно-серая шляпа с жесткими полями. Пришлось слы-

щать о таком маленьком, но характерном эпизоде. Английский министр иностранных дел Джордж Браун, отличавшийся довольно разухабистыми манерами, предложил как-то Громыко перейти на ты на английский манер, то есть называть друг друга просто по имени. «Зовите меня Джо. А я вас как?» Ответ, после некоторого смущения, был таков: «Можете называть меня Андрей Андреевич».

С юмором у Громыко было в общем не очень. Попытки острить обычно оказывались какими-то тяжеловесными. Недаром Хрущев, услышав однажды, как министр рассказывает группе журналистов какой-то старенький анекдот, воскликнул: «Громыко — рассказывает анекдот? Вот это анекдот!»

Однако в деловом общении эти человеческие слабости А. А. Громыко, безусловно, компенсировались остротой ума и глубоким знанием дела, внушавшими уважение.

ПОСЛЕВОЕННАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОЛИТИКА СССР. БОРЬБА ЗА ГЕРМАНИЮ

Не удивляйтесь, читатель, что, переходя от личностей к некоторым крупным международным проблемам, я начинаю с проблем центральноевропейских, а в конечном счете — с германской. Именно как решались эти вопросы, а несколько позже — как развивались отношения с США, мне довелось наблюдать (и в какой-то мере быть к ним причастным) за годы моей работы в МИД и в секретариате Л. И. Брежнева. Но события в этом круге настолько тесно взаимосвязаны и тянутся такой плотной цепочкой прямо с конца войны, что мне придется, излагая свое понимание этой взаимосвязи, заглянуть достаточно далеко в минувшие десятилетия и напомнить о некоторых вещах, которые, скорее всего, известны читателю, а, может быть, кое-кем уже и позабыты. Это необходимо для понимания логики событий, как она мне представляется в свете пережитого и виденного.

Оказавшись в центральном аппарате МИД по возвращении осенью 1947 года из «глубокой шведской провинции», я гораздо отчетливее почувствовал напряжен-

ный пульс внешнеполитической борьбы, которая полным ходом шла тогда на мировой арене, втянув в себя державы — победительницы в недавней войне, побежденных и нейтралов.

Речь шла прежде всего о формировании нового, послевоенного лица Европы и о роли, которую предстояло в ней играть Германии.

Борьба эта началась еще в разгар войны с гитлеровской Германией — и продолжалась десятилетиями.

Из архивных документов мы сейчас знаем, что Сталин, Рузвельт и Черчилль многократно обсуждали вопрос о том, как поступить с побежденной Германией. Варианты были разные, но в главном они тогда сходились: гитлеровский рейх должен быть раздроблен, разделен на несколько отдельных государств, обезоружен и резко ослаблен экономически (вплоть до полной «аграризации» — см. «план Моргентау»). В 1942 году Сталин сделал два своих известных заявления о будущем Германии, которые в нашем сегодняшнем восприятии звучат вполне разумно, но тогда резко противоречили всему, о чем тайно договаривались между собой главные союзники по антигитлеровской коалиции. Вот они, эти заявления:

«Опыт истории говорит, что гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское — остается»[33] (23 февраля 1942 г.).

«У нас нет такой задачи, чтобы уничтожить Германию, ибо невозможно уничтожить Германию, как невозможно уничтожить Россию... У нас нет такой задачи, чтобы уничтожить всякую организованную военную силу в Германии, ибо любой грамотный человек поймет, что это не только невозможно в отношении Германии, как и в отношении России, но и нецелесообразно с точки зрения победителя»[34] (6 ноября 1942 г.).

Однако эти заявления выглядели тогда не политической программой, а приемом психологической войны, рассчитанным на разрыхление сплоченности немцев вокруг Гитлера. Так они и воспринимались союзниками, да и у нас в СССР.

Пришла Победа. Потсдам все определил на ближайшие годы: каждый из главных победителей получил для оккупации свой «кусок» Германии, который подлежал «полному разоружению и демилитаризации», полной денацификации и «реконструкции германской политиче-

ской жизни на демократической основе». А в середине советской зоны оставался управляемый четырьмя союзниками Берлин как символ их единства — или отсутствия такового.

И вот в такой обстановке началась сразу же жесткая политическая борьба.

Ставки были крупные. Речь шла о политическом будущем Европы, о новой расстановке сил в мире. Успехи, с которыми Советский Союз закончил войну в Европе, серьезно обеспокоили весь буржуазный мир Западной Европы от консерваторов до либералов и социалдемократов, но еще больше — правящие круги США. Дело было не только в том, что под военным и политическим влиянием Советского Союза оказалась Восточная и значительная часть Центральной Европы. В самой Западной Европе, тяжело пострадавшей от войны экономически и все еще взбудораженной эмоциями антифашистской борьбы, резко возросло влияние левых сил, особенно коммунистических партий, активнее всего участвовавших в борьбе с нацистскими оккупантами. За них голосовали миллионы на выборах, коммунисты вошли в состав правительств Франции, Италии, Бельгии, Финляндии, получили в Риме и Париже посты первых заместителей премьеров, а в Хельсинки — министра внутренних дел. Нетрудно представить себе, с какой тревогой воспринимали в этих условиях политические руководители буржуазного мира вопрос о дальнейшей судьбе Германии — хоть и разоруженной, но потенциально самой мощной страны в Европе после СССР.

Тем более ясно представляли себе значение политического и экономического будущего Германии для судеб Европы руководители Советского Союза, только что испытавшего на себе всю тяжесть германской агрессии. Соотношение сил в мире к концу войны не позволяло Москве рассчитывать рспространить свое влияние на всю Германию. Победа была общей с союзниками, СССР разорен войной, США разбогатели, надо было искать компромисс с ними. Таким компромиссом стало, как я уже упоминал, Потсдамское соглашение.

Казалось бы, Сталин добился в Потсдаме всего, что ему требовалось. Но это было не так. Во-первых, фактически не удалось получить в виде репараций хоть скольконибудь существенную часть промышленного потенциала

из наиболее развитых западных регионов Германии, союзники на это не пошли. Во-вторых, если Сталин и его коллеги рассчитывали в какой-то мере (это, впрочем, сомнительно), что претворение в жизнь потсдамских решений о демилитаризации, денацификации и демократизации Германии ослабит влияние правых, националистических кругов и военно-промышленный потенциал Западной Германии, то они явно просчитались: и западногерманский монополистический капитал, и его политические представители (кроме, конечно, откровенных нацистов) остались, в общем-то, на своем месте, только сблизились с Западом, подчинились его контролю.

И Запад не терял времени.

Прежде всего Соединенные Штаты предприняли смелый, далеко идущий шаг по восстановлению своих позиций в послевоенной Западной Европе. «План Маршалла» (1947 г.) с помощью вливания миллиардов американских долларов быстро и эффективно помог поднять на ноги экономику западноевропейских союзников США, а заодно и радикально устранить влияние коммунистов и других левых сил в решающих сферах политической жизни и прежде всего в правящем аппарате этих государств.

Тем временем развернулся процесс экономической и политической консолидации Западной Германии как главной опоры будущей политики Соединенных Штатов (и, воленс-ноленс, их союзников) в Западной Европе. Разрозненные зоны оккупации были сплочены в единый административно-экономический блок (сначала — «Бизония», затем, после привлечения Франции,— «Тризония»), скреплены единой валютой. Попытка советской стороны с помощью силовых методов (блокада Западного Берлина) помешать втягиванию в эту экономическую орбиту хотя бы западных секторов Берлина успеха не имела, а лишь обострила обстановку. В 1950 году США, Англия и Франция открыто провозгласили предстоящую широкую ремилитаризацию Западной Германии (к тому времени уже единого государства — ФРГ) «для защиты европейской свободы».

Пока советская администрация занималась в своей оккупационной зоне обширными изъятиями промышленного оборудования и иных материальных ценностей, чтобы хоть как-то облегчить непомерно тяжкую задачу восстановления народного хозяйства в разрушенной

европейской части СССР, а в самой Восточной Германии осуществляла сложный и болезненный процесс действительно глубокой денацификации и демократизации (а по существу — смены общественного строя), на Западе под энергичным руководством Соединенных Штатов все уже было подготовлено для эффективного сплочения рядов. Союзники США, капиталистическая экономика которых вновь воспрянула, получив живительную инъекцию с помощью «плана Маршалла», а политика определялась в основном теми же партиями, что и до войны, объединились теперь с Вашингтоном в новом военном союзе — блоке НАТО для новых целей — «холодной войны», направленной на сдерживание Советского Союза и его новых союзников.

Испытанные капитаны западногерманской индустрии, управлявшие ею и до Гитлера, и во времена Гитлера, и после него, теперь, при солидарной поддержке своих заокеанских коллег, быстро наводили порядок в принадлежавшей им экономике с помощью десятилетиями известных немцам политиков. Все это позволило сразу же после образования блока НАТО создать отдельное западногерманское государство — Федеративную Республику Германии. Это был открытый стратегический вызов Советскому Союзу в германской и вообще в европейской политике.

Ответным шагом на Востоке стало возникновение полугодом позже другого германского государства — Германской Демократической Республики, где власть взяли в свои руки главным образом коммунисты и примкнувшие к ним левые социал-демократы, целиком ориентировавшиеся на СССР.

Итак, политические фронты определились. И не к выгоде Советского Союза: сложился прочный военно-политический альянс самых сильных капиталистических стран Западной Европы и США с ближайшей перспективой включения в него наиболее развитой части Германии — двух третей этой мощной страны.

И вот в этой обстановке Сталин предпринял новый крупный политический маневр в попытке не допустить окончательного оформления военного союза западных держав с Германией. После того как в течение длительного времени Советский Союз, отстаивая статус ГДР как самостоятельного государства, отклонял западную идею «общегерманских выборов под международ-

ным контролем», советское правительство неожиданно для многих выступило с официальным предложением о создании **единой, демократической и суверенной Германии,** свободной от иностранной оккупации, имеющей право на свою национальную армию для обороны (но не в составе военных союзов, направленных против какого-либо из воевавших с ней государств), имеющей право на неограниченное развитие мирной экономики и доступа на мировые рынки, право стать членом ООН.

Все это содержалось в проекте основ мирного договора с Германией, выдвинутом Советским Союзом 10 марта 1952 г.[35] Выработку договора предлагалось осуществить при равноправном участии Германии в лице общегерманского правительства. И тут же (9 апреля) СССР предложил трем западным державам безотлагательно рассмотреть вопрос о проведении свободных выборов во всей Германии — под контролем комиссии, образованной четырьмя державами-победительницами (на чем так долго и упорно настаивали США и их союзники во время предыдущих обсуждений германского вопроса).

Таким образом, если смотреть на дело с учетом прежних позиций сторон по германской проблеме, можно было считать, что путь к ее решению открыт благодаря новой инициативе СССР.

Трудно сказать, рассчитывал ли Сталин на принятие Западом своего предложения. Едва ли. Так по крайней мере казалось нам, принимавшим какое-то участие в разработке этих инициатив. Скорее всего, это был шаг, направленный на то, чтобы публично возложить на западные державы ответственность за предстоявший окончательный раскол Германии и Европы на два противостоящих друг другу военно-политических лагеря. И действительно, этого раскола добивался тогда именно Запад.

Оценивая ситуацию в ретроспективе, можно предположить, что принятие предложения, выдвинутого Советским Союзом весной 1952 года, и возникновение в центре Европы единой нейтральной Германии как «прокладки» между Западом и Востоком могло бы сформировать совершенно по-иному — и к лучшему — все развитие международных отношений в последующие годы.

Но так или иначе, советское предложение, хотя оно весьма заинтересовало многих немцев, было отвергнуто западными державами. У них уже был подготовлен

совершенно другой сценарий. Они вложили слишком много средств и усилий в сколачивание своего «фронта» против Востока, чтобы теперь пойти на разрыхление сердцевины этого фронта. Ответом на советские предложения явилось заключение Боннского (26 мая 1952 г.) и Парижского (27 мая) договоров, которые легализовали создание массовой армии в ФРГ и ее военный союз с западными державами. При этом, однако, США, Англия и Франция заботливо сохранили в этих договорах и продолжение своей оккупации, и свои «особые» права как оккупантов Западной Германии. Путь к вступлению ФРГ в НАТО (в октябре 1954 г.) был, по существу, открыт.

Наследникам Сталина, прежде всего Хрущеву, пришлось считаться с этим суровым фактом. Тем более суровым, что ближайшие месяцы принесли новое серьезное предупреждение — народное восстание летом 1953 года в Берлине и некоторых других городах Восточной Германии против тогдашнего режима. В восстании приняли участие тысячи рабочих, и для усмирения восставших советскому командованию пришлось вывести на улицы Берлина танки. Это событие явилось настоящим шоком для руководства в Москве, ибо показало, сколь непрочной может оказаться социальная основа режимов в странах народной демократии.

Впрочем, неожиданностью для московского руководства явилась, по-видимому, форма проявления народного недовольства в ГДР — решительная, массовая, взрывная, а не сам факт этого недовольства. О нем в Москве знали, даже пытались предпринять кое-какие превентивные шаги, оказать воздействие на слишком ревностных, во многом зарвавшихся в своей политике «строителей социализма» в странах народной демократии. Приведу два конкретных примера.

Незадолго до июньских событий в Москву стала поступать настойчиво повторяющаяся информация от наших дипломатических и иных представителей в ГДР относительно того, что в республике растет недовольство населения жесткой политикой, проводимой руководством СЕПГ — ГДР во главе с Ульбрихтом: нажимом на крестьянство с требованием скорейшего вступления в кооперативы (колхозы), вытеснением остававшегося еще частного сектора из системы торговли, ухудшением снабжения. И вот в этой обстановке партийный и государственный руководитель ГДР Вальтер Ульбрихт

выступил 5 мая 1953 г. (день рождения Карла Маркса) с речью, явно претендовавшей на «историческое» политическое значение. Ульбрихт заявил, что развитие ГДР «вступило в новый этап»: народно-демократическое государство стало теперь выполнять функции диктатуры пролетариата. «В настоящее время,— провозгласил он,— в Германской Демократической Республике... происходит переход к осуществлению задач социалистического развития, к строительству основ социализма»[36]. И, конечно, тут же последовало указание аппарата ЦК СЕПГ органам печати страны и партийным организациям по всей ГДР изучать, пропагандировать и комментировать основополагающую речь вождя.

В Москве, где неплохо представляли себе реальную обстановку в ГДР, схватились за голову: подобная установка Ульбрихта могла лишь означать дальнейшее усиление «революционного нажима» на население, дальнейшее обострение его недовольства. Никаких советов подобного рода немецким «друзьям» из Москвы не давали, но, как выяснилось, текст речи Ульбрихта видел (и не возражал) политсоветник при председателе Советской контрольной комиссии в Германии П. Юдин (он же — один из «соавторов» произведений Мао Цзэдуна). Прочитав сообщение о речи Ульбрихта, Молотов немедленно указал Юдину на его «серьезную ошибку» и распорядился принять все меры, чтобы прекратить дальнейшую популяризацию «эпохальной» речи. В своей записке в Президиум ЦК КПСС (Маленкову и Хрущеву), подготовленной у нас в 3-м Европейском отделе, Молотов подчеркивал, что сказанное Ульбрихтом «не было согласовано немецкими друзьями с Москвой и не соответствует рекомендациям, полученным ими в ЦК КПСС»[37]. Ульбрихту было затем сказано, что «в Москве считают политически несвоевременным его заявление о том, что ГДР как государство осуществляет функции диктатуры пролетариата»[38].

Однако эта «теоретическая» поправка на ходу уже не могла, конечно, предотвратить событий 17 июня. Ситуацию пришлось постепенно выправлять уже после подавления восстания. Так, в июле 1953 года состоялся (конечно, не без нашей подсказки) пленум ЦК СЕПГ, который наметил программу повышения жизненного уровня трудящихся и осудил курс на ускоренное строительство социализма. А в августе в Москве в итоге пра-

вительственных переговоров с ГДР было объявлено, что СССР прекращает с января 1954 года дальнейшее взимание репараций с Германии, передает ГДР 33 крупных предприятия, перешедших ранее к СССР в порядке репараций, и сокращает размер платежей ГДР на содержание советских войск в Германии[39].

С помощью принятых мер в общем удалось разрядить ситуацию.

А другой пример (тут я немного забегаю вперед в смысле географии) относится к Чехословакии. Здесь тоже, вследствие безответственного хозяйничанья руководства страны и его аппарата, внутреннее положение к концу 1953 года заметно ухудшилось и грозило достичь опасного накала. В информации, поступавшей в МИД от нашего посольства в Праге, говорилось о крупных перебоях в снабжении населения продовольствием, углем, электроэнергией, о фактах коррупции властей, растущем недовольстве народа. И здесь московское руководство, возглавлявшееся тогда Хрущевым и Маленковым, отреагировало. По предложению МИД (Молотова) Президиуму ЦК Компартии Чехословакии было направлено письмо Президиума ЦК КПСС, в котором, в частности, говорилось:

«По нашему мнению, Центральному Комитету Компартии и Правительству Чехословакии следовало бы незамедлительно вплотную заняться вопросами улучшения снабжения населения. Без этого нельзя говорить о действительно прочном союзе рабочего класса и крестьянства и о повышении авторитета органов народно-демократической власти, чего необходимо добиться на деле.

...Необходимо прежде всего воспитывать руководящие кадры партии и государства в духе высокой ответственности перед народом и внимательного отношения к его повседневным нуждам»[40].

Далее в письме приводились конкретные примеры неприглядного поведения отдельных высокопоставленных чехословацких руководителей, в том числе министров, и в довольно резком тоне подчеркивалось: «...Это — не мелочи, а такие вещи, недооценка которых может повести к опасным последствиям»[41].

Думается, характер этого обращения к чехословацкому руководству еще нес на себе отпечаток недавнего горького опыта ГДР.

Таким образом, в разумных рекомендациях со сто-

роны послесталинского советского руководства зарвавшимся «друзьям» недостатка не было. Другое дело, что на практике до претворения в жизнь этих рекомендаций (и у них, и у нас) было далеко, хотя кое-какие паллиативные меры принимались.

Что касается внешней политики в целом, то в обстановке, сложившейся в мире к середине 50-х годов, Кремлю пришлось серьезно подумать о разработке новой стратегии. Инициаторами пересмотра сталинских традиций в этой области, выработки в какой-то мере новаторского подхода к актуальным мировым проблемам были Хрущев, близко сотрудничавший с ним первый год Маленков и постоянно поддерживавший его Микоян. Гораздо более осторожную, консервативную линию стремился проводить Молотов, в глазах которого, как мы знаем теперь из опубликованных недавно его высказываний, Хрущев всегда был «правым». Тормозящая роль Молотова в этот период была хорошо заметна нам, работникам МИД.

Суть новой стратегии, выработанной Хрущевым и его коллегами в изменившейся обстановке, состояла, как я понимаю, из трех основных элементов: максимально укрепить и сплотить вокруг Советского Союза страны народной демократии Восточной и Центральной Европы, создать, где возможно, нейтральную «прокладку» между двумя противостоящими друг другу военно-политическими блоками и постепенно налаживать экономические и иные более или менее нормальные формы мирного сотрудничества со странами НАТО. Стратегия, как видим, не агрессивная, а скорее оборонительная. Она была подсказана и изменившимся к невыгоде Советского Союза соотношением сил двух лагерей на международной арене, и внутренней обстановкой в СССР: новому советскому руководству нужно было укрепить свой авторитет, завоевать доверие народа.

Первым шагом во вновь возникшей ситуации было образование военно-политического союза социалистических и народно-демократических стран Европы — подписание в мае 1955 года Варшавского Договора. Заметим, что это произошло через шесть лет после создания блока НАТО и только после того, как вступление ФРГ в НАТО было окончательно оформлено. При этом текст Варшавского Договора был составлен так, чтобы не подчеркивать, что это союз против капиталистического Запа-

да, и в специальной статье договора отмечалось, что он «открыт для присоединения других государств, независимо от их общественного и государственного строя...»[42].

Надо было воспрепятствовать дальнейшему распространению зоны НАТО в Европе. На Севере это, собственно, уже было сделано: наряду со стойко нейтральной Швецией в состав «прокладки» между двумя блоками вошла также Финляндия, с которой, как я говорил выше, уже в 1948 году был заключен Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а по существу — о дружественном нейтралитете.

На юге континента требовал своего решения и вносил немало раздражающих моментов в отношения между Западом и Востоком вопрос об Австрии. Хотя и отделенная от захватившей ее Германии, но все еще оккупированная по зонам, как и ее столица Вена, войсками четырех держав-победительниц — СССР, США, Англии и Франции, Австрия представляла собой одну из сложных европейских и международных проблем. Переговоры о будущем этой небольшой страны продолжались годами, отражая растущую напряженность между Востоком и Западом. Каждая сторона тянула канат в свою сторону. СССР добивался, чтобы на территории обретающей независимость Австрии все же в той или иной форме сохранилось присутствие советских войск наряду с войсками трех других держав. В этом Москве виделась гарантия против полного включения Австрии в сферу военного господства Запада. А западные державы хотели для Австрии такой «свободы», которая обеспечила бы ее быстрое включение в блок НАТО. Без этого они предпочитали сохранить раздел Австрии, ибо, как об этом откровенно писала в те месяцы западная печать (американская, западногерманская, французская), США рассматривали Западную Австрию как свою «альпийскую крепость», связующее звено между своими военными базами в Италии и ФРГ. Переговоры зашли в тупик, о чем правительства США, Англии и Франции официально заявили в ноябре 1954 года в ноте советскому правительству. Американские войска, невзирая на межсоюзнические соглашения о зонах оккупации, свободно размещались по усмотрению генералов США во всех регионах Западной Австрии (например, в Тироле, относившемся к французской зоне). Как бы резюмируя ситуацию, французский журнал «Комба пур ла пэ» писал 14 марта

1955 г.: «В Лондоне и Вашингтоне раздел Германии, как и раздел Австрии, рассматривается как окончательный»[43].

Поэтому в начале 1955 года Хрущев предложил членам Президиума: пора кончать с этим делом, давайте согласимся на создание нейтральной Австрии, которая не будет иметь на своей территории никаких иностранных войск и баз, останется буржуазной страной, но, подобно Швейцарии, не войдет в состав никакого военно-политического блока — ни восточного, ни западного. И при этом крепко обругал МИД (т. е. Молотова) за косность и безынициативность в подходе к решению австрийской проблемы. Вопрос этот обсуждался в Президиуме не раз. До сих пор наша позиция была половинчатой: мы говорили о нейтральной Австрии, но связывали окончательный вывод иностранных войск с решением германского вопроса.

В то время я ведал австрийской референтурой 3-го Европейского отдела. На нашу долю выпала изнурительная работа по подготовке целого ряда записок Молотова, в которых предлагалось то одно, то другое решение вопроса о «нейтралитете» Австрии в условиях «временного» сохранения на ее территории иностранных (т. е. для нас прежде всего советских) воинских контингентов, баз и т. п. Подбирались целые кипы справок о «прецедентах», которые должны были как-то обосновать такие предложения. Но все это последовательно отвергалось Хрущевым, и чем чаще это происходило, тем больше раздражался Молотов, тем напряженнее становились его отношения с Хрущевым. Наконец было окончательно решено выступить с инициативой заключения договора о действительно нейтральной Австрии — без иностранных войск, баз и без ее участия в каких-либо союзах. Чтобы упредить натовских стратегов и их нажим на Вену, было решено разговор об этом начать непосредственно с австрийцами, которых нейтралитет как раз устраивал. Такой обмен мнениями на «рабочем» уровне (главным образом через посла Австрии в Москве Бишофа) состоялся по нашей инициативе в конце февраля и в марте 1955 года. Он показал далеко идущее совпадение взглядов сторон. И тогда было решено поднять переговоры на официальный уровень. В Москву была приглашена высокопоставленная австрийская делегация, которую возглавили канцлер (глава правительства)

Рааб, лидер правой Народной партии, и вице-канцлер Шерф, лидер Социалистической партии. Советскую делегацию возглавили Молотов и Микоян, но переговоры проходили под неусыпным наблюдением Хрущева.

Всего за четыре дня (с 12 по 15 апреля) были рассмотрены и в принципе согласованы все важнейшие вопросы будущего государственного договора о восстановлении независимой и демократической Австрии, включая гарантии недопущения аншлюса (присоединения к Германии), строгого соблюдения нейтралитета Австрии, а также решения ряда существенных проблем экономических отношений между СССР и Австрией, оплаты германских активов в Австрии, поставки в СССР австрийской нефти и развития торговли. Советская сторона согласилась, чтобы оккупационные войска четырех держав были выведены из Австрии после вступления в силу Государственного договора, не позднее 31 декабря 1955 г. Хорошо помню, как ездил в Кремль вместе с начальником Генерального штаба А. И. Антоновым, который кратко и четко доложил руководству о практической возможности осуществить вывод войск из Австрии к концу года.

Будет справедливым отметить, что большой конструктивный вклад в разработку проектов советско-австрийских документов, в сближение позиций сторон внес в эти дни (да и ранее) посол Австрии в Москве Норберт Бишоф, горячий сторонник нейтралитета Австрии и дружественных отношений с Советским Союзом. Недаром прозападные чиновники австрийского МИД терпеть не могли Бишофа, а реакционер министр иностранных дел Грубер (ко времени переговоров уже смещенный Раабом) однажды заявил: «Я телеграмм этого «красного типа» вообще не читаю».

Московские переговоры завершились в духе полного согласия и ко взаимному удовлетворению сторон. Покидая Москву, канцлер Рааб заявил: «Мы возвращаемся в Вену счастливыми людьми. Здесь, во время переговоров в Москве, была проделана хорошая работа, которая будет иметь особое значение для мира между народами»[44].

Заколдованный круг, в котором в течение десятилетия был замкнут австрийский вопрос, пока западные державы изо всех сил старались втолкнуть Австрию (или хотя бы западную ее часть) в свой военный блок, а Советский Союз всячески старался помешать этому да еще

стремился сохранить свое военное влияние в Восточной Австрии, был наконец прорван. Проекты документов о нейтральной Австрии были разработаны в Москве столь тщательно, что на согласование их с державами Запада (оказавшимися в довольно неловком положении, как они сами признавали) много времени не потребовалось. 15 мая 1955 г. министры иностранных дел СССР, США, Великобритании, Франции и Австрии подписали в Вене в торжественной обстановке Государственный договор о восстановлении независимой и демократической Австрии. Летом он вступил в силу, к осени четыре державы завершили вывод оккупационных войск из Австрии, а 25 октября Австрия приняла обязывающий страну закон о постоянном нейтралитете, который получил широкое международное признание. Такая процедура оформления постоянного нейтралитета Австрии была согласована еще в Москве по просьбе австрийцев, чтобы нейтралитет выглядел как свободное выражение суверенной воли самой Австрии, а не как навязанный извне договором с иностранными державами.

Договоренность о нейтралитете Австрии, достигнутая в Москве, была встречена обеими сторонами в обстановке большого подъема. Австрийцев нейтралитет устраивал вполне и был одобрен самой широкой общественностью этой страны. А руководители СССР могли с удовлетворением констатировать, что удалось предотвратить казавшееся почти неизбежным вовлечение Австрии в НАТО и создать еще одну «прокладку» между двумя противостоящими друг другу военными блоками. Более того, была на практике доказана реальная возможность того, к чему настойчиво призывало новое кремлевское руководство,— разрешения даже крупных и сложных противоречий между Востоком и Западом путем компромиссов, на основе мирного сосуществования государств с различным общественным строем. Невольно вспоминается небольшая, по-своему символичная, при всем своем комизме, сценка в одной из гостиных Большого Кремлевского дворца после завершения переговоров с австрийцами. Крепко подвыпивший на банкете Хрущев, обхватив одной рукой христианского демократа Рааба, а другой — социалиста Шерфа (тоже очень «веселых»), крикнул вездесущим фотографам: «Ну вот, смотрите — я одной рукой обнимаю социализм, а другой — капитализм!»

7 Зак. № 17

Австрийский договор был несомненным успехом мирной дипломатии Хрущева. Все мы, как-то причастные к работе над этим документом, ясно чувствовали это уже тогда. Значение договора с Австрией для разрядки международной напряженности было признано во всем мире. Раздражение можно было заметить только в наиболее воинственно настроенных кругах Вашингтона и Бонна, опасавшихся «разрыхления» НАТО.

В статье, посвященной итогам советско-австрийских переговоров в Москве (журнал «Международная жизнь», 1955, № 5) под псевдонимом И. Андреев я писал тогда:

«...Советско-австрийские переговоры и достигнутые в ходе этих переговоров результаты имеют действительно огромное международное значение, далеко выходящее за пределы советско-австрийских отношений.

Их значение состоит прежде всего в том, что они показывают, каких успехов можно достигнуть в урегулировании самых сложных международных вопросов путем переговоров, если имеется добрая воля обеих сторон и желание исходить из интересов упрочения мира и ослабления международной напряженности».

У меня нет оснований и сегодня отказываться от этой оценки.

Но на юге Европы оставался еще один серьезный очаг напряженности, вполне способный ухудшить позиции СССР и существенно расширить зону влияния НАТО. Речь идет о враждебных отношениях, сложившихся начиная с 1948 года *между СССР и Югославией* в результате главным образом несправедливого и грубого отношения Сталина к политике югославского руководства и лично Тито. Еще недавно одна из самых близких Советскому Союзу стран, Югославия теперь, по указке из Москвы, была исторгнута из круга социалистических союзников и объявлена чуть ли не фашистским государством. Запад, конечно, тут же поспешил со своими предложениями «помощи» Белграду, причем в сфере не только экономической, но и военной. Однако югославское руководство, надо отдать ему должное, держалось в общем принципиально, не идя ни на военный союз с Западом, ни на изменение общественного строя своей страны. Хотя некоторые элементы сближения Белграда с Западом, естественно, появились. Хру-

щев это видел, понимал, чем это может грозить, и начал действовать, не теряя времени.

Уже в 1953 году, сразу же после смерти Сталина, по нашему предложению был возобновлен обмен послами. В 1954 году советское правительство официально сообщило югославам, что «в целях улучшения отношений и укрепления дружественных связей между народами наших стран приняты меры к тому, чтобы обеспечить должное освещение в печати и по радио вопросов, относящихся к Югославии»[45]. После осторожного предварительного зондажа Хрущев, едва успев распутать австрийский «узел», в конце того же мая 1955 года отправился во главе солидной правительственной делегации в Белград, чтобы наладить отношения с Тито. Вместе с ним едет Микоян, но, конечно, не Молотов — один из самых активных участников травли Югославии и лично Тито в предшествующие годы. Хорошо помню, как на партийном активе МИД (во главе которого пока еще оставался Молотов) зачитывалась по указанию Хрущева подробная запись беседы, которая Молотову ЦК поручил провести с послом Югославии для выяснения возможности улучшения отношений между двумя странами. Трудно представить себе более сухой и формальный тон, чем тот, в котором провел Молотов эту беседу, и она, конечно, ничего не дала. Запись беседы и разослали для ознакомления, скорее всего, чтобы продемонстрировать именно это.

Поездка в Белград была успешной. И СССР, и Югославии улучшение отношений было полезно и даже необходимо. Подписанная во время визита Белградская декларация (а вслед за ней в итоге ответного визита Тито в Москву в 1956 г. и Московская декларация) действительно нормализовала отношения между двумя странами на равноправной и взаимоуважительной основе, заложила основы дружественного (хотя уже не союзного) сотрудничества на многие годы.

Конечно, возрождение добрых отношений с Югославией было делом не простым. Оно потребовало определенного времени, терпения и такта с обеих сторон. И в этом плане, надо сказать, немало сделал Брежнев, причем не только после своего прихода к руководству, но и до этого — по поручению Хрущева (поездка в Югославию и переговоры с Тито в 1962 г.).

А в первое время обеим сторонам приходилось пре-

одолевать немалую инерцию и даже прямое сопротивление «аппаратчиков» в системе партийных и правительственных органов, годами воспитывавшихся в соответственном духе в период советско-югославской вражды. Недаром в 1956 году у нас был популярен такой анекдот: Тито, который ехал в Москву по железной дороге, на одной из станций увидел такой «приветственный» лозунг: «Да здравствуют дорогой товарищ Тито и его клика!»

Так или иначе, с решением австрийского и югославского вопросов две «прокладки», в какой-то мере (наряду с нейтральными Швецией и Финляндией) смягчавшие остроту прямого противостояния с НАТО в Европе и ограничивавшие возможности дальнейшей политической экспансии этого блока, были созданы. Теперь предстояло сосредоточиться на центральной проблеме всей новой европейской ситуации — на *Германии.*

Собственно, борьба за то, чтобы не допустить превращения Западной Германии (и уж тем более всей Германии) в военное ядро НАТО, главную опору Запада в его противостоянии Советскому Союзу и вошедшим в сферу его влияния европейским странам народной демократии, была продолжена Хрущевым сразу же после его прихода к руководству и проводилась *непрерывно,* параллельно с усилиями по решению австрийского и югославского вопросов, но особенно после того, как эти две задачи были решены. Работая в те годы в 3-м Европейском (германо-австрийском) отделе МИД, я воочию убедился и, можно сказать, ощущал каждодневно, сколько напряженного внимания и сил уделяло советское руководство (и, естественно, аппарат МИД) германским делам, сколько разрабатывалось все новых и новых идей, инициатив, предложений во имя достижения упомянутой цели. Теперь, оценивая в общем нашу германскую политику тех лет в ретроспективе, довольно ясно видишь, как сочетались в ней, то идя параллельно, то сменяя друг друга, два разных метода, два разных подхода. С одной стороны, упорное, терпеливое и настойчивое (я бы сказал, в молотовском стиле) проталкивание на разных уровнях и на разных форумах идеи нейтралитета Германии (или двух германских государств) в рамках общей системы европейской коллективной безопасности. С другой стороны (или наряду с этим), ведущие к той же цели, но чисто хрущевские по своей

неожиданности новые инициативы и шаги: нетрадиционные решения, уступки, угрозы, откровенный и порой довольно грубый нажим. Очень интересно было наблюдать за этим разворотом событий и в какой-то мере в нем участвовать.

Но прежде чем перейти к упоминанию некоторых конкретных фактов, хочу со всей определенностью выразить твердое убеждение: какими бы поворотами ни изобиловала наша германская политика после совершившегося раскола Германии (и Европы) на два противостоящих друг другу лагеря, ни в период Хрущева, ни тем более в годы руководства Брежнева она никогда не преследовала агрессивных военных целей. Ее мотивы: страх перед наличием таких целей у Запада (может быть, и необоснованный, но понятный после только что пережитого нападения гитлеровской Германии), стремление максимально обеспечить безопасность СССР, укрепить его связи с приобретенными после войны союзниками и на этой основе добиться смягчения общей международной напряженности, заложить основы для нужного нам мирного сотрудничества со странами Запада.

Еще в январе 1954 года, когда процесс включения ФРГ в западный военный блок только разворачивался, СССР выступил на совещании министров иностранных дел четырех держав в Берлине с предложением заключить общеевропейский договор о коллективной безопасности в Европе, который обеспечил бы нейтралитет обоих германских государств и облегчил бы решение германской проблемы в целом. Запад отверг это, настаивая на сохранении Западной Германии под контролем своего военного блока.

Когда к маю 1955 года формальное включение ФРГ в НАТО стало фактом и в ответ был заключен Варшавский Договор (с участием ГДР), в июле 1955 года в Женеве собралось совещание СССР, США, Англии и Франции на высшем уровне. Советскую делегацию возглавляли Хрущев и Булганин, в нее входили Молотов и маршал Жуков. Со стороны Запада активнее всего действовали Эйзенхауэр, Даллес, Иден. Стали обсуждать, как быть дальше в условиях состоявшегося политического раскола Европы. СССР настойчиво требовал поэтапного создания системы общеевропейской безопасности, в рамках которой происходило бы сближение (а не отдаление) обоих германских государств. Запад и тут ответил

отказом, считая, что *объединенная* Германия войдет в состав НАТО, а Советскому Союзу будут взамен предоставлены «гарантии безопасности». Дискуссия была острой, но безрезультатной, если не считать договоренности о возможных консультациях четырех министров иностранных дел с представителями ФРГ и ГДР.

Потом опять и снова совещались четыре министра — и все столь же бесплодно.

Требовались новые идеи. Над ними упорно работали наши «германисты». Но прежде всего было решено покончить с ненужной нам самоизоляцией от ФРГ как государства. В 1955 году Хрущев и Булганин пригласили Аденауэра посетить в сентябре Москву. После некоторых колебаний он явился в сопровождении группы ведущих министров. Переговоры, хотя и не «теплые», были корректными и закончились договоренностью об установлении дипломатических отношений. Это облегчало дальнейшие маневры в германском вопросе.

В 1956—1957 годах в недрах МИД под руководством занимавшегося германскими делами заместителя министра В. С. Семенова и нашего посла в ГДР Г. М. Пушкина разрабатывалась идея создания *германской конфедерации* в составе ФРГ и ГДР как шага на пути к укреплению европейского мира и воссоединения Германии, свободной от милитаризма и участия в военных блоках. Идея эта была одобрена руководством ГДР, и оно выступило с таким предложением от своего имени в июне 1957 года. На Западе (особенно в США) отнеслись к этой идее с определенным интересом ввиду явного тупика, в который зашел германский вопрос. Но Бонн категорически воспротивился, и Аденауэр навязал союзникам по НАТО свою волю.

К осени 1958 года было решено поднять вопрос о нормализации положения в Западном Берлине, который в условиях западной оккупации превратился в очаг интриг и провокаций, отравляющий атмосферу в Европе и причиняющий громадный материальный ущерб ГДР. Многочисленные демарши и протесты как со стороны СССР, так и тем более ГДР никакого эффекта не имели. О выводе своих оккупационных контингентов из Берлина в рамках общеевропейской системы безопасности Запад и слышать не хотел. Требовался какой-то новый подход. И он появился.

Мне уже приходилось писать, что я был свидетелем

того, как Хрущев впервые изложил свою новую идею относительно Западного Берлина. Громыко в сопровождении двух сотрудников приехал к Хрущеву в ЦК, чтобы зачитать заготовленный в МИД текст очередного демарша США, Англии и Франции по поводу Западного Берлина. Хрущев не стал слушать, предложил «выбросить бумагу в корзину» и тут же стал диктовать стенографистке свою идею относительно превращения Западного Берлина в вольный демилитаризованный город без всяких оккупационных войск и независимый как от ФРГ, так и от ГДР. Явно довольный и самой этой идеей, и тем, что она исходит от него (кто уж ему ее подсказал, не знаю, может быть, Аджубей, но едва ли Никита Сергеевич «родил» ее самостоятельно), Хрущев вдруг хлопнул себя ладонью по колену и весело сказал: «Вот они там на Западе зашевелятся, вот скажут, Хрущев, сукин сын, еще «вольный город» выдумал!»

А идея была действительно логичной и по-своему даже подкупающей. СССР предлагал западным державам и обоим германским государствам обеспечить вольному городу общественный строй, который захочет его население, гарантировать свободные связи со всеми странами и экономическую жизнеспособность. И ГДР давала на это согласие, хотя Западный Берлин был расположен в центре ее территории. От самого Западного Берлина требовалось только одно — не допускать враждебной деятельности с его территории против других государств. Но Бонну, конечно, не хотелось лишаться возможности фактического поглощения Западного Берлина, а США, Англии и Франции — своих оккупационных «прав» в центре ГДР.

Борьба продолжалась с неослабевающей силой. В январе 1959 года СССР выступил с развернутым проектом мирного договора с Германией на новой основе: с участием ФРГ и ГДР или их конфедерации, а также вольного города Западного Берлина. За немцами признавалось право иметь свои необходимые для обороны национальные армии (но без ядерного оружия), признавалось и право немецкого народа на воссоединение страны на пути сближения обоих германских государств. Исключалось их участие в военных блоках.

Для обсуждения этого проекта СССР предложил созвать мирную конференцию с участием обоих германских государств. Советские предложения нашли сильный

отклик среди общественности Запада. А чтобы подкрепить предложенный компромисс дополнительным нажимом, с советской стороны вскоре же было заявлено, что в случае отказа Запада Советский Союз сам заключит мирный договор с ГДР и тем самым положит конец оккупационному режиму в Западном Берлине.

Под этим двойным давлением Москвы западные политики явно заколебались. Даллес, в частности, выступил с рядом заявлений о том, что нельзя больше не считаться с фактом существования двух германских государств. Для «отца» НАТО и одного из главных вдохновителей «холодной войны» это был большой прогресс.

В итоге последовавших дипломатических контактов договорились о важном шаге: в июне — июле, а затем в июле — августе 1959 года в Женеве состоялось совещание по германскому вопросу министров иностранных дел СССР, США, Англии и Франции *с участием министра иностранных дел ГДР* и *министра* (а затем специального представителя) *ФРГ*.

Атмосфера дискуссий была теперь уже иной — более корректной, уважительной и даже в чем-то конструктивной. Чувствовалось, что осознание необходимости так или иначе решить германскую проблему назревает. Но укоренившиеся традиции беспрерывного соперничества и противостояния, давно уже вытеснившие союзнический дух времен войны, давали себя знать не только в крупных политических вопросах, но и в ритуальных дипломатических мелочах, мешая серьезной работе. Помню, например, что на женевском совещании министров не один день был потрачен на споры о том, где и как сидеть в зале заседаний делегациям, представлявшим ГДР и ФРГ. Запад, конечно, и слышать не хотел, чтобы немцы (ГДР прежде всего) сидели «на равных» с остальными за общим круглым столом. Когда было решено, что немцы сядут по бокам за два приставных стола, то началась тяжба по поводу того, на каком расстоянии от главного, круглого, будут эти два стола (вплотную Запад не желал). Сошлись, помнится, на том, что приставные столы будут отстоять от главного на расстоянии, равном... толщине шести положенных рядом карандашей... И этим занимались государственные деятели, которым надлежало решать судьбы европейского мира! Или еще одна анекдотическая ситуация, родившаяся в ходе того же многонедельного совещания. Представи-

тели западных держав, упорно не желавшие в ту пору признавать ГДР как независимое государство, именовали ее «советской оккупационной зоной», а если и употребляли в переговорах для краткости термин ГДР, то обязательно с прибавлением слов «так называемая». Среди западных делегатов ходила шутка, что кто-то из их среды, говоря о присутствовавшем министре иностранных дел ГДР докторе Л. Больце, следуя привычному обороту, назвал его «*так называемый* доктор Больц». Это, конечно, была не просто шутка, а своего рода самоирония по поводу закостенелых позиций Запада.

Кое о чем в Женеве удалось договориться, но не по основным вопросам: соглашаться на неучастие немцев в военных блоках и покончить с оккупацией Западного Берлина натовцы не желали. Главное, пожалуй, состояло в том, что женевское совещание министров как бы проложило путь к совещанию четырех великих держав на высшем уровне по германским делам. Но прежде чем было согласовано проведение этого совещания в Париже 16 мая 1960 г., Н. С. Хрущеву пришлось немало поработать «индивидуально» с лидерами западных держав. С премьером Англии Макмилланом еще весной 1959 года в Москве было согласовано, что необходимы безотлагательные переговоры по германскому мирному договору и Западному Берлину. А вот к Эйзенхауэру в Вашингтон Хрущев направился осенью (совместив это с выступлением в ООН по разоруженческим проблемам). В ходе длительных бесед, проходивших, как свидетельствуют присутствовавшие, в весьма дружественном духе, Эйзенхауэр признал, что положение в Западном Берлине ненормальное, надо искать скорейший выход, тем более что быстрое воссоединение Германии маловероятно.

В марте 1960 года Хрущев ведет переговоры с де Голлем в ходе официального визита во Францию. Французский президент вновь высказывается за нерушимость сложившихся в итоге войны границ Германии и заявляет Хрущеву, что между Францией и СССР нет непреодолимых противоречий по германскому вопросу.

Итак, советская дипломатия и руководство СССР проделали для решения германского вопроса громадную и многоплановую работу. Все было подготовлено неплохо. Совещание «четырех великих» (бытовавший тогда в публицистике термин) могло стать важной вехой в урегулировании всего комплекса проблем, связанных с

Германией, и в оздоровлении отношений между Востоком и Западом в целом, а значит, и укреплении всеобщего мира. Вся наша делегация (а она была большой — с Хрущевым направились Громыко, министр обороны Малиновский, большое число советников, экспертов и пр., среди них и автор этих строк) летела в Париж в приподнятом настроении, в предчувствии важных событий.

И важные события последовали, только совсем другого рода. Уже после того, как все главные участники встречи прибыли в столицу Франции, Хрущев неожиданно сорвал, можно даже сказать — взорвал совещание, использовав для этого состоявшийся еще 1 мая известный разведывательный полет американского самолета У-2, сбитого, к великому конфузу для американцев и лично для Эйзенхауэра, нашей ракетой «земля — воздух». В Париже Хрущев потребовал, чтобы Эйзенхауэр принес ему извинения и признал свою ответственность за полет, а иначе он, Хрущев, с американским президентом встречаться не будет и в совещании участия не примет. Эйзенхауэр извиняться отказался, и все попытки Макмиллана и де Голля, поочередно посещавших поссорившихся лидеров, уговорить их все же собраться и начать работу успеха не имели. Совещание, на которое возлагалось столько надежд, было сорвано.

Вместо этого Хрущев перед отлетом в Москву собрал в парижском Пале-Шайо большую пресс-конференцию и произнес перед несколькими сотнями представителей мировой прессы резкую антиамериканскую речь, а затем в таком же духе отвечал на их вопросы. Когда в конце длинного зала, где проходила пресс-конференция, среди явно враждебно настроенных в отношении советского премьера журналистов (скорее всего, западногерманских) раздался свист, Хрущев вскочил со своего места, побагровел и, стукнув кулаком по столу, закричал: «Я знаю, кто это там свистит! Это те, кого мы в 1943 году не успели закопать под Сталинградом на полтора метра в землю». И вдруг, как при переключении электрической лампочки, разъяренное лицо его осветилось добродушной улыбкой, и, обращаясь к своим соседям по столу — Громыко и Малиновскому, он довольным тоном произнес: «Люблю воевать с врагами рабочего класса!»

Так закончилась, не начавшись, в мае 1960 года парижская встреча «четырех великих» по германскому вопросу. А Хрущев, вернувшись в свою резиденцию в

совпосольстве, был за обедом в хорошем настроении и предложил всем нам, участникам обеда, пройти в садик при посольстве и вместе с ним сфотографироваться. После этого премьер вылетел в Москву, а Громыко был немедленно направлен в Нью-Йорк, чтобы изложить нашу жалобу в ООН на шпионские действия американцев. По пути в самолете наша небольшая группа мидовцев, сопровождавшая министра, сочиняла на скорую руку «обвинительную речь» для Совета Безопасности. У Андрея Андреевича большого энтузиазма в отношении предстоящей миссии мы не заметили.

В целом, если говорить откровенно, сложилось такое впечатление, что вся эта история со срывом парижской встречи была заранее продуманным Хрущевым мероприятием. Только зачем? Понять трудно. Может быть, он рассчитывал дополнительным нажимом добиться от Запада еще каких-то уступок в немецких делах? Во всяком случае, такого не получилось. Скорее наоборот.

Тринадцатью годами позже описываемых событий, в период переговоров американцев с Брежневым по Ближнему Востоку, у меня был в Кремле короткий разговор с Киссинджером, во время которого мы вспомнили майские события 1960 года в Париже. Киссинджер тогда сказал: «А знаете ли вы, что все, чего вы добились своими соглашениями с ФРГ и Западом в 1970—1971 годах (признание ГДР, признание немецких границ, берлинское урегулирование.— *Авт.*), вы могли иметь *десятью годами ранее* — в 1960 году. Я читал директивы, утвержденные для нашей делегации в Париж, и там предусматривалась возможность подобных наших уступок по всем этим вопросам».

Если это правда, значит, мы имеем еще одно разительное доказательство того, какую роковую роль могут играть неконтролируемые эмоции и непродуманные экспромты во внешней политике.

Наши дела с американцами покатились вниз, общая обстановка обострилась. Намечавшийся было на лето 1960 года официальный визит Эйзенхауэра в Советский Союз, естественно, не состоялся.

Пришедший в январе 1961 года в Белый дом президент Джон Кеннеди фактически начал свою деятельность с того, что содействовал организации вооруженного вторжения кубинских контрреволюционеров на остров Свободы (пресловутый «залив Кочинос», апрель 1961 г.).

А когда после провала этой авантюры Кеннеди по существу предпринял попытку наладить отношения с Хрущевым во время встречи с ним в Вене в июне того же 1961 года, из этого тоже ничего не вышло. Кеннеди, с его точки зрения, был уступчив: он признал авантюру против Кубы «ошибкой» и предложил Хрущеву что-то вроде общей договоренности между США и СССР о «мирном сосуществовании» при невмешательстве в политику, проводимую в пределах сферы влияния одного из этих государств. Восприняв это, очевидно, прежде всего как требование к СССР «не вмешиваться» в дела Кубы, Хрущев ответил американскому президенту целой лекцией о национально-освободительном движении, мешать которому никто и нигде не имеет права.

И снова началось обострение. Американцы значительно увеличили численность своих войск и авиации в Западной Германии, была увеличена и численность армии ФРГ, нарастала военная истерия.

СССР и его союзники реагировали резко и немедленно. Молниеносно, за один-два дня (к 13 августа), была воздвигнута солидная бетонная стена, опоясавшая всю границу между Восточным и Западным Берлином. Когда американцы через несколько дней решили вывести к проходам в этой стене свои тяжелые танки, они встретили по другую сторону проходов не менее тяжелые и не менее грозные советские танки. И тут же Советский Союз объявил, что возобновляет давно уже не проводившиеся им испытания ядерного оружия, причем новых, более совершенных типов. Международная атмосфера угрожающе накалилась.

Это был еще один случай, когда обе стороны, не имея в действительности намерений совершать военную агрессию, попытались попугать друг друга и на самом деле напугали.

Разумеется, пресловутая Берлинская стена — это физическое доказательство оборонительных, отнюдь не наступательных, намерений СССР и ГДР. Но все остальное шло уже как цепная реакция, пока не наступил момент отрезвления. Американцы отвели свои танки, Вашингтон дал понять, что готов примириться с существованием второго германского государства и на этой основе говорить с СССР и другими соцстранами (заявление специального уполномоченного президента США генерала Клея, прибывшего в Западный Берлин

в конце сентября). Несмотря на возмущенные протесты Бонна (и прежде всего лично Аденауэра), снова началась довольно продолжительная серия советско-американских переговоров по германским делам. Они проходили начиная с осени 1961 года и на протяжении 1962—1963 годов во время многочисленных встреч в Нью-Йорке, Москве, Вашингтоне с участием министров иностранных дел и послов обеих стран, а также президента Кеннеди. Даже карибский кризис 1962 года не прервал этого процесса. Было достигнуто определенное взаимопонимание по ряду вопросов (границы, суверенитет ГДР и др.). Споткнулись, однако, снова на Западном Берлине, хотя и тут СССР предложил компромисс: сохранить временно часть иностранных войск в этом городе, но под флагом ООН. Положение, таким образом, осталось неопределенным.

Тогда было решено придать импульс германским делам с другой стороны: 12 июня 1964 г. во время визита Вальтера Ульбрихта в СССР между Советским Союзом и ГДР был подписан Договор о дружбе, взаимной помощи и сотрудничестве. Он подтвердил нерушимость границ ГДР и вместе с тем подчеркнул сохраняющуюся актуальность германского мирного урегулирования с участием западных держав. На Западе договор был воспринят в общем спокойно: вся предыдущая работа, проделанная советской дипломатией в связи с германскими делами, подготовила для этого благоприятную почву.

Договор о дружбе, взаимной помощи и сотрудничестве с ГДР был последним актом советского правительства в германских делах, совершенным под руководством Н. С. Хрущева. Дальнейшее легло уже на плечи Л. И. Брежнева. И если говорить совершенно объективно, то справился Брежнев с этой задачей (разумеется, в тесном сотрудничестве с Громыко) совсем не плохо, во многом даже лучше, чем это удалось Хрущеву. Достаточно упомянуть здесь такие несомненные достижения советской внешней политики на германском направлении, как заключение Московского договора между СССР и ФРГ 12 августа 1970 г. (за которым последовали договоры Бонна с Польшей, ГДР и Чехословакией), четырехстороннее Соглашение по проблемам Западного Берлина от 3 сентября 1971 г. и, наконец, Заключительный акт Общеевропейского совещания в Хельсинки от

1 августа 1975 г. Но к вопросам внешнеполитической деятельности Брежнева, связанным с этими и другими проблемами, мы еще вернемся. А сейчас, наверное, пришло время рассказать о том, как я «вдруг» оказался на работе в секретариате Брежнева после 19-летнего пребывания в системе МИД СССР.

II. ПЕРЕХОД НА РАБОТУ К Л. И. БРЕЖНЕВУ

Было это в начале 1961 года. Л. И. Брежнев, выполняя свои «представительские» функции как председатель Президиума Верховного Совета СССР, собирался с визитами в ряд стран Африки: Гану, Гвинею и Марокко. Как всегда в таких случаях, МИД была поручена подготовка проектов необходимых речей. Это и было сделано (готовил, видимо, соответствующий африканский отдел министерства). Дня за два до отлета Брежнев сел за читку проектов. И тут выяснилось, что они ему совсем не понравились: сухие, бюрократические, невыразительные, заявил он Громыко, которого крепко отчитал по телефону. Видимо, аппарат МИД еще не приспособился к вкусам нового «президента», а сам Громыко не придал текстам большого значения. Так или иначе, министру было сказано, чтобы он на следующее утро привез в Кремль человек десять «лучших специалистов» по составлению речей и чтобы они, не покидая Кремля, к вечеру создали новые варианты всех необходимых речей (их было, кажется, 15—20) и явились с ними к Леониду Ильичу для прочтения. Ошеломленный «взбучкой» Громыко явился на следующее утро сам во главе своей команды «речевиков». В их числе оказался и я — сотворил, помнится, три-четыре речи по Гвинее (о которой, конечно, имел весьма туманное представление, но дело было не в этом). Собрались вечером у Брежнева, здесь я его и увидел впервые. Поздоровался со всеми приветливо, начали читать. Вкусы заказчика были учтены: речи были эмоциональные, доходчивые, рассчитанные на теплый прием аудитории. Заказчик был доволен, мы разъехались с облегчением.

А через некоторое время — это был уже конец

апреля — в моей мидовской комнатушке (8 метров на 23-м этаже) раздался звонок обычного городского телефона, правительственной «вертушки» у меня не было. «Это Андрей Михайлович? С вами говорит Брежнев. Мне бы очень хотелось поговорить по одному вопросу. Вы не могли бы ко мне подъехать?» Ошеломленный такой необычной для молотовско-громыкинского стиля вежливостью, я смог только промямлить: «Да, конечно». Последовал вопрос: «А когда вам было бы удобно приехать? 11 часов утра завтра подойдет?»

Словом, на следующий день я был в кабинете Брежнева в назначенное время (без каких-либо ожиданий в приемной). Хозяин поднялся из-за письменного стола, прошел навстречу половину длиннейшего кабинета и усадил меня рядом с собой посередине перпендикулярного стола для совещаний. Молодой еще (ему не было и 55 лет), статный человек с живыми, внимательными глазами и приветливой манерой разговора. Сразу перешел к делу (обращаясь, как почти все начальники того времени, происходившие не из интеллигентских семей, на ты). «Понимаешь, какое дело: жизнь моя сложилась так, что с малых лет работал в деревне, с юношеских лет — на заводе, а потом — партийные комитеты и на всю войну — армия. Никогда я с этой чертовой внешней политикой дела не имел и совсем в ней не разбираюсь. А теперь вот выбрали президентом, и приходится заграничными делами заниматься. Мне нужен человек, который помог бы войти в курс дела, сориентироваться в наиболее важных вопросах. Кое-кто порекомендовал обратиться к вам («вы» и «ты» постоянно перемешивались). Как бы вы посмотрели на то, чтобы перейти работать ко мне?» И тут Брежнев опять повел себя непривычным для меня, мидовского чиновника, образом: начал расспрашивать, сколько я получаю, как жилищные дела и т. д. Высказал сожаление, что не может предложить более высокую ставку, чем я получаю в МИД, но тут же добавил: «Но зато, имей в виду, у нас, в Верховном Совете, очень хороший дачный поселок, да и кремлевская столовая тоже...» О внешней политике как таковой, о моих познаниях в ней или взглядах речи вообще не было. Зато Леонид Ильич довольно подробно и образно рассказывал о своей жизни. А в конце произнес фразу, которая мне надолго запомнилась: «Ты не смотри, Андрей, что я такой мягкий. Если надо, я так дам, что не

знаю, как тот, кому я дал, а сам я после этого три дня больной». Даже при некоторой доле рисовки это все же была довольно меткая автохарактеристика.

К концу беседы решение было принято: я уже 13 лет просидел на разных должностях в центральном аппарате МИД, а за границу Громыко никак не хотел меня отпускать, предпочитая держать под боком. Любая перемена казалась желанной, а тут тем более совсем новые условия работы.

Словом, с 10 мая 1961 г. я начал работать у Брежнева старшим референтом по внешней политике, а с его переходом в ЦК КПСС секретарем перешел туда на должность помощника.

Здесь я позволю себе маленькое отступление от хронологии ради небольшого, но любопытного, на мой взгляд, сравнительного психологического этюда: расскажу, как происходила «вербовка» меня на ту же должность тремя другими, последовательно сменявшими друг друга генсеками. Деталь небольшая, но людей, по-моему, характеризует довольно рельефно.

Юрия Владимировича Андропова к тому времени, когда он сменил Брежнева на посту генсека, я знал уже добрых три десятка лет. Поначалу (в 1953 г.) он даже стажировался под моим надзором в скандинавском отделе МИД, когда его почему-то намечали послом в Данию. Впоследствии, и когда он был секретарем ЦК по соцстранам, и когда стал председателем КГБ, контакты (хотя и не систематические) у нас продолжались: временами звонили друг другу посоветоваться по тому или иному вопросу. Я всегда относился к нему с большим уважением, ценил его мнение, и он отвечал мне добрым отношением. Когда судьба привела его на высший пост в стране, Андропов позвонил и пригласил зайти к нему в кабинет (в ЦК). Поприветствовав и приняв мои поздравления, он сказал: «Андрей Михайлович, а как бы вы посмотрели на то, чтобы продолжить работу в той же должности, но уже со мной? Ведь мы, как я понимаю, всегда были в основном единомышленниками». Я подтвердил, что тоже так понимаю это (если нам и приходилось о чем-то спорить в прошлом, то по чисто рабочим вопросам, никак не по принципиальным позициям). Я принял это предложение с удовлетворением — хотелось поработать с энергичным, думающим человеком. Последние годы больной Брежнев почти отсутствовал как

шеф — доступ к нему был ограничен, обсуждать какие-либо сложные вопросы было почти невозможно, помощники делали, что могли, сами, согласовывая только самое главное. Короче говоря, вопрос о переходе к Андропову решился просто и естественно. И тут же, без потери времени, началось обсуждение актуальных проблем...

Андропову оставалось совсем недолго жить. Сменивший его в феврале 1984 года Черненко сам фактически уже был смертельно болен. Когда в итоге, как я понимаю, сложной политической борьбы внутри Политбюро после кончины Ю. В. Андропова Черненко стал генеральным секретарем ЦК, ему надо было подбирать себе аппарат: «своих», прежних помощников было недостаточно. Меня он тоже пригласил. Встретил в своем кабинете, еле поднявшись с места от слабости, и сквозь тяжелую одышку проговорил тихим голосом: «Слушай, Андрей Михайлович, я умоляю тебя, помоги мне, останься на своем месте хотя бы временно...» Ситуация такая, что отказаться было невозможно: во-первых, просто жаль его по-человечески, не хотелось расстраивать, а во-вторых, я хорошо знал, что именно ему-то *помощь* во внешнеполитических делах была действительно необходима, опыта у него никакого не было, если не считать чтения попадавших ранее в его канцелярию бумаг. Помогать, однако, пришлось недолго: через несколько месяцев Черненко совсем больной лег в госпиталь, а в марте 1985 года умер.

На место высшего руководителя пришел молодой, энергичный и полный собственных идей Горбачев. Во внутреннем, «организационном» плане дело началось с того, что были смещены, заменены другими людьми почти все сотрудники секретариата, работавшие при прежних руководителях,— от помощников до стенографисток и секретарей. Я оказался исключением, хотя какого-либо прежнего знакомства или контактов с Михаилом Сергеевичем у меня не было (если не считать присутствия на его беседах с иностранными деятелями, прибывшими на похороны Андропова). Тем не менее предложение продолжить выполнять прежние обязанности последовало. Однако форма этого предложения была совсем иная. Даже приглашения в кабинет не было. Просто Михаил Сергеевич позвонил по внутреннему прямому телефону, соединявшему его с помощниками, и спросил: «Ну как там у тебя дела, силенки еще есть или

уже на исходе?» Отвечаю: «Готов действовать, как скажете. Если нужно, могу еще работать. Если же нет, то с полной готовностью пойду на „заслуженный отдых“». Слышу в ответ: «Ну ладно, тогда давай продолжай действовать». На этом обсуждение темы было закончено, перешли к текущим делам.

Итак, разные люди — разные стили, даже в малом.

Ну а теперь о том, свидетелем (и участником) чего мне довелось быть за 21 год работы у Леонида Ильича Брежнева.

Сначала о первых двух годах, когда мне пришлось близко наблюдать Брежнева,— о его работе под руководством Н. С. Хрущева в Верховном Совете, а затем в ЦК.

БРЕЖНЕВ И ХРУЩЕВ

Интересно и поучительно было сравнивать этих двух людей, каждому из которых судьбой было предопределено сыграть весьма заметную роль в истории нашей страны.

Много было у них *общего*, как бы объединяло их. Это прежде всего *социальная среда*, из которой они вышли на политическую арену: оба родились и выросли в рабочих семьях, с ранних лет познали нелегкий физический труд, знали психологию рабочего да и крестьянина не по книжкам, а из собственного жизненного опыта.

Это — ограниченность их *образования и культурного кругозора*. Образование у обоих было типичным для эпохи ускоренного формирования нового, послереволюционного слоя хозяйственных и политических руководителей различных уровней. В одном случае — рабфак и Промакадемия (очень примитивная, конечно, «академия»), в другом — мелиоративный техникум и вечернее отделение металлургического института. Вся «теоретическая» подготовка ограничивалась изучением и сдачей экзаменов по обязательным курсам марксистско-ленинских азов политэкономии, диамата, истмата. И, конечно, истории партии. Большого пристрастия к чтению литературы как политической, так и художественной не было, по-моему, ни у того, ни у другого. Во всяком случае, у

Брежнева точно: читал для удовольствия, по внутренней потребности он крайне редко и мало, ограничиваясь газетами и «популярными» журналами типа «Огонька», «Крокодила», «Знания — силы». Уговорить Леонида Ильича прочитать какую-нибудь интересную, актуальную книгу, что-либо из художественной литературы было делом почти невозможным. И за 21 год совместной работы с ним мне не приходилось видеть ни разу, чтобы он по собственной инициативе взял том сочинений Ленина, не говоря уж о Марксе или Энгельсе, и прочитал какую-либо из их работ. Может быть, у Никиты Сергеевича на этот счет дело обстояло лучше — не знаю, но думаю, что разница была невелика.

В общем-то, это объяснимо: так сложилась жизнь многих пришедших «с низов» руководящих работников партийного, советского и хозяйственного аппарата той эпохи. Потребности практической жизни, напряженная и ответственная работа захлестнули их с ранних лет — и тут уж было не до теории. Но зато я видел другое: тот же Брежнев умел использовать *людей*, «как книги». Очень контактный по своей натуре, он и на высших постах очень много общался с людьми — и с коллегами по руководству, и с работниками промышленности, сельского хозяйства, и с представителями мира науки и, в какой-то мере, искусства и литературы. И в этом общении всегда был очень внимателен и как бы впитывал то, что слышал, фиксировал своей прекрасной памятью, чтобы затем, когда надо, «вынуть с полки» ту или иную услышанную и понравившуюся идею, мысль, даже фразу и пустить в практический оборот.

Жизненный путь и Хрущева, и Брежнева сформировался *в рамках партийного аппарата*, и это тоже породило в них немало общих черт: привычку к беспрекословной партийной дисциплине (пока ты сам не высший начальник), умение хорошо ориентироваться в «аппаратных играх».

И наконец, по моему глубокому убеждению, для обоих было характерно искреннее (а не показное) стремление *обеспечить прочный мир стране и улучшить условия жизни народа*. Только каждый из них делал это по-своему, как умел.

При столь значительной общности важных рабочих и чисто человеческих характеристик не приходится удивляться, что Брежнев вышел на политическую арену и

стал совершать свое восхождение по иерархической лестнице партийного и государственного аппарата именно как *протеже Хрущева*. Так было на Украине (Днепропетровск, Запорожье), затем, по-видимому, в Москве (1952 г.), потом в Казахстане, в период освоения целины, и снова в ЦК (1957 г.). Даже находясь с 1960 года на престижном посту председателя Президиума Верховного Совета СССР, Брежнев, кроме того, под внимательным и участливым наблюдением Хрущева курировал активно развивавшиеся в то время ракетно-космические дела. Так что в нашей «президентской» приемной в Кремле можно было систематически видеть не только депутатов, но и крупнейших конструкторов — Королева, Челомея, Янгеля, заведующего отделом оборонной промышленности ЦК Сербина и многих других деятелей этой сферы.

О Никите Сергеевиче Брежнев всегда (по крайней мере до «переворота» в октябре 1964 г.) говорил тепло и с уважением, хотя и побаивался его буйного темперамента. А Хрущева в Брежневе привлекали, как можно было понять, покладистость, жизнерадостность и энергия, умение общаться с людьми, определенная (в дозволенных рамках!) мера инициативы, а главное — *лояльность* (прошедшая высшую проверку во время жестокой схватки Хрущева с группировкой Маленкова, Молотова, Кагановича и др. в 1957 г.).

Суммируя вышесказанное, видишь, что было немало причин тому, что летом 1963 года Хрущев принял решение переместить Брежнева (после ухода в отставку заболевшего Ф. Р. Козлова) фактически на второй по значению политический пост в стране в те времена — на пост второго секретаря ЦК КПСС. На свою голову, как оказалось...

Я говорил о целом ряде черт, как бы объединявших этих двух людей, помогавших им находить общий язык. Но немало было и черт, *резко различавших* их.

Хрущев — властный, вспыльчивый, необузданный, грубый, в том числе и в отношении своих ближайших коллег, самоуверенный и падкий на лесть. Одновременно — порывистый, нетерпеливый, увлекающийся, одержимый «духом новаторства», но без серьезной концепции, научной базы, нередко мечущийся — и во внутренней, и во внешней политике. Последние годы у власти — открытое игнорирование коллег по руководству, упоение

собственной персоной, сотворение собственного «культа», причем в немалых масштабах и, надо сказать, не менее примитивного, чем это было у Брежнева в конце его правления. При всем этом за одно по крайней мере Хрущеву надо низко поклониться — со сталинским террором он покончил решительно и навсегда, а своих противников и конкурентов физически не уничтожал. Эта эра политического варварства у нас, слава богу, при Хрущеве закончилась и больше не возвращалась.

Брежнев — тоже честолюбивый деятель, но гораздо более осторожный, менее самоуверенный и амбициозный, более склонный прислушиваться к мнениям других. Не стеснялся спрашивать совета и прилюдно. Бывало даже так: идут переговоры с иностранной делегацией, причем в ее составе есть люди, понимающие по-русски, а Брежнев, высказав какое-либо соображение, поворачивается ко мне, сидящему рядом, и громко спрашивает: «Я правильно сказал?» Впрочем, может быть, это был и своего рода театральный жест, рассчитанный на «умиление» собеседников... Подобно Хрущеву, он тоже был хитрым, но, пожалуй, более последовательным в своих замыслах, неторопливым, гораздо более сдержанным и менее склонным выдавать всем «на-гора» свои настроения и намерения. И, конечно, это был человек куда более терпеливый и терпимый, даже доброжелательный к людям (до определенных пределов). Но и эта веселая доброжелательность была не без расчета. Мне хорошо запомнилось, как однажды, расслабившись в вагоне во время одной из командировок, Леонид Ильич бросил такую фразу: «Знаешь, Андрей, обаяние — это очень важный фактор в политике».

И сотрудничество, и финальное столкновение двух таких деятелей, как Хрущев и Брежнев, были, можно сказать, предопределены их характерами.

Находясь рядом с Брежневым в годы, когда у руководства стоял Хрущев, можно было наблюдать немало любопытных фактов и обстоятельств.

К Хрущеву как к человеку Брежнев в общем относился хорошо, помнил и ценил все, что тот для него сделал. Причем не только когда Хрущев был у власти, но и потом. Брежнев, создавая свой собственный «имидж», публично помалкивал о Хрущеве и его заслугах, но в частных разговорах нередко их признавал. Главное же было в том, что Брежнев с самого начала искренне

одобрял и поддерживал существенные элементы хрущевской политики: покончить с режимом сталинских репрессий, взять твердый курс на мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество с Западом, не ослабляя при этом оборону страны, поднять сельское хозяйство за счет освоения целины. Все это Брежнев разделял. Поэтому, несколько лет энергично поддерживая и восхваляя Хрущева, он в общем не лицемерил и не держал камня за пазухой.

Посвящая много времени работе с конструкторами-ракетчиками, руководителями освоения космоса, Брежнев проявлял достаточно такта, чтобы в самые торжественные моменты (запуск спутников, полеты космонавтов и т. п.) не вылезать на первый план, уступая всегда главную роль Хрущеву, который любил предстать перед народом «отцом советской космонавтики» и «творцом ракетной обороны страны».

Наряду с этим Брежнев с большим удовольствием выполнял и такие поручения Хрущева, как «президентские» поездки «доброй воли» в различные страны. Их было немало: в 1960 году — Гвинея, Гана, Марокко, в 1961-м — Чехословакия, Судан, Индия, в 1962-м — Болгария, Финляндия, а также специальная миссия по закреплению добрых отношений с Тито, в 1963 году — Афганистан, Иран...

Эти поездки, не связанные, как правило, с обсуждением и решением каких-либо сложных и острых проблем (их Хрущев брал на себя), вводили все же неопытного во внешнеполитических делах Брежнева в курс международной жизни, приучали к общению с иностранными государственными деятелями, давали возможность, как говорится, «людей посмотреть и себя показать». Последнее, как правило, удавалось Брежневу неплохо: на собеседников он производил хорошее впечатление и доброжелательностью, тактичностью, и подчеркнутым миролюбием.

Конечно, было бы упрощением думать, что все эти контакты Брежнева в хрущевский период его деятельности были чисто внешней, протокольной показухой. Обсуждались и деловые вопросы развития отношений с той или иной страной. И к этим беседам Брежнев тщательно готовился. В поездках его обычно сопровождали или Громыко, или кто-либо из заместителей министра, а также мидовские эксперты. Да и помощники активно

участвовали в подготовке материалов к беседам и текстов речей.

Что касается уже упоминавшегося пристрастия Леонида Ильича к «красивым» публичным выступлениям, эмоционально воздействующим на аудиторию, то в этом было что-то актерское. (Впрочем, почти все политики, наверное, в какой-то степени актеры.) Иногда приходилось прямо-таки сдерживать его в этом отношении, напоминать о том, что эмоциональная реакция на выступление — это преходящее, сиюминутное, а главное — это точно выраженная политическая суть речи, которая будет иметь долговременное значение.

Кстати, театральная манера публичных выступлений Брежнева (с годами она стала убывать, сглаживаться) и стиль его поведения во время заграничных поездок не очень-то нравились Хрущеву. Сам актер (хотя и другого жанра), он, вероятно, воспринимал поведение своего «президента» как намек на конкуренцию, стремление слишком «выдвинуться». И, бывало, бросал иронические реплики на эту тему. Они, конечно, доходили до Брежнева и не просто расстраивали его, но повергали в немалый страх. Брежнев, как и другие члены Президиума ЦК, боялся Хрущева. Боялись не репрессий сталинского типа, конечно, но неожиданных всплесков его необузданного темперамента, внезапной немилости — со всякими возможными последствиями. И жили все время с этим страхом.

Хорошо запомнился мне страшный «разнос», который Брежнев устроил одному из моих коллег-помощников из-за того, что якобы по его «недосмотру» в кинохронику о визите Брежнева в Финляндию попал кадр, показывающий весьма теплое прощание отъезжавшего на поезде Брежнева с провожавшим его президентом Кекконеном. Этот кадр вызвал неудовольствие Хрущева, о чем, конечно, тут же был оповещен Леонид Ильич. (Кстати, мне припоминается, что несколькими годами позже сам Брежнев почти так же реагировал на «чрезмерно раздутый» показ по телевидению кадров о пребывании во Вьетнаме делегации во главе с Мазуровым.)

Но все это более или менее политическая лирика. В основном Никита Сергеевич продолжал доверять Брежневу, хотя и не безоговорочно. Летом 1963 года, когда неизлечимо заболел и «выпал из обоймы» второй человек в партийной иерархии — член Президиума и секретарь

ЦК Фрол Козлов, на его место был перемещен Леонид Ильич Брежнев (которого в Президиуме Верховного Совета ненадолго сменил старый большевик еще из сталинского окружения Анастас Микоян).

Казалось бы, по всем законам тогдашнего внутреннего механизма власти в Москве для Брежнева это было очень серьезное продвижение. Ведь «второй секретарь» ЦК (официально он так не назывался) вел все текущие дела партии, проводил заседания Секретариата ЦК, а в отсутствие первого — и заседания Президиума ЦК, готовил предложения по кадровым вопросам и многое другое. Словом, как выражались на Западе, это был «кронпринц» первого.

Но на сей раз оказалось не совсем так. Одновременно с Брежневым секретарем ЦК, примерно с теми же функциями, был избран Николай Викторович Подгорный, до этого занимавший пост первого секретаря ЦК Компартии Украины,— малокультурный, но очень напористый и честолюбивый человек. Получился как бы дуумвират на Старой площади, контролировать который Хрущеву из своего кабинета в Кремле (или там же) было, очевидно, легче. Именно в этот период Леонид Ильич как-то рассказал мне с очень обиженным видом, что Хрущев — как уже успели донести досужие друзья — спрашивал других секретарей ЦК: «Неужели вы их (Брежнева и Подгорного.— *Авт.*) признаете настоящими руководителями?» Вот поди ж ты разберись в этих закоулках «коридоров власти»!

В течение второй половины правления Хрущева в стране, партии и внутри партийного руководства происходили процессы, которые все больше ослабляли позиции первого секретаря ЦК и главы советского правительства, все больше подрывали доверие и лояльность к нему со стороны различных слоев общества, государственного и партийного аппарата и даже его ближайшего окружения, таких его близких соратников, каким был и Л. И. Брежнев.

Дело было и в *политике*, которую стал проводить Хрущев, и в *стиле руководства*, который он все больше усваивал, проводя эту политику.

Так, энергично воевавший против «культа личности» после смерти Сталина, Хрущев довольно скоро начал постепенно создавать свой «культ личности» — не кровавый, не репрессивный, как у Сталина, но достаточно

авторитарный и непререкаемый. Натура активная и деятельная, да еще окруженная целым хором умиляющихся подхалимов, он окончательно уверовал в безупречность своих «новаторских» идей и, не считаясь ни с чьим критическим мнением, принялся проводить их в жизнь буквально на всех направлениях, причем с лихорадочной поспешностью.

Во имя укрепления социалистических основ сельского хозяйства были ликвидированы личные участки и личный скот колхозников (а заодно и большинство очень полезных людям подсобных хозяйств промышленных предприятий, санаториев и домов отдыха). «Спасение» нашей агрокультуры увидели (глядя на Америку) в обязательном широкомасштабном внедрении кукурузы — вплоть до северных, почти приполярных областей. Потом вдруг в самой богатой землей стране решили спасаться с помощью... гидропоники.

С трудностями в управлении промышленностью было решено покончить одним ударом — путем ликвидации отраслевых хозяйственных министерств и замены их совнархозами (с переводом туда бывших министров). Происходила бесконечная перетряска управленческого аппарата, чуть не еженедельно ликвидировались одни ведомства и создавались другие.

Мало того, Хрущев решил перетрясти и саму партию, упразднить райкомы и разделить партийные органы на не зависящие друг от друга промышленные и сельскохозяйственные, то есть по существу создать *две* партии. Хорошо помню, как Брежнев «втихомолку» возмущался этой реформой, особенно ликвидацией райкомов, издавна считавшихся в аппарате становым хребтом партии, ее главным инструментом для работы в массах по реализации партийных решений. И как бы апофеозом этого «новаторства», бездумно и с невероятной поспешностью даже не вводимых, а вталкиваемых Хрущевым в жизнь партии и страны перемен явилось принятие XXII съездом КПСС в ноябре 1961 года новой программы партии.

В части решительного разоблачения сталинизма, провозглашения принципов радикальной демократизации общественной, государственной и партийной жизни, внешней политики, направленной на упрочение дружбы с социалистическими государствами и странами «третьего мира», на развитие и углубление мирного сосуществова-

ния и мирного соревнования и сотрудничества с капиталистическими государствами, на обуздание гонки вооружений и избавление человечества от угрозы ядерной войны,— в этой части новая программа, кажется, не вызывала существенных возражений. А вот что касалось перспектив внутреннего развития нашей страны, то есть именно *программной* части, то здесь дело обстояло совсем иначе.

Повторяя в общем традиционные марксистско-ленинские положения об основных характеристиках коммунистического общества как главной цели партии, текст программы, посвященный конкретным путям и срокам достижения этой цели, носил поистине до трогательности «хрущевский» характер: суетливый, непродуманный и абсолютно утопический. В него были включены совершенно произвольные, без всякой серьезной экономической основы цифровые показатели развития народного хозяйства страны на ближайшие десятилетия и пресловутый вывод о том, что к началу 80-х годов Советскому Союзу предстоит «оставить далеко позади нынешний общий объем промышленного производства США»[1]. К тому же сроку, обещала программа, в стране «будет достигнуто изобилие материальных и культурных благ для всего населения, будут созданы материальные предпосылки для перехода в последующий период к коммунистическому принципу распределения по потребностям»[2]. И все это завершалось столь же легковесным, сколь и трескучим лозунгом: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!»[3].

Пожалуй, ни один исходивший от Хрущева документ более, чем этот текст программы, сотворенный в уединенной тиши Беловежской пущи (!) узкой группой собранных им людей (Л. Ф. Ильичев, А. И. Аджубей, главный редактор «Правды» П. А. Сатюков, академик П. Н. Федосеев и др.), буквально обрушенный на головы остальных членов партийного руководства и правительства, а затем уже широкой общественности без какой-либо серьезной научной проработки, не создал такого глубокого внутреннего отчуждения между Хрущевым и остальными членами советского руководства. За проект голосовали все (партийная дисциплина!), но по репликам того же Брежнева «в узком кругу» действительное отношение к этому документу было достаточно ясным.

Внутренний разрыв между лидером и его окружением нарастал и из-за ряда предпринятых по инициативе Хрущева импульсивных, недостаточно продуманных и нанесших в конечном итоге ущерб интересам нашего государства шагов на важных участках внешней политики СССР. Достаточно вспомнить неожиданный, вопреки всем договорам и контрактам, отзыв всех наших не только военных, но и экономических советников и специалистов из Китая, работавших на важнейших участках народного хозяйства этой страны. Причина? Идеологический спор и соперничество между Хрущевым и Мао и недоговоренность по некоторым вопросам обороны. (Китайцы хотели получить от нас атомную бомбу, мы — военные базы в Китае для «совместной защиты» от США и т. д.) Нетрудно понять, какой глубокий и многолетний след оставил внезапный и резкий шаг Хрущева на дальнейшем развитии отношений между СССР и Китаем.

И почти в то же самое время Хрущев ухитрился резко и внезапно обострить налаживавшиеся (при его активном участии) отношения с США. Грубая, оскорбительная лично для президента Эйзенхауэра (как раз собиравшегося с официальным визитом в Советский Союз) манера, в которой Хрущев (я об этом уже рассказывал) в мае 1960 года сорвал начавшуюся было в Париже встречу руководителей четырех держав по германскому вопросу, затем бестактная, в менторском тоне беседа с новым президентом США Джоном Кеннеди в Вене летом 1961 года и, наконец, авантюра с тайной переброской на Кубу советских ядерных ракет и последовавший карибский кризис в отношениях с Вашингтоном — все это до крайности осложнило обстановку, отбросило назад начатое самим Хрущевым улучшение отношений с Америкой. (Этим я вовсе не хочу сказать, что действия американцев были безупречными. Были и наглые разведывательные полеты в глубь территории СССР, были и провокации против Кубы, и наращивание войны во Вьетнаме, но с точки зрения общих государственных интересов СССР импульсивные реакции Хрущева были явно недальновидными.)

И наконец, еще один импульсивный, хотя и благонамеренный шаг Хрущева существенно ослабил его позиции в стране: по его инициативе в начале 1960 года было принято решение Верховного Совета СССР сокра-

тить *в одностороннем порядке* (в качестве «доброго примера») *на одну треть* численность Вооруженных Сил СССР, в том числе и военно-морских, где у нас никакого превосходства над Западом не было. 1 миллион 200 тысяч человек оказались неожиданно выдворенными с военной службы, тысячи и тысячи офицеров были уволены, началось уничтожение военных кораблей, в том числе совсем новых, только что построенных. Нетрудно представить себе, какие настроения вызвала такая ситуация среди военных, тем более что никаких аналогичных ответных шагов со стороны Запада не последовало.

На это наложилось и другое: старые, прошедшие Великую Отечественную войну армейские кадры по-прежнему воспринимали с большой обидой то унижение, которому Хрущев подверг память их главнокомандующего Сталина, отрицая за ним какие-либо заслуги в достижении победы, а также обращение, которому подвергся самый выдающийся полководец войны маршал Жуков, внезапно снятый Хрущевым со всех постов и впавший в немилость.

Брежнев, близко связанный с военными и военно-промышленными кругами, знал, конечно, очень хорошо об этих настроениях.

Ко всему перечисленному следует добавить, что Хрущев, начавший свою деятельность на высшем посту не только с освобождения узников сталинско-бериевских лагерей, но и с освобождения духовной жизни страны, ее культуры и искусства от оков сталинско-бериевской «цензуры» (период, с легкой руки Ильи Эренбурга получивший название «оттепель»), вскоре сам стал претендовать на роль главного судьи и арбитра в вопросах о том, что «допустимо» и что «недопустимо» в социалистическом искусстве, ввел в практику и систематические поучения и «разносы» наших виднейших писателей, мастеров живописи и скульптуры. Это были отнюдь не творческие дискуссии, а бесконечные, чаще всего разгромные, грубые монологи, к тому же ярко демонстрировавшие низкий уровень культуры самого их автора.

Брежнев, даже если присутствовал на такого рода «представлениях», никогда в них не вмешивался как в силу природного такта (и, конечно, нежелания «перебегать дорогу» шефу), так и потому, что не считал себя знатоком культуры и искусства (и не был им ни в какой степени).

Таким образом, в последние годы пребывания во главе партии и правительства Н. С. Хрущев восстановил против себя значительную часть крестьянства, интеллигенции, государственного аппарата, партийной номенклатуры и, что не менее важно, Вооруженных Сил. И в довершение всего он оказался в состоянии перманентного, хотя и скрытого, конфликта с подавляющим большинством своих коллег по руководству — членов Президиума ЦК, секретарей ЦК, членов правительства, которые видели ошибки и промахи Хрущева, пытались иногда как-то их исправить, повлиять на него, но абсолютно безуспешно. Хрущев был убежден в правильности своей политики, критику воспринимать был неспособен, а несогласным «затыкал рот»: третировал их и издевался над ними.

Вот это последнее обстоятельство и послужило детонатором того взрыва, который мгновенно и, казалось бы, неожиданно сбросил опытного, хитрого и энергичного руководителя, популярного во внешнем мире государственного деятеля с занимаемого им поста.

Многочисленные грубые промахи и наивность действий Хрущева на ряде важнейших участков внутренней и внешней политики обрекали его на провал. Он и сам это чувствовал в последний период своего руководства. От товарищей, близко стоявших к Хрущеву в это время, я слышал, что он говорил иногда: «Пора мне уходить в отставку, не справляюсь я...» Однако непосредственной причиной падения Хрущева явилось неумение да и нежелание наладить дружную работу возглавленного им руководящего коллектива — своего рода претензия на единовластие (не подкрепленное страхом по методу Сталина — это было Хрущеву чуждо). Терпение должно было лопнуть, но лопнуло оно прежде всего не у масс трудящихся, не у мощного аппарата управления или могучих Вооруженных Сил, а у группы ближайших коллег Никиты Сергеевича, объединившихся, несмотря на многочисленные политические различия между ними, сплоченных общей обидой на «волюнтаризм», самоуправство и грубость «хозяина».

Поэтому смещение Хрущева, неизбежное исторически, произошло в спокойной и вполне легальной форме, внутри Президиума ЦК, а затем на пленуме Центрального Комитета партии. Старый закаленный боец, уставший от трудных битв последних лет, видя, что его никто не защищает, кроме, может быть, старого друга и сорат-

ника Микояна, не принял боя, а покорно подписал продиктованное ему прошение об отставке. Он, безусловно, чувствовал, что потерял поддержку не только в ЦК, но и в партии, в стране.

Чтобы читатель яснее мог представить себе и атмосферу, сложившуюся в Президиуме ЦК в момент смещения Хрущева, и конкретные обвинения, которые были предъявлены ему его коллегами, я решил привести здесь (полностью и, как говорится, с сохранением орфографии и пунктуации) текст одного документа, который до сих пор нигде никогда не фигурировал, а находился у меня в течение 28 лет. Речь идет о написанном самим Брежневым красным фломастером содержании (а частично, видимо, конспекте) его выступления на Президиуме ЦК 13 октября 1964 г., когда обсуждался вопрос о Хрущеве. Вскоре после того как бурные события миновали, Леонид Ильич передал мне эти свои заметки и сказал: «Пусть будут у тебя, никуда не сдавай и никому не отдавай». Я честно выполнил эту просьбу. Но теперь, когда со времени событий прошло почти три десятилетия, да и автора заметок нет в живых уже 10 лет, думаю, есть все основания, в интересах уточнения некоторых моментов того исторического периода, обнародовать и этот небольшой документ. Вот его текст:

1

«Я полностью согласен со всеми критическими выступлениями товарищей в адрес тов. Хрущева и разделяю точку зрения что многие крупные ошибки и промахи в нашей работе происходят по вине тов. Хрущева.

Вы Никита Сергеевич знаете мое отношение к Вам на протяжении 25 лет

Вы знаете мое отношение, в трудную для Вас минуту — я тогда честно смело и уверенно боролся за Вас — за Ленинскую линию. Я тогда заболел у меня (был) инфаркт миокарда — но и будучи тяжело больным я нашел силы для борьбы.

Сегодня я не могу вступать в сделку со своей совестью и хочу по партийному высказать свои замечания.

Почему мы сегодня вынуждены говорить о крупных ошибках и промахах в работе — почему мы все отмечаем тяжелую обстановку в работе През. ЦК.

Над этим вопросом я думал много и серьезно и твердо убежден, что если бы Вы Н. С. не страдали бы такими пороками как властолюбие, самообольщение своей личностью, верой в свою непогрешимость, если бы вы обладали хотя бы небольшой скромностью — вы бы тогда не допустили создания культа своей личности — а вы наоборот все делали для того чтобы укрепить этот культ.

Вы не только не принимали мер к тому, чтобы остановиться на каком-то рубеже — но наоборот поставили радио, кино, телевидение на службу своей личности. (Здесь на поле приписана неоконченная фраза: *Вспомните какой шум вы подняли по поводу того, что в печати появилась заметка о приеме...* Точного обозначения места этой фразы в основном тексте нет.)

Вам это понравилось. Вы по своему увидели в этом свою силу и решили, что теперь вы можете управлять самостоят. единолично.

Вам понравилось давать указания всем и по всем вопросам а известно что ни один человек не может справиться с такой задачей — в этом лежит основа всех ошибок.

К сожалению мы члены Президиума ЦК Секр. ЦК видели это говорили,— пытались поправлять но это встречалось с вашей стороны как сопротивление якобы новой линии? И мы не смогли во время остан. и пленум ЦК — которому мы должны доложить о нашем разговоре вправе критиковать нас за это.

(Следующий абзац не дописан и перечеркнут, но я его привожу:

Я согласен с тов-ми в том, что мы слишком громко кричим о наших успехах и достижениях не анализируя подчас действительного.)

Мне кажется нам надо серьезно поправить наши радио, печать телевидение — в частности я согласен с критикой т. Аджубея считал бы правильным освободить

Я хочу остановиться на некоторых вопросах, показывающих какое значение и влияние имеет культ личности —

вспомним тов. так называемое рязанское дело —
Вы инициатор этого дела —
Вы ездили туда сделано кино —

*Вы подняли на щит двух секр. Иларионова и Хворостухина**

Пытались ли влиять

да

А. И. Микоян на заседании спросил что это такое — какой был ответ

А какой итог всего этого дела

Освободили Аристова и Кальченко

пошло исключение кадров из партии

Промышленность

Мы обюрократили руководство

* * *

Нам предстоит серьезно заняться экономической структурой — нашей промышленности.

Нельзя формировать структуру промышленности за обедом

Как вы отзываетесь о тов-щах о Секретариате

Вы ведь не знаете работу секр-та он ведет большую работу

А вы говорите что мы как кобели сцим на тумбу

Несколько слов об отношении к нам — чл. през.

Вот хотя бы один пример

день полета Титова

Еще один мой звонок в 10^{30}

А кто из нас ходит без ярлыков

О кадрах

Кунаев

Серов *Сахаров*

Снять секр. Тулы

Снять Мазурова

*Освободить Мжаванадзе***

* Имеется в виду так называемое «рязанское дело» — шумиха, поднятая при активном участии Н. С. Хрущева вокруг дутых, фальсифицированных «успехов» Рязанской области в якобы исключительно эффективном и быстром развитии животноводства. После вскрытия обмана первый секретарь Рязанского обкома Ларионов покончил с собой *(прим. автора)*.

** Не берусь толковать с уверенностью смысл этих заметок «О кадрах», но, по-видимому, речь идет о лицах, снятия которых (или каких-то иных мер) требовал Хрущев, а другие были против. Во всяком случае, Мазуров, Мжаванадзе, секретарь Тульского обкома Юнак работали долгие годы при Брежневе (Мазуров был даже введен в Президиум ЦК в 1965 г.), Кунаева Хрущев удалил с поста первого секретаря ЦК в Казахстане, а Брежнев возвратил *(прим. автора)*.

9 Зак. № 17

Каковы выводы надо сделать из обсуждения — из того тяжелого положения которое сложилось в руководстве Президиума.

Пленуму надо сегодня доложить».

Вот такие заметки по поводу процесса отстранения Н. С. Хрущева от власти. При всей их фрагментарности (а я не знаю, существует ли стенограмма заседания Президиума ЦК в ночь с 13 на 14 октября 1964 г., но сомневаюсь, что она есть) они, мне думается, представляют немалый исторический интерес. Прежде всего в них недвусмысленно подтверждается изложенный мною выше вывод о том, что детонатором взрыва, сбросившего Хрущева, явилось его неумение наладить дружную или хотя бы корректную совместную работу со своими коллегами по руководству партией и правительством. Были, конечно, и разногласия по существу многих важных вопросов, в том числе о методах руководства народным хозяйством страны (о чем я тоже говорил выше), но характерно, что этих проблем Брежнев касается лишь вскользь в своей мотивировке снятия Хрущева.

И наконец, самое любопытное для меня состоит в том, что *вопросы внешней политики* вообще не фигурируют в тексте, даже не упоминаются. Видимо, по этим вопросам каких-то постоянных, глубоких противоречий между Хрущевым и его коллегами не было. Уже после его ухода из руководства обнаружилась определенная группа в партийном и государственном аппарате, в том числе такие видные в то время деятели, как А. Н. Шелепин, С. П. Трапезников и др., которая предпринимала попытки активных действий. Они ополчились на «хрущевщину» во внешней политике, упрекая Хрущева в отходе от классовых принципов в этой сфере, предавая анафеме концепцию мирного сосуществования и ряд конкретных акций, которые осуществлялись в этом направлении. И, конечно, обвиняли Хрущева в разрушении дружбы с Китаем. Что же касается Брежнева и оставшегося с ним большинства состава Президиума ЦК, то ведь в области внешней политики они по суще-

ству стали продолжать принципиальную линию, намеченную Хрущевым, только без его импульсивных «взбрыков».

Не случайно ведь в первом большом публичном выступлении Л. И. Брежнева после его прихода к руководству (доклад 6 ноября 1964 г.) мы, при подчеркнуто «революционной» тональности внешнеполитического раздела текста, находим в нем следующие принципиальные положения:

«Советский Союз проводил и проводит ленинскую политику мирного сосуществования государств с различным социальным строем. Она направлена на то, чтобы предотвратить мировую термоядерную войну, разрешать споры между государствами путем переговоров, уважать право каждого народа самому выбирать угодный ему общественный и государственный строй, самому решать вопросы внутреннего развития своей страны.

Мы решительно боремся за всеобщее и полное разоружение. Мы выступаем также и за меры, которые поначалу хотя бы ограничивали гонку вооружений...

Наша политика — это политика добрых отношений и взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами, и у нас год от года улучшаются отношения с теми странами, которые проявляют заинтересованность в этом. Мы придаем большое значение развитию деловых связей, развитию отношений с основными капиталистическими державами»[4].

Таков был первый внешнеполитический «манифест» Брежнева при его вступлении на высший руководящий пост тогдашнего Советского Союза. И надо сказать, что в общем на протяжении всех последующих лет пребывания на этом посту он данных им обещаний придерживался. (Чехословакия и Афганистан — особые случаи, и о них речь отдельно.)

Л. И. БРЕЖНЕВ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ СТРАНЫ

Оказавшись на высшем руководящем посту, Л. И. Брежнев прежде всего — и это понятно — обратился за поддержкой и пониманием к руководителям ближайших союзников СССР — стран — участниц Варшавского Договора. Как только закончился пленум ЦК, Леонид Ильич зашел в свой (прежний еще) кабинет на Старой площади и начал связываться по телефону со всеми подряд руководителями союзных стран, чтобы

проинформировать их лично (где была такая необходимость — через переводчика) о только что происшедших в московском руководстве переменах. Его информация была немногословной, спокойной и дружественной по тональности. Сообщил кратко о сути обсуждения вопроса на заседании Президиума ЦК, о заявлении Н. С. Хрущева, а затем о принятом пленумом решении — освободить Н. С. Хрущева, избрать Л. И. Брежнева первым секретарем ЦК КПСС и рекомендовать назначить А. Н. Косыгина председателем Совета Министров СССР. Было подчеркнуто также (как в этих беседах Брежнева, так и в телеграфной информации руководству КНДР, Вьетнама и Югославии), что пленум ЦК единодушно высказался за то, чтобы и в дальнейшем неуклонно руководствоваться решениями XX, XXI и XXII съездов КПСС и программой партии, бороться за единство международного комдвижения и сплоченность соцстран, продолжать политику мирного сосуществования, отстаивать мир и безопасность народов. Было также сказано, что ЦК КПСС и советское правительство будут и в дальнейшем делать все, чтобы укреплять дружбу с соответствующей партией и страной. Информация была направлена, конечно, и руководству других государств — в соответствующей модификации.

Как же реагировали лидеры союзных стран на этот первый личный контакт с ними Брежнева в его новом качестве фактического руководителя СССР?

Вместе с приведенным выше текстом (конспектом) его выступления на заседании Президиума ЦК Брежнев передал мне и свои написанные от руки краткие записи о реакции руководителей стран Варшавского Договора на его информацию по ВЧ. Привожу полностью текст этих его заметок:

«Вл. Гомулка

Большое спасибо за информацию. Поздравляю вас и тов. Косыгина. Желаю вам успехов. Я считаю это решение пленума правильным.

Я поблагодарил, спросил, когда будет посол».

*«Хонеккер**

---

* В. Ульбрихт был в это время в отпуске в Тюрингии, его замещал в Берлине Э. Хонеккер как второй секретарь ЦК (*прим. автора*).

Я поздравляю вас с большим доверием, оказанным вам. Желаю вам самых больших успехов, благодарю за эту информацию. Мы надеемся, что мы и впредь будем крепить дружбу между нашими партиями — это очень важно. Мы надеемся, что Вы встретитесь с тов. Ульбрихтом по всем делам.

Передадим».

«Кадар

Тов. Кадар благодарит тов. Брежнева за информацию, просит передать привет Косыгину. Не дожидаясь приезда в Будапешт, он просит передать эту информацию». (Имелось в виду передать информацию в Будапешт замещавшему Я. Кадара второму секретарю ЦК ВСРП Биску, так как сам Кадар был в Варшаве и говорил с Брежневым оттуда.)

«Беседа

Г. Деж Бырледяну

Хорошо, хорошо (по ходу чтения). *Передайте През. ЦК мой привет — лучшие пожелания. Спасибо за информацию. Вам желаю только хорошего и тов. Косыгину. Есть вопросы — надо разговаривать».*

«Ан. Новотный

Немножко для меня сразу неожиданно, не думал так. У нас будет шум. Я говорю вам откровенно. Это так неожиданно. Так я думал, что Вы будете руководить по партии, а т. Хрущев предс. Сов. Министров.

Но затем поздравил меня и т. Косыгина. Сказал — ну что же, люди приходят и уходят, а идеи остаются. Прошу передать През. ЦК привет — заверения, что наша партия будет крепить дружбу и бороться за единство, за наше общее дело».

«София

т. Т. Живков

Выслушал, сразу поздравил меня и А. Н. Сказал, что это большое дело, желаю Вам успехов. Благодарил за информацию».

Как видно, известие о смещении Хрущева было воспринято руководителями стран Варшавского Договора довольно спокойно, даже с определенным пониманием — если не считать явного смущения и растерянности А. Новотного. Но как раз из записи о беседе с ним видно,

что изменений в кремлевском руководстве ожидал и он (и, видимо, другие). В общем обстановка была довольно благоприятной для дальнейших шагов по укреплению сплоченности того, что тогда называлось социалистическим лагерем.

И это было именно то направление, которое стало главным во внешнеполитической активности Брежнева и, разумеется, Косыгина в первый период их пребывания во главе партии и правительства. Активность Микояна была значительно меньше — сказывалась, очевидно, его лояльность по отношению к Хрущеву в период октябрьского кризиса. Уже в следующем, 1965 году Микоян, как известно, ушел на пенсию и был заменен на посту председателя Президиума Верховного Совета СССР Н. В. Подгорным.

При этом необходимо подчеркнуть, что при всех оживленных дискуссиях на внешнеполитические темы внутри нового «коллективного руководства» ведущую роль в этой области с самого начала играл именно Брежнев. И ему, как правило, удавалось, несмотря на ряд тактических разногласий с Косыгиным и «неосталинистскую» линию (термин, конечно, условный) группы А. Н. Шелепина, добиваться осуществления того курса во внешней политике, который он считал наиболее правильным. И на формирование которого, добавим, оказывал немалое влияние А. А. Громыко, особенно в том, что касалось отношений с Западом.

Характерно, что самой первой акцией нового советского руководства в сфере внешней политики стала личная встреча Л. И. Брежнева и А. Н. Косыгина (в сопровождении Ю. В. Андропова, тогда секретаря ЦК, ведавшего связями с правящими партиями соцстран) с руководителями Польши — Вл. Гомулкой и Ю. Циранкевичем. Она состоялась буквально через несколько дней после октябрьского пленума ЦК КПСС на советско-польской границе — в Беловежской пуще.

Мне довелось участвовать в этой встрече (кроме самых доверительных бесед четырех руководителей, но и об их содержании мы, конечно, узнавали). Это в общем было подробное разъяснение возникшей в нашем руководстве политической ситуации и договоренность о дальнейшей взаимной поддержке и согласованных действиях, особенно в европейской политике: ведь для Польши, как и для нас, стабильность послевоенных границ

и недопущение возрождения германского реваншизма представлялись главными задачами. Атмосфера бесед была спокойной и доброжелательной. Гомулка проявил понимание причин, приведших к уходу Хрущева.

Честно говоря, от этой поездки в Беловежскую пущу у меня в памяти как-то наиболее ярко отложились «внутренние» споры по китайскому вопросу, происходившие в вагоне по пути из Москвы. Но об этом позже.

Линию на сплочение и активизацию союза стран Варшавского Договора Брежнев продолжал неуклонно проводить все последующие годы. Достаточно взглянуть на краткий перечень некоторых его важнейших акций в этой области за первую пару лет пребывания у власти (называю лишь наиболее крупные мероприятия).

Декабрь 1964 года — переговоры в Москве с А. Новотным и главой чехословацкого правительства Й. Ленартом.

Январь 1965 года (Варшава) — совещание Политического консультативного комитета стран Варшавского Договора (т. е. встреча на высшем уровне). Именно здесь впервые было внесено предложение созвать совещание европейских государств по обеспечению коллективной безопасности в Европе.

Апрель 1965 года — официальный визит в Варшаву, переговоры и подписание нового Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Польшей. В речи Брежнева подчеркнут вопрос о незыблемости границ в Европе, сделан сильный акцент на задаче обеспечения европейской безопасности, перечислен ряд предложений в этой сфере: пакт о ненападении между ОВД и НАТО, германское мирное урегулирование, создание безъядерной зоны в центре Европы и, наконец, созыв общеевропейского совещания по безопасности. Эту последнюю тему Брежнев будет настойчиво продвигать на различных форумах год за годом.

В этой же варшавской речи Брежнева мы находим ряд других принципиально важных заявлений, касающихся отношений с социалистическими странами. Было подчеркнуто провозглашено «безусловное право каждого социалистического государства на самостоятельное и независимое развитие, право каждого народа самостоятельно решать судьбы своей страны»[5].

И там же — решительное, резкое заявление о поддержке воюющего Вьетнама: «Советский Союз готов ока-

зать Демократической Республике Вьетнам любую такую помощь в укреплении средств ее обороны, которая понадобится нашим вьетнамским друзьям для отражения агрессии американских империалистов. Здесь за нами остановки не было и не будет»[6].

Таковы были исходные позиции, с которыми Брежнев и его «команда» вступили во взаимоотношения с соцстранами.

Но продолжим краткий перечень шагов, предпринятых Брежневым в этой области в первые годы.

Апрель 1965 года — переговоры в Москве с делегацией ДРВ во главе с Ле Зуаном. Подтверждена всемерная поддержка Вьетнама.

Апрель 1965 года — переговоры в Москве с делегацией Монголии во главе с Цеденбалом.

Июнь 1965 года — официальный визит Тито в СССР, переговоры, митинг, подписано совместное заявление, продолжающее линию на развитие сотрудничества и дружественных отношений между СССР и СФРЮ.

Сентябрь 1965 года — переговоры в Москве с партийно-правительственной делегацией Румынии во главе с Чаушеску, выступление на митинге.

Сентябрь 1965 года — прием в Москве партийно-государственной делегации Чехословакии, переговоры, речь на митинге.

Сентябрь 1965 года — переговоры в Москве с партийно-правительственной делегацией ГДР во главе с В. Ульбрихтом. Речь на митинге (главное содержание: против ядерного вооружения ФРГ, за нераспространение ядерного оружия, за созыв общеевропейского совещания).

Январь 1966 года — поездка в Улан-Батор, подписание нового Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с МНР, переговоры с Цеденбалом и всем составом монгольского руководства (Политбюро), ряд выступлений. Эта поездка была, конечно, своего рода предупреждением Китаю, отношения с которым были по-прежнему напряженными (разгар «культурной революции» в КНР).

Одновременно Брежнев во время многодневной поездки на поезде из Москвы в Улан-Батор продолжал подготовку к предстоявшему в конце марта — начале апреля XXIII съезду КПСС, изучал подготовленные материалы, избавившись на время от коллег-советчиков, которые толкали его при подготовке к съезду то в

одну, то в другую сторону (об этом речь еще будет). С собой в Монголию Брежнев взял лишь более или менее «нейтрального» Мазурова и Громыко.

Май 1966 года — пребывание и речь на XIII съезде КПЧ (Прага), беседы с Новотным и другими членами чехословацкого руководства.

Июль 1966 года — совещание ПКК государств — участников Варшавского Договора в Бухаресте. По инициативе советской стороны принята Декларация об укреплении мира и безопасности в Европе, выдвинуто развернутое предложение о созыве общеевропейского совещания для обсуждения вопросов безопасности в Европе и налаживания общеевропейского сотрудничества.

Октябрь 1966 года — переговоры в Москве с партийно-правительственной делегацией Польши, возглавляемой В. Гомулкой. Речь на большом митинге. Подписано совместное заявление.

Ноябрь 1966 года — пребывание и речь на IX съезде Болгарской компартии (София).

Ноябрь 1966 года — пребывание и речь на IX съезде ВСРП (Будапешт).

С такой же интенсивностью эти встречи, контакты, поездки в социалистические страны (ЧССР, Венгрию, Польшу, ГДР) продолжались, и в следующем, 1967 году, были подписаны новые договоры о дружбе с Болгарией и Венгрией.

За эти годы в результате такой интенсивной работы Л. И. Брежнев приобрел, это можно сказать определенно, немалый авторитет в кругу руководителей союзных государств, не испортив отношений ни с одним из них. И ему (при самом деятельном участии Громыко) удалось действительно сплотить их на активные совместные действия по крайней мере в одном направлении — за стабилизацию обстановки в Европе, за созыв общеевропейского совещания по безопасности.

Конечно, было бы неправильно понять сказанное выше так, что внешние контакты в этот первый период деятельности нового советского руководства ограничивались лишь социалистическими странами и что действовал в основном один Брежнев. Нет, уже в этот начальный период были установлены личные контакты с руководителями ряда западных стран и особенно стран так называемого «третьего мира». Переговоры и поездки осу-

ществлял также А. Н. Косыгин, в меньшей степени — Н. В. Подгорный. В годы, о которых идет речь, в Москве побывали и провели переговоры с советскими руководителями президент Пакистана, премьер Афганистана (дважды), премьеры Индии (Л. Б. Шастри и Индира Ганди), президент Гвинеи, премьер Турции, президент Египта Насер, правительственная делегация Бирмы, президент Ирака, президент Сомали, король Марокко. В этот же период А. Н. Косыгин совершил поездки во Вьетнам и КНДР (1965 г.), во Францию (1966 г.) и Англию (1967 г.), а также провел в феврале — марте 1966 года в Ташкенте встречу президента Пакистана Айюб Хана с премьером Индии Л. Б. Шастри, которая позволила покончить с индо-пакистанской войной. Подгорный посетил в 1966 году Австрию и в 1967-м — Италию.

В Москве в 1965 году побывал с визитом премьер Дании, а в 1966 году три советских руководителя (Брежнев, Косыгин, Подгорный) провели важные переговоры с президентом де Голлем, а также с премьер-министром Англии Гарольдом Вильсоном.

Таким образом, диапазон был с самого начала достаточно широкий. Но притом что это направление во внешнеполитических шагах «команды» Брежнева определялось в эти годы как главное и основное и сам Брежнев уделял ему в это время максимум внимания, это все же были отношения с социалистическими странами, особенно с союзниками по Варшавскому Договору. До Западной Европы еще дело не дошло (это направление стало одним из главных к концу 60-х годов), с Америкой отношения были напряженные прежде всего из-за Вьетнама, а с Китаем дела шли все хуже и хуже. Так что первое избранное направление было логичным и, можно сказать, неизбежным.

Не ставлю себе задачу как-то систематически прослеживать здесь развитие отношений с соцстранами — это выходило бы за рамки данной книги. Хочу лишь поделиться воспоминаниями об отдельных моментах, касающихся как отношений лично Брежнева с руководителями союзных стран, так и развития связей с некоторыми из них на отдельных, наиболее драматичных этапах.

ПОЛЬША

К развитию хороших отношений с этой страной Брежнев всегда относился очень внимательно и, я бы сказал, с большой заботой. Политические причины ясны: наш самый близкий сосед, крупнейшая, после СССР, страна — участница Варшавского Договора, барьер, отделяющий нас от Германии. К этому добавлялась общая для обоих государств весьма сильная заинтересованность в сохранении стабильности послевоенных границ в Европе. Но кроме политических были и чисто личные, человеческие факторы: в Днепродзержинске, где прошла юность Брежнева, было очень много поляков — инженеров и рабочих на металлургическом заводе, и с ними и их семьями он поддерживал близкие дружеские отношения. В молодости, по его воспоминаниям, он довольно бегло говорил по-польски.

Не случайно первая встреча Брежнева сразу после избрания его первым секретарем Президиума ЦК в октябре 1964 года состоялась, как я упоминал выше, именно с руководителями Польши. И первый новый договор о дружбе, подписанный Брежневым, был тоже с Польшей — в апреле 1965 года в ходе официального визита в Варшаву.

Личные отношения Брежнева с польскими руководителями также складывались в общем неплохо.

Владислава Гомулку Леонид Ильич весьма ценил и уважал как старого, опытного революционера и друга СССР, ценил его убежденность и откровенность. В дискуссиях с Гомулкой по различным политическим вопросам (а таких было немало) Брежнев позволял ему больше, чем кому-либо еще из своих коллег: спокойно слушал, как Гомулка, бывало, кричал в раже спора, покраснев до корней волос. Как правило, внимательно относясь к точке зрения польского лидера, Л. И. Брежнев вместе с тем чувствовал, что Гомулка склонен к экстремизму, нередко ощущал сильное давление с его стороны, например в вопросе о вводе войск в Чехословакию, и, как видим, иногда поддавался этому давлению.

В 1970 году, когда Гомулка, проводя политику повышения цен, решил, что «попытка контрреволюции» должна быть подавлена силой, Брежнев (я сам был тому свидетелем) несколько раз в день связывался с Гомул-

кой по ВЧ и буквально умолял его не допустить, чтобы в рабочих стреляли, найти другой выход из положения. Однако это не помогло: Гомулка решил действовать по-своему и в результате не только лишился поста руководителя, но и, что гораздо важнее, сделал немалый шаг по пути к отрыву партии от рабочих масс. Хорошо понимая ошибку, допущенную Гомулкой, Леонид Ильич все же высказывал сожаление о его уходе.

С Эдвардом Гереком Брежнев всегда легко находил общий язык. В сущности, у них было много общих черт. Оба вышли из рабочей среды, оба были прагматиками, чуждыми теоретическим амбициям, людьми осторожными, спокойными, с определенной долей гуманизма в характере. И наконец, обоим была свойственна некоторая склонность к сибаритству в личной жизни. Политически они срабатывались легко, причем ведущим был неизменно Брежнев.

Войцеха Ярузельского Брежнев искренне уважал и даже любил (их ведь объединяло и военное прошлое), считал умным, тонким человеком и достаточно решительным политиком. Никаких сомнений в лояльности Ярузельского в отношении Советского Союза и польско-советской дружбы никогда не было. Против введения в Польше в 1981 году военного положения Брежнев, насколько мне известно, возражений не имел, считая угрожающий напор «Солидарности» чем-то вроде происков НАТО.

В эти годы Брежнев очень старался помочь польскому руководству в сфере экономики. В Польшу осуществлялись в срочном порядке крупные товарные поставки, предоставлялись кредиты, выезжали группы видных экономистов, обеспечивалась загрузка польской легкой промышленности нашим сырьем и заказами и т. д.

ГДР

Можно совершенно определенно утверждать: на протяжении всей своей деятельности на руководящем посту в партии и стране Л. И. Брежнев был проникнут убеждением, что крепкая, сильная ГДР как надежная союзница СССР — один из важнейших для нас результатов

победы во второй мировой войне, одна из важнейших предпосылок внешней безопасности Советского Союза и возглавляемой им Организации Варшавского Договора. Об этом Брежнев говорил не раз — и официально, и в частных разговорах. При этом следует подчеркнуть и другое: о каком-то *наступательном* подходе к ГДР как к трамплину для начала с нашей стороны военных действий против Запада *никогда* не было сказано ни слова. (Что, разумеется, не исключало военно-технического планирования наступательных операций с территории ГДР на случай начала войны.)

От МИД Брежнев постоянно требовал все новых и новых действий, направленных на расширение международного признания границ ГДР и ее вступление в ООН. В этом ему виделся один из самых важных элементов политической стабилизации в Европе, укрепления европейского мира.

Что касается отношений лично Л. И. Брежнева с руководителями ГДР, то их можно было бы охарактеризовать следующим образом.

К **Вальтеру Ульбрихту** Брежнев относился в общем весьма уважительно и лояльно, ценил в нем искреннего друга СССР. Но вместе с тем он хорошо видел (и часто говорил об этом в своем кругу), что «старика нередко заносит» — и в смысле непомерных, как считали в Москве, экономических претензий к СССР, и в смысле тенденций к неоправданно жесткой политике в отношении событий в Польше и Чехословакии, и в смысле постоянной склонности поучать нас, как надо активнее вести внешнюю политику, например, на Ближнем Востоке, и т. п.

Запомнился мне в этом плане один не совсем обычный инцидент. Осенью 1967 года (вскоре после «семидневной войны» Израиля, напавшего на Египет, Сирию и Иорданию) я, находясь в отпуске, отдыхал и лечился вместе с женой в Карловых Варах. В том же санатории, в соседнем корпусе отдыхал, как выяснилось, Вальтер Ульбрихт со своей супругой Лоттой. Встречаясь на прогулочных тропах, мы, естественно, вежливо здоровались, и этим дело ограничивалось. Но однажды мне передали, что Ульбрихт хотел бы пригласить меня с женой в свой номер «на чашку кофе». Лотта действительно предложила нам по чашке кофе, после чего увела жену куда-то в сторонку, и мы остались с Ульбрихтом

вдвоем продолжать беседу. Не теряя времени на лишние церемонии, Ульбрихт сразу же перешел к теме, ради которой затеял эту встречу. С большой настойчивостью и немалым темпераментом он стал доказывать мне (для передачи, конечно, Л. И. Брежневу), что СССР ведет на Ближнем Востоке неправильную, робкую и оппортунистическую политику. Надо было поддержать арабские государства против Израиля гораздо решительнее и эффективнее, не опасаясь реакции Америки. Проводя «робкую» и «половинчатую» политику, Советский Союз теряет престиж и влияние во всем арабском мире и вообще в антиимпериалистическом лагере, наносит ущерб развитию национально-освободительного движения в мире. Мои робкие возражения насчет необходимости действовать осмотрительно, не упуская из виду сохранения всеобщего мира, остались без внимания. Ульбрихт хотел высказать свое — и высказал. Должен признаться, что эта беседа (о которой я, конечно, информировал свое начальство) оставила у меня довольно тягостное впечатление.

Хочу добавить, что Брежнев относился с определенной долей иронии к «теоретическим» высказываниям Ульбрихта (которые рьяно подхватывались и раздувались подхалимствующим аппаратом ГДР — вплоть до провозглашения лозунга «Ульбрихт — это Ленин сегодня», что звучало как пародия на сталинские позиции). Поэтому, когда с конца 60-х годов более молодая часть руководства ГДР — Э. Хонеккер, В. Штоф, В. Кроликовский, О. Ламберц и др.— стала вести дело к отстранению Ульбрихта от руководства (в «цивилизованных» формах — через назначение почетным председателем партии) и доказывала советскому руководству неприемлемость не только «волюнтаристских» методов Ульбрихта во внутренней политике, но и нарастающих элементов «национализма» в его внешней политике, эти доводы, активно передававшиеся советским послом в Берлине П. А. Абрасимовым, не встретили особого противодействия в Москве, и смена руководства в ГДР произошла вполне легально и спокойно в 1971 году. Лично к Ульбрихту Леонид Ильич сохранял до конца уважительное отношение, например посетил его во время съезда СЕПГ, на котором старик уже не присутствовал — по настоянию Хонеккера — «по болезни».

С Эрихом Хонеккером особо близких отношений у Брежнева не возникло. Может быть, сказывалась и некоторая разница в возрасте. Хонеккер был ранее близко связан с Шелепиным (по линии международного молодежного комдвижения). Но политическую линию Хонеккера — Штофа Брежнев всегда считал в основном правильной, конфликтов не было, во всех серьезных международных вопросах, в том числе в Варшавском Договоре и СЭВ, они в общем стояли на единой позиции. С того времени, однако, когда Хонеккер, оттеснив в сторону Штофа и ряд других наших искренних друзей в руководстве ГДР, стал все более выходить на «единоличные» методы правления, все чаще (в своем кругу) высказывался критически и снисходительно о советской политике, что, конечно, немедленно доходило до советского руководства, отношение Брежнева к нему стало заметно более сдержанным. Тем более что Хонеккер с опаской воспринимал шаги Москвы, направленные на нормализацию и развитие отношений с ФРГ, а иногда, наоборот, проявлял стремление «обскакать» СССР на этом пути, например в своих встречах и «доверительных» беседах с лидером ХСС Штраусом. Это, в свою очередь, порождало какие-то элементы недоверия в Москве. И надо прямо сказать, обращение советского руководства с Хонеккером не всегда было достаточно тактичным. Так, руководство ЦК КПСС (с подачи, как я мог понять, прежде всего Громыко и Андропова) в течение ряда лет тормозило своими возражениями попытки Хонеккера нанести официальный визит в ФРГ, хотя лидеры ряда стран — участниц Варшавского Договора к тому времени уже побывали с такими визитами в Бонне.

В период нашей «перестройки» отношения с Хонеккером стали еще более напряженными: он явно не одобрял многое во внутренней и внешней политике Горбачева, считая, что тот отходит от принципов социализма и делает неоправданные уступки Западу, причем хочет навязать этот курс и своим союзникам. С этим Хонеккер был решительно несогласен и даже не особенно это скрывал. Примером может служить запрет, по его распоряжению, распространения в ГДР таких советских изданий, как газета «Московские новости» и журнал «Спутник».

Сказанное выше отнюдь не означает, что имело место какое-то охлаждение в отношении Брежнева к ГДР как

государству или к СЕПГ. Хорошо помню, что он характеризовал как «громадный успех для ГДР» подписание нашего Московского договора с ФРГ в 1970 году, а затем Заключительного акта Общеевропейского совещания в Хельсинки в 1975 году.

Особо надо отметить большое внимание, которое Брежнев неизменно уделял нашей группе войск, дислоцированной в ГДР (постоянно поддерживал личные контакты с ее командованием). Во время одной из своих поездок в ГДР в 70-е годы он с удовольствием принял предложение военных встретиться с активом группы и выступил перед офицерами в Вюнсдорфе с большой и эмоциональной речью экспромтом, без каких-либо предварительных заготовок. Эта речь, как мне передавали присутствовавшие там товарищи (сам я в Вюнсдорф не ездил), была очень яркой и доступной по форме, причем начисто лишенной каких-либо воинственных, агрессивных ноток. Ее главная тема — теплое сочувствие и поддержка тем, кто выполняет вдали от родины важную миссию по охране рубежей социалистического содружества и тем самым по поддержанию мира в Европе.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

Отношения с этой страной Брежнев всегда считал одним из центральных элементов всей нашей европейской политики, надежного баланса сил между Востоком и Западом. Он считал Чехословакию, наряду с Польшей и ГДР, ядром Организации Варшавского Договора, причем наиболее надежным, заслуживающим наибольшего доверия компонентом этого ядра (и в политическом, и в экономическом отношении).

Чехословакию Леонид Ильич знал и любил. В основе лежали сохранившиеся воспоминания о совместных с чехословацкой бригадой военных действиях на Карпатах в конце войны, личная дружба с командиром бригады Людвиком Свободой, близость к кругам, возглавившим антифашистское национальное восстание в Словакии в 1944 году (Шверма, Гусак и др.). Не случайно, вероятно, одной из первых официальных поездок молодого председателя Президиума Верховного Совета СССР Брежнева в Европу стала поездка в мае 1961 года в

Чехословакию. (Именно с участия в ней и началась моя работа у Брежнева.) Прага, Братислава, Пльзень, Усти-над-Лабем — во всех этих городах и нескольких других населенных пунктах побывал Брежнев во время своих поездок в ЧССР, многократно выступал на митингах — в залах и во дворе Пражского Кремля, на площадях Братиславы и Усти, на крупных заводах. Я уж не говорю о многочисленных контактах и переговорах с чехословацкими руководителями.

В Карловых Варах в течение многих сезонов лечилась жена Леонида Ильича Виктория Петровна.

При обсуждении вопросов *экономических* связей с членами СЭВ Брежнев неизменно отводил Чехословакии одно из приоритетных мест.

Отношения с руководством ЧССР всегда рассматривались в Москве как в целом хорошие, серьезных политических разногласий не возникало, появлявшиеся текущие проблемы (в основном экономического порядка) решались так или иначе спокойно, в рабочем порядке. Что же касается *личных контактов* с руководителями в Праге, то картина была сложнее. К президенту республики и руководителю КПЧ Антонину Новотному Брежнев и его коллеги относились в общем хорошо, считали лояльным союзником. Однако было видно, и Леонид Ильич в своем кругу не раз об этом говорил, что Новотный не особенно сильный руководитель: слабо знает экономику, не имеет большого политического авторитета, работник кабинетного стиля. («Это не Готвальд и не Запотоцкий»,— говорил Брежнев.) Были случаи, когда Брежнев в разговорах с Новотным напрямую критиковал те или иные стороны его политики, например недостаточно чуткое отношение к словакам, тенденции к уравниловке в оплате труда. («Куда это годится, когда квалифицированный инженер и простой рабочий получают одинаково? Это вы слишком спешите в коммунизм!») Новотный воспринимал такие замечания спокойно, без обиды, но, кажется, не делал из них особенных выводов на практике.

Из членов чехословацкого руководства, которые Брежневу были ближе, можно, пожалуй, назвать следующих: премьер Йозеф Ленарт, второй секретарь Президиума ЦК Василь Биляк, председатель ЦКК Милош Якеш, министр иностранных дел Вацлав Давид. К таким деятелям, как О. Черник и Л. Штроугал, Брежнев

относился с определенной настороженностью, считая их слишком «технократами» и поэтому, может быть, слишком склонными «смотреть на Запад». К секретарю ЦК И. Гендриху Брежнев относился скорее негативно, считая его честолюбивым аппаратчиком-карьеристом. С Дубчеком, пока тот был первым секретарем ЦК в Братиславе, отношения вроде бы сложились добрые.

Ту прослойку чехословацкой «номенклатуры», которая была становым хребтом будущей «пражской весны», отражая чаяния прежде всего прозападно настроенной части интеллигенции (например, Кригель, Цисарж, Пеликан, Шик, Смрковский и др.), Брежнев и его коллеги, по-моему, просто толком не знали и в расчет не принимали (хотя, конечно, определенную информацию из нашего посольства получали).

Словом, когда к концу 1967 года положение внутри чехословацкого руководства сильно осложнилось и над Новотным стали сгущаться тучи, для Брежнева и других членов советского руководства это не было совсем неожиданным, но негативных настроений в массах, выразившихся в событиях «пражской весны», они не предвидели и не ожидали.

Ясно было, однако, что положение Новотного под угрозой: его могут сместить с непредсказуемыми политическими последствиями. Об этом предупреждали через совпосла наиболее близкие нам деятели (Ленарт, Биляк и др.).

И вот тогда Брежнев решился на шаг, необычный для его практики, но характерный для его веры в возможности «личной дипломатии». В конце декабря 1967 года он неожиданно летит в Прагу, где, не теряя времени, приступает к прямым личным беседам поочередно со всеми наиболее видными и влиятельными членами чехословацкого руководства с целью предотвратить кризис, примирить конфликтующих и «спасти» Новотного. Все переговоры шли один на один (в присутствии только совпосла и автора этих строк). И продолжались они *18 часов без перерыва* — день, ночь, утро...

Это была попытка уговорить ведущих деятелей тогдашнего Президиума ЦК не создавать угрозу стабильности в партии и стране, не подвергать опасности ровный ход развития советско-чехословацкого сотрудничества. Большинство собеседников настаивали на том, что Новотный более не в состоянии эффективно руко-

водить партией и страной, не пользуется авторитетом. При этом характерно, что обвинения носили исключительно *личностный* характер, об изменении курса внутренней и уж тем более внешней политики никто из собеседников, насколько я помню, даже не говорил. Жаловались на самоуправство и непокладистость Новотного, что, по их мнению, привело к созданию в стране социальной и межнациональной напряженности. Дубчек даже со слезами на глазах жаловался, что его, первого секретаря ЦК Компартии Словакии, много лет прожившего в СССР, Новотный отказался включить в состав делегации на празднование 60-летия Октября в Москве. А когда секретарю Президиума ЦК КПЧ Гендриху Брежнев прямо задал вопрос, кто, по его мнению, мог бы с успехом и достаточно авторитетно заменить Новотного на его постах (секретарском и президентском), Гендрих, не моргнув глазом, немедленно ответил: «Я». Когда он вышел, Брежнев только покачал головой и сплюнул.

Словом, 18-часовой переговорный марафон оказался практически безрезультатным. На сплочение чехословацких руководителей уговорить не удалось. Дело кончилось тем, что Брежнев, махнув рукой, сказал: «Поступайте, как хотите» и улетел в Москву. Это и предрешило судьбу Новотного, а также дальнейшее развитие событий.

Судя по всему, ни Брежнев, ни другие члены Политбюро ЦК КПСС не представляли себе всего размаха процесса, который уже начинал разъедать КПЧ и чехословацкое общество, глубины протеста против административно-бюрократического режима, утвердившегося в стране, а также организованности и активности антисоциалистических сил в стране (прежде всего значительной части интеллигенции) и прочности их связей с Западом, особенно с социал-демократией.

Вскоре на пленуме ЦК КПЧ Новотный был освобожден от обязанностей первого секретаря, сохранив на время лишь пост президента республики (в тех условиях в значительной степени формальный). Партию возглавил Александр Дубчек — идеалист, искренне, по-видимому, стремившийся к демократизации и гуманизации сложившейся в Чехословакии системы (лозунг — «социализм с человеческим лицом»), но человек слабохарактерный, склонный к позерству, поддающийся лести, даже самой грубой. Его тут же окружила плотным

кольцом когорта деятелей по сути буржуазно-либерального толка, для которых социалистическая фразеология была лишь прикрытием, как и безудержное восхваление Дубчека (расклеенные по стране плакаты-портреты с надписями «Дубчек Саша — гордость наша!», «Дубчек — наш Ленин» и т. п.). Эти деятели (имена некоторых я уже называл) развернули широкую и настойчивую кампанию, охаивая весь политический курс ЧССР, ее внутреннюю и внешнюю политику, идеологию социализма, распространяя в едва прикрытой, а то и совсем откровенной форме враждебность к Советскому Союзу. Все чаще звучали призывы политических деятелей и печати к изменению внешней политики Чехословакии, к «нейтралитету», выходу из Варшавского Договора и даже вступлению в НАТО. Естественно, все это встречало одобрительные отклики и активную поддержку на Западе.

В такой обстановке Брежнев ясно понял, что методы «личной дипломатии» не годятся и ответственность за возникшее положение и дальнейший ход событий одному нести нельзя. И собственное Политбюро, и союзники по Варшавскому Договору требовали активной реакции.

Для советского руководства и его союзников начался долгий, мучительный период поисков решения «чехословацкой проблемы». Вопрос о положении в Чехословакии не сходил с повестки дня заседаний Политбюро и контактов с союзниками. И, конечно, контактов с Прагой.

Споры были долгие и горячие. Однажды мне пришлось присутствовать на заседании, где коллективно, в составе примерно 15 человек (члены и кандидаты в члены Политбюро, секретари ЦК, один-два заведующих отделами ЦК), создавался текст письма, задачей которого было оказать «образумливающее» воздействие на руководство КПЧ. Это было ужасное зрелище! Текст писался несколько часов подряд, причем каждый стремился внести свою лепту, нередко противоречившую другим. Были «ястребы», были почти «голуби», были осторожные молчуны. Только одного не было — общего, единого подхода к вопросу. И Брежнев в то время не был готов служить камертоном: он сам еще был растерян, вдумывался, прислушивался к мнениям других. И так потом происходило неоднократно.

По мере развития в Чехословакии процесса «либе-

рализации» все настойчивее стали раздаваться голоса, призывавшие к вводу войск в ЧССР для приостановки этого опасного, как считали, процесса. Особенно настойчиво требовали этого Ульбрихт и Гомулка, беспокоившиеся за безопасность своих стран в случае отпадения Чехословакии от союза. Были и у нас горячие головы, требовавшие «решительно вмешаться». На одном из таких заседаний (кажется, весной 1968 г.) присутствовавший посол в ЧССР Червоненко прямо заявил: «Если мы пойдем на такую меру, как ввод войск, без должной политической подготовки, то чехословаки будут сопротивляться — и прольется кровь». Этого никто не хотел. Брежнев на протяжении ряда месяцев занимал крайне осторожную позицию. Однако во время одного заседания, сойдя с председательского места, подсел на минутку к Червоненко и сказал ему: «Если мы потеряем Чехословакию, я уйду с поста генерального секретаря!»

«Политическая подготовка», о которой говорил посол, а вернее, поиски какой-то взаимоприемлемой договоренности с дубчековским руководством КПЧ продолжались долго — более полугода — в различных формах. Напомню здесь только о главных этапах.

В марте 1968 года в Дрездене, по инициативе руководства КПСС, состоялась встреча руководителей партий и правительств пяти стран: Болгарии, Венгрии, Польши, СССР и Чехословакии. С чехословацкой стороны участвовали Дубчек, Черник и др. (Румын не было, так как Чаушеску с самого начала отмежевался от всяких акций в отношении ЧССР, опасаясь, очевидно, что его постоянные разногласия с союзниками по многим вопросам могут обернуться чем-то похожим и против его режима.)

Гомулка, Ульбрихт, Живков активно выражали свою обеспокоенность событиями в Чехословакии, призывали принять меры к предотвращению угрозы принципиальным основам социалистического строя. Брежнев их поддержал. Дубчек всячески старался успокоить своих собеседников, уверяя, что КПЧ надежно контролирует ход событий и выступает за сохранение союза со странами социализма. В сообщении о встрече было сказано, что «в сложившейся ситуации особенно важное значение имеет повышение бдительности в отношении агрессивных устремлений и подрывных действий империалистических сил, направленных против стран социалистического содружества». Делегации, участвовавшие во

встрече, заявили о своей решимости «принимать необходимые меры и шаги для дальнейшего сплочения социалистических стран на основе марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма»[7].

В общем же можно сказать, что встреча окончилась ничем. Стороны ни в чем не убедили друг друга и расстались с чувством взаимного недоверия. Это я хорошо помню, так как присутствовал на встрече и следил за всеми ее перипетиями.

Последующие месяцы события шли по нарастающей. Все более резкой и бесцеремонной становилась кампания в средствах массовой информации и на различных общественных форумах ЧССР, направленная против ГДР, Польши, против внешней и внутренней политики СССР, все более развязными становились выпады против советских руководителей. В апреле была обнародована обширная «Программа действий КПЧ», намечавшая пути отхода от прежнего общественного и экономического курса, а в июле — якобы неофициальный, но обошедший всю страну «манифест» откровенно антисоциалистического содержания «Две тысячи слов». На сентябрь был намечен созыв чрезвычайного съезда КПЧ. Дело явно шло к закреплению отхода Чехословакии от социалистического содружества. Сторонников дружбы с СССР в рядах КПЧ преследовали и всячески травили.

В этой обстановке был предпринят еще один политический шаг: собравшись в июле в Варшаве, делегации компартий Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши и СССР направили совместное письмо Центральному Комитету КПЧ. «Силы контрреволюции,— говорилось в письме,— поддерживаемые империалистическими центрами, развернули широкое наступление на социалистический строй в Чехословакии, не встречая необходимого противодействия со стороны партии и народной власти. Возникла угроза основам социализма в Чехословакии». Участники встречи выразили в заключение убеждение, что Компартия Чехословакии, ее рабочий класс, крестьянство и интеллигенция «примут необходимые меры, чтобы преградить путь реакции и силам контрреволюции, чтобы сохранить и упрочить социализм в Чехословакии»[8].

Таким образом, язык, которым страны — участницы Варшавского Договора разговаривали с режимом Дубчека, становился все более жестким и угрожающим. Дело явно шло к той или иной форме вмешательства извне.

Видимо, примерно с этого времени и началась военно-техническая подготовка к возможному вводу войск, хотя политического решения на этот счет принято еще не было. Брежнев и ряд других членов Политбюро (Косыгин, Суслов) продолжали колебаться.

В конце июля был предпринят еще один, совершенно необычный по своей форме, шаг: было решено пойти на «фронтальную» встречу полных составов двух политбюро — КПСС и КПЧ, чтобы в ходе прямого и откровенного обмена мнениями попытаться найти выход из возникшего положения. Так как ни одна из сторон не желала быть «вызванной» на территорию другой для подобного объяснения, договорились встретиться на границе. Переговоры происходили в маленьком здании железнодорожного клуба чехословацкой пограничной станции Чиерна-над-Тисой, а жили делегации в поездах — каждая по свою сторону границы. Нельзя сказать, чтобы внешняя обстановка этих продолжавшихся пять дней (с 28 июля по 1 августа) переговоров была особенно привлекательной. Маленький, душный зал, где еле-еле разместились за длинным столом участники бесед, душные, жаркие купе в вагонах, деревянные будочки «удобств», построенные вдоль поездов... Да и внутренняя атмосфера переговоров была немногим лучше. Хотя советская сторона практически ничего не требовала от своих партнеров, кроме прекращения антисоциалистической, антисоветской и «антиваршавской» кампании в ЧССР, Дубчек и его «команда», подогреваемые интенсивной до предела пропагандой, развернутой (не без помощи и активного участия Запада) внутри Чехословакии, не склонны были быть особенно сговорчивыми. Атмосфера за столом постепенно накалялась. Обвинения и контробвинения сыпались с обеих сторон. Хотя Брежнев (как, впрочем, и Дубчек) держался спокойно, с обеих сторон нашлись запальчивые деятели, позволявшие себе и тяжелые обвинения, и грубость. С нашей стороны этим особенно отличались П. Е. Шелест и Н. В. Подгорный, у чехов — Ф. Кригель. Помню, в один из таких периодов я повстречал в фойе также вышедшего из зала Й. Ленарта (тогда он был секретарем ЦК КПЧ, а до недавнего времени — главой правительства ЧССР). Этот сдержанный, скромный человек, искренний друг СССР, был явно потрясен происходящим. Слабо улыбнувшись, он сказал мне: «Да, сейчас самое время подставить голову

под кран с холодной водой». Когда накал страстей привел к прекращению переговоров и чехословацкая делегация демонстративно покинула зал, Леонид Ильич провел личную встречу с Дубчеком в его вагоне. В ходе длительной и, видимо, очень трудной беседы один на один удалось убедить чехословацкого руководителя завершить встречу в Чиерне в более или менее приличной форме, даже с опубликованием совместного коммюнике, в котором говорилось о поисках путей дальнейшего развития и укрепления советско-чехословацких отношений.

Еще более существенным было то, что Дубчек дал согласие на продолжение переговоров, на этот раз с участием делегаций компартий Болгарии, Венгрии, ГДР и Польши.

Такие переговоры «шестерки» состоялись сразу же после Чиерны — 3 августа, и прошли они в столице Словакии Братиславе. Выступления делегаций ничего нового не принесли: та же критика со стороны пятерых союзников (особенно Ульбрихта) и те же объяснения и обещания чехословацкой стороны. Однако обстановка, казалось, была более конструктивной. В течение одного дня было выработано (при самом активном участии советской стороны) и принято всеми итоговое заявление. Это очень любопытный документ. В нем можно найти все, в чем была заинтересована и та, и другая сторона. Там говорилось и о «дальнейшем развитии социалистической демократии», и об «уважении суверенитета и национальной независимости» всех соцстран. Это должно было удовлетворить руководителей КПЧ. С другой стороны, в том же заявлении мы видим весьма многозначительную фразу о том, что «поддержка, укрепление и защита завоеваний социализма, достигнутых ценой героических усилий, самоотверженного труда каждого народа, являются общим интернациональным долгом всех социалистических стран»[9]. А это, согласитесь, выглядело как прямое оправдание возможности вмешательства во внутренние дела, то есть того, чему предстояло произойти в отношении Чехословакии через какие-то две с небольшим недели. И этот текст был принят чехословаками.

Так кто же кого «переиграл» с этим компромиссным братиславским документом?

Примирение, к которому, я убежден, искренне стремился Брежнев, на поверку оказалось иллюзией. В тот

же самый вечер, когда окончилась работа «шестерки», на одной из центральных площадей Братиславы был организован грандиозный митинг «в защиту Дубчека». Выступая с балкона перед десятками тысяч людей, Смрковский (председатель Национального собрания, член Президиума ЦК КПЧ) произнес истерическую речь, подогревая настроение масс против СССР и его союзников, и для пущего эффекта разорвал на себе рубашку при свете мощных прожекторов.

А тем временем, если верить воспоминаниям П. Е. Шелеста, в тот же день в Братиславе представителями просоветски настроенных сил ЧССР ему было передано адресованное советскому руководству обращение с призывом ввести в Чехословакию войска союзников, чтобы не допустить крушения социалистического строя в этой стране. Мне лично этот документ видеть не довелось, но упоминания о нем я слышал неоднократно. Думаю, он послужил финальным импульсом к принятию давно уже назревшего решения о вводе войск. Дальнейший ход событий был уже предрешен, и поскольку в дни, последовавшие за Братиславой, с чехословацкой стороны не было предпринято ровным счетом ничего, чтобы как-то смягчить, разрядить установившуюся в стране враждебную в отношении СССР и его союзников атмосферу, Брежнев оставил свои колебания и в ночь с 20 на 21 августа акция по вводу войск Советского Союза, Польши, ГДР, Болгарии и Венгрии была осуществлена. Характерно, что Брежнев не пожелал фигурировать в качестве единственного руководителя этой операции с советской стороны: эту ночь он провел в здании Генерального штаба ВС СССР *вместе с А. Н. Косыгиным и Н. В. Подгорным,* наблюдая за всем ходом операции.

Военно-технически она была проведена безупречно. За какие-то считанные часы через границы ЧССР сразу из нескольких стран по суше и по воздуху, совершенно неожиданно для окружающего мира, в том числе и для разведок НАТО, были переброшены сотни тысяч войск, оккупированы внешние аэродромы, прежде всего в Праге, оцеплены важнейшие объекты.

Но самое главное состоит в том, что *не было пролито ни одной капли крови.* Операция и задумывалась союзниками как чисто *политический* шаг, но полной уверенности в том, как отреагируют чехословаки, не было. По-

могло прямое обращение через совпосла в последний момент, за пару часов до высадки десанта, к старому другу Брежнева президенту ЧССР Людвику Свободе, поддержанное министром обороны М. Дзуром. Чехословацкие войска получили приказ не оказывать сопротивления, подтвержденный затем руководством КПЧ.

Никаких действий против населения или администрации ЧССР вступившие в страну войска не предпринимали. По договоренности с руководителями других стран — участниц акции был, однако, предпринят один существенный шаг: из-за боязни, что все-таки будет организовано сопротивление, решили задержать и изолировать Дубчека и наиболее активных его сторонников в руководстве (Черника, Смрковского, Кригеля и еще нескольких человек, но, конечно, не Свободу). Задержанных доставили самолетами в различные пункты Польши и СССР и временно разместили там. Это, однако, продолжалось недолго. *Уже 23 августа* в Москве начались официальные переговоры советского руководства во главе с Брежневым и руководителей ЧССР, в том числе Свободы (прилетевшего из Праги), Дубчека, Черника и др. Тема переговоров — меры по постепенной нормализации положения, недопущение эксцессов и столкновений. Соответствующие договоренности были достигнуты, и уже вскоре начался процесс отвода войск. Было условлено, что немцы, поляки, болгары, венгры уйдут полностью, а в Чехословакии останется лишь небольшая часть (несколько десятков тысяч человек) советского контингента, которая будет размещена не в центре страны, а в районе ее западной границы, причем ни в какой форме не будет вмешиваться во внутреннюю жизнь страны. Условия пребывания советских войск были оговорены специальным *межправительственным соглашением,* подписанным в октябре.

Руководство страны, возглавляемое Свободой и Дубчеком, продолжало оставаться на своих местах, и лишь постепенно от него начали отпадать наиболее непримиримые антисоветские элементы (типа Кригеля). Но общую тональность политики в отношении СССР и других государств — участников Варшавского Договора чехословакам пришлось, конечно, сменить. Враждебные выпады прекратились, призывов к выходу из ОВД больше не было слышно. А ведь это, если разобраться, именно

то, чего прежде всего добивалось руководство КПСС в Дрездене, Чиерне, Братиславе.

В своей книге «Личность и эпоха» известный историк Р. А. Медведев приходит к выводу, что советские руководители, пойдя на ввод войск в Чехословакию, «в сущности... потерпели крупнейшее политическое поражение»[10], поскольку им не удалось добиться замены дубчековского руководства в ЧССР новым, которое состояло бы из просоветских деятелей, а Дубчек и его коллеги были «восторженно» встречены в стране по возвращении из Москвы. Думаю, что такой вывод не бесспорен. И вот по каким причинам.

Конечно, вступление иностранных войск вызвало резко отрицательную реакцию у значительной части населения Чехословакии, и в этом смысле по чехословацко-советской дружбе был нанесен сильный удар, а СССР и его союзники, пойдя на такое вмешательство, основательно скомпрометировали себя в международном плане. Недаром позже, в годы «перестройки», это вмешательство было официально осуждено руководящими органами нашей страны.

С другой стороны, однако, надо помнить и обстановку тех лет, когда происходили события, о которых идет речь: разгар «холодной войны», крайнее обострение отношений с Западом, в том числе из-за войны во Вьетнаме, конфликт с Китаем. В этих условиях согласиться с отходом Чехословакии в той или иной форме от союза социалистических государств и идти на риск развала этого союза (как это и произошло двумя десятилетиями позднее, в совсем иной обстановке) для советского руководства было, конечно, немыслимо. И Брежнев решил тогда эту проблему по-своему, по-брежневски — не путем организации «путча» или подавления народного движения, а путем осторожного, ловкого маневрирования на протяжении примерно года, то есть до того времени, когда укрепило свои позиции новое руководство КПЧ во главе с Г. Гусаком. В целом Брежнев выражал удовлетворение тем, как прошла и завершилась «чехословацкая эпопея». С его точки зрения, в то время удалось отстоять государственные интересы СССР и стабильность в Европе сравнительно недорогой ценой.

Как бы заключительной чертой, подведенной под чехословацкими событиями, явился визит Брежнева в Прагу в мае 1970 года, подписание нового Договора о друж-

бе, сотрудничестве и взаимной помощи с ЧССР, теплый прием советского лидера на массовом митинге во дворе Пражского Кремля.

ВЕНГРИЯ

Ею Брежнев занимался значительно меньше. Видимо, потому, что кризис в отношениях с этой страной (1956 г.) был уже далеко позади, решать его (причем кровавым, жестоким путем) пришлось Хрущеву, а затем дела с Венгрией, в период руководства Кадара, шли значительно ровнее, спокойнее — и в экономических связях, и во внешней политике. **К Яношу Кадару** Брежнев относился с неподдельным уважением, внимательно прислушивался к его советам во внешнеполитических вопросах. Иногда в разговорах со своим ближайшим окружением Леонид Ильич любил вспоминать, как осенью 1956 года по поручению Хрущева сопровождал Кадара в Москву для обсуждения там вопроса о назначении Кадара главой правительства Венгрии. На этом основании Брежнев считал себя как бы «крестным отцом» Кадара. Но настоящей близости, тем более личной дружбы с Кадаром у Брежнева не было: слишком венгерский лидер был «социал-демократ» по своим стилю, методам и даже поведению в личной жизни. За этим стилем Брежнев словно наблюдал со стороны, с легкой усмешкой, хотя и понимал его уместность и эффективность в конкретных условиях тогдашней Венгрии. Но в принципе Кадару и его политике он доверял, на лояльность кадаровского руководства в отношении СССР и Варшавского союза полагался. Этим, видимо, в значительной мере объяснялось и то, что в Москве долгие годы спокойно воспринималась внутренняя, в том числе экономическая, политика Венгрии, ее осторожные, но последовательные шаги по пути введения рыночных элементов в экономику и «либерализма» в идеологию. Считалось, видимо,— и не без оснований,— что это наиболее приемлемый путь преодоления последствий кошмара гражданской войны и интервенции 1956 года.

Когда я в марте 1975 года сопровождал Л. И. Брежнева в поездке в Будапешт во главе делегации КПСС на XI съезд ВСРП, мне бросилось в глаза, что он следил за

работой съезда не очень внимательно, я бы даже сказал, как-то безучастно, с отрешенным видом. Частично, возможно, это объяснялось и состоянием здоровья Брежнева, которое к тому времени стало ухудшаться, но все же что-то аналогичное я замечал и во время его более ранних визитов в Венгрию — в 1971 и 1972 годах.

Внутренняя отчужденность, судя по всему, была взаимной. В беседах с Брежневым Кадар обычно бывал сдержан и осторожен. Его помощник, с кем он близко сотрудничал в течение многих лет, и неизменный переводчик всех его бесед с советскими руководителями Надя Барт как-то сказала мне: «Кадар отчаянно нуждается в советском человеке, с которым он мог бы поддерживать постоянный близкий контакт, в беседах с которым он мог бы выговориться, раскрыться до конца. С советскими послами ему в этом отношении не везло: это все были сугубо официальные люди догматического склада».

БОЛГАРИЯ

Страну эту Брежнев любил и очень охотно туда ездил по различным поводам. Внимательно следил за работой крупных производственных объектов, построенных нами или с нашим участием в Болгарии. Посетил, в частности, Кремиковский металлургический комбинат и нефтехимический комплекс в Бургасе.

Тодора Живкова Леонид Ильич ценил как надежного и энергичного союзника, активно поддерживавшего внешнеполитический курс СССР. Хотя, что касалось двусторонних (экономических) отношений, иногда говаривал: «Живков — мужик себе на уме, своего не упустит, с ним надо держать ухо востро». К неоднократно выражавшемуся Живковым в беседах пожеланию, чтобы Болгария вошла в состав СССР, стала «еще одной советской республикой», Брежнев отнесся весьма осторожно и даже прохладно. Он видел в этом прежде всего стремление болгарского руководителя извлечь дополнительные экономические выгоды для Болгарии. И к тому же его удивляло нежелание Живкова учитывать возможные внешнеполитические последствия предлагаемого им шага, не только реакцию Румынии, но и международного

сообщества в целом. Вообще Брежнев был против того, чтобы перекраивать послевоенную политическую карту Европы, в этом он был последователен.

РУМЫНИЯ

Несмотря на годы, проведенные в Молдавии, никакого особого интереса или симпатий к Румынии Брежнев никогда, насколько я мог заметить, не проявлял. Чувствовалось, что в ритуальных торжественных церемониях, которые Чаушеску организовывал во время визитов советского руководителя в Бухарест (митинги, танцы на площадях и т. п.), Брежнев принимал участие по обязанности, не от души.

Николае Чаушеску с его амбициями, чванством и наглостью Брежнев не выносил, но терпел, сдерживая себя, чтобы не обострять отношения внутри Организации Варшавского Договора. Иногда при обсуждении на Политбюро ЦК КПСС тех или иных трений в двусторонних отношениях с Румынией, непомерных запросов Чаушеску слышались крайне раздраженные реплики. «Чаушеску напоминает мне местечкового еврея»,— говорил Пельше. «Да не еврей он, а типичный цыган»,— отвечали ему. Но Брежнев не давал воли эмоциям — и это себя оправдывало.

Невзирая на негодование союзников, прежде всего военных, особенно болгар, он довольно спокойно воспринял решение румынского руководства отмежеваться от совместных военных учений ОВД, не допускать их проведения на своей территории (Чаушеску захотелось поиграть в де Голля!). Хладнокровнее других союзных лидеров реагировал Брежнев и на периодически повторявшиеся обструкционистские выходки Чаушеску при обсуждении важных политических вопросов на совещаниях Политического консультативного комитета Организации Варшавского Договора. Мне неоднократно приходилось быть свидетелем того, как повторялась одна и та же ситуация: все участники ПКК единодушно договариваются о каком-либо решении, но принять его не могут, так как возражает Чаушеску, который при этом требует обсудить данный вопрос один на один с Брежневым.

Под неодобрительными взглядами союзников Брежнев все же обычно соглашался на такую процедуру. Следовала одно- или двухчасовая беседа двоих, в итоге которой Чаушеску, после терпеливых уговоров Брежнева, обычно «уступал»: для него это явно был просто способ набить себе цену.

При таких отношениях, сложившихся у румынского руководства с союзниками по ОВД, не приходится удивляться, что Чаушеску оказался единственным из лидеров стран этого блока, категорически возражавшим против ввода союзных войск в Чехословакию и не принявшим участия в этой акции. Причем вовсе не из сочувствия либеральным идеям «пражской весны», от них Чаушеску и весь его режим были далеки, как от Южного полюса. Просто румынский диктатор боялся, что коллективное недовольство союзников (вызванное совсем другими причинами) может обернуться аналогичной акцией против руководства Румынии. Недаром же Чаушеску в эти дни дал указание рыть окопы вдоль границ Румынии со странами ОВД!

Тем не менее двусторонние отношения СССР с Румынией развивались все эти годы в общем корректно и спокойно, не считая обычных споров по тем или иным проблемам экономических связей. Руководители обеих стран обменивались визитами (хотя и нечастыми), юбилейными телеграммами, награждали друг друга орденами. Только в текстах речей, произносившихся сторонами, можно было между строк прочесть немалые различия.

ЮГОСЛАВИЯ

Отношения с этой страной в период пребывания Брежнева у власти развивались в общем без проблем. С нейтралитетом Югославии Брежнев, как и его коллеги, вполне мирился и даже считал его полезным. Прежние идеологические разногласия с югославским руководством Леонида Ильича никак не тяготили, как и специфические методы экономического хозяйствования в этой стране (самоуправление на производстве и т. д.).

С Тито у Брежнева с самого начала, с 1962 года, когда он ездил в Югославию по поручению Хрущева для

закрепления начавшегося улучшения отношений, установились не просто хорошие, но, я бы сказал, даже теплые контакты. И такими они оставались все время. Хорошо помню, как во время поездки 1962 года, когда все мы были в гостях у Тито на острове Бриони, Леонид Ильич с энтузиазмом рассказывал о многочасовых откровенных и даже «задушевных» беседах, которые он вел с Тито один на один, поселившись в личной резиденции хозяина вместе с ним. Правда, о содержании этих бесед Брежнев особенно не распространялся. Но познакомились они тогда хорошо, это было видно.

В течение последующих лет Брежнев неоднократно, хотя и не очень настойчиво, достаточно деликатно предпринимал попытки вовлекать Тито в те или иные коллективные акции стран ОВД или компартий Европы. В ряде случаев это удавалось. Так, Тито участвовал в будапештской встрече участников Варшавского Договора в 1967 году по случаю войны Израиля с арабами, в 1976 году — в Берлинской конференции компартий Европы. В обоих случаях Брежнев был весьма доволен и уделял Тито большое внимание. Немало у них было контактов и в ходе визитов соответственно в Москву и Белград.

Я не раз думал, почему именно Брежнев так легко находил общий язык с Тито. Главная причина, видимо, в том, что в основе острого конфликта между Сталиным и Тито и всей последующей вражды между двумя партиями и странами лежали не столько теоретические расхождения, сколько личное соперничество и абсолютная нетерпимость Сталина ко всякому «вольнодумству» среди союзников, к любому игнорированию его, Сталина, опыта и установок в любом вопросе. Хрущев с его амбициозностью и непредсказуемой импульсивностью тоже не внушал Тито большого доверия. А вот Брежнев с его мягкостью, терпимостью, склонностью к компромиссам был куда более подходящим партнером для улаживания всякого рода расхождений. Да и многое в стиле личной жизни Тито (пристрастие к комфорту и даже роскоши и т. п.), что могло лишь раздражать аскетическую натуру Сталина, скорее импонировало Брежневу. Недаром ведь он некоторое время даже носил перстень, подаренный ему Тито.

Символичен был и финал. Когда в мае 1980 года Тито умер, сам уже совершенно больной, Брежнев, пренебре-

гая советами врачей, вылетел на похороны и, с трудом держась на ногах, мужественно отстоял свою вахту у гроба ушедшего товарища.

СОЦСТРАНЫ ВОСТОКА: МНР, КНДР, ВЬЕТНАМ

Прежде всего хочется подчеркнуть одно: к оценке развития отношений с этими странами прагматик Брежнев всегда и неизменно подходил с учетом напряженности, существовавшей в годы, о которых идет речь, то есть в 60-е и 70-е, в отношениях СССР с Китаем и США. Оценивая те или иные конкретные шаги СССР на данном направлении, это надо всегда иметь в виду.

МОНГОЛИЯ

Очень заметное место в усилиях Брежнева по формированию нашей политики в Азии занимала, конечно, наша ближайшая соседка — Монгольская Народная Республика. Полвека теснейшего сотрудничества связывало ее с советской страной, сотрудничества экономического, культурного, идеологического, военного (в годы гражданской войны и в годы второй мировой войны). Кроме того, Монголия всегда была как бы барьером между СССР и Китаем. И Брежнев внимательно, постоянно следил за положением дел в этой стране и состоянием наших отношений с ней. Тем более что эту страну он знал давно — со времени службы в танковой части в районе Улан-Удэ в 30-е годы. Не случайно, конечно, в начале 1966 года он предпринял длительную демонстративную поездку на поезде из Москвы в Улан-Батор, многократно встречался там с монгольским руководством, провел много часов в беседах с Цеденбалом, осмотрел один из важнейших объектов экономического сотрудничества обеих стран — угольный разрез в Дархане, посетил аймак.

В ходе визита 15 января 1966 г. был подписан новый Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и МНР. В одной из его статей содержалось обязательство сторон «оказывать взаимную помощь в обеспечении обороноспособности обеих стран, предпри-

нимать все меры, включая военные, в целях обеспечения безопасности, территориальной целостности обеих стран»[11]. В тот период серьезного обострения советско-китайских отношений это было явное предупреждение, адресованное Пекину.

Показателем значения, которое Брежнев придавал этой поездке в Монголию, было и то, что она происходила во время, весьма напряженное для него во внутренней политике. В Москве шла полным ходом подготовка к XXIII съезду партии — первому «брежневскому» съезду, который должен был определить курс нового руководства по основным, принципиальным вопросам внутренней и внешней политики. Пока поезд шел по стране на восток, Брежневу приходилось целыми днями, а то и в поздние, почти ночные часы сидеть вместе с сопровождавшими его Мазуровым, Громыко, помощниками и некоторыми экспертами над чтением представленных ему проектов отчетного доклада и других документов к съезду. А дело это было очень непростое. Ведь как раз в это время между различными группами, работавшими в Москве над этими проектами по поручению Брежнева, шла острая борьба. Особенно, пожалуй, вокруг проблем внешней политики. Одна сторона — представители международных отделов ЦК, руководимых Б. Н. Пономаревым и Ю. В. Андроповым, сотрудники МИД, главный редактор «Правды» М. В. Зимянин — отстаивала последовательный курс на утверждение мирного сосуществования двух общественных систем и разрядку международной напряженности. Другая — заведующий отделом науки ЦК С. П. Трапезников, помощник Брежнева В. А. Голиков и ряд других работников, идейно примыкавших к группировке А. Н. Шелепина,— требовала недвусмысленно «классового», резко антиимпериалистического подхода, отказа от «иллюзий» смягчения напряженности. Дискуссии были жаркие. Мне, например, известно, что во время одного из таких обсуждений спор между С. П. Трапезниковым и М. В. Зимяниным достиг предельной напряженности и небывалого накала.

И во всем этом Брежневу предстояло определиться. Я не исключаю, что его «самоудаление» на восток как раз в этот момент было, помимо всего прочего, еще и проявлением типичного для него метода: отойдя в сторонку, переждать, пока остынет накал возникших столкновений. О продолжении этой по-своему мучительной

для Брежнева подготовки к XXIII съезду я еще скажу. А пока хочу обратить внимание на один любопытный факт, а именно на характер формулировок, касающихся принципов нашей внешней политики, в речи, с которой Брежнев выступил на митинге в Улан-Баторе 15 января 1966 г., то есть в разгар упомянутых споров и дискуссий. В этих формулировках нашло свое отражение все происходившее. В речи было четко сказано о приверженности советского руководства ленинскому принципу мирного сосуществования государств с различным общественным строем, развитию между всеми государствами «экономических и иных связей» (об этом позаботились мы с Громыко).

Но далее идет следующее развитие этого положения:

«Отстаивать мирное сосуществование в наше время — это значит бороться против вмешательства империалистов во внутренние дела других стран и народов. Это значит бороться за создание наиболее благоприятных условий для торжества нашего великого дела. Мирного сосуществования не будет, если не бороться против тех, кто стремится его подорвать, против любых попыток империалистической агрессии и вмешательства в дела других государств и народов»[12].

Как видим, интерпретация понятия «мирное сосуществование» имеет тут весьма наступательный характер. «Смягчением напряженности», как говорится, и не пахнет.

Но чтобы правильно понять происхождение всех этих положений, надо иметь в виду не только то, что Брежневу приходилось учитывать давление «по-боевому» настроенной части своих советчиков и коллег. Надо учитывать и другое: в это время полным ходом шла откровенная и широкомасштабная американская агрессия во Вьетнаме, а он прибыл в азиатский регион, поближе к «месту действия». Кроме того, советские руководители подвергались в то время яростным атакам китайского руководства за «соглашательство с американскими империалистами», и Брежнев должен был как-то доказывать азиатским народам и всему «третьему миру», что это не так.

С целью поддержки МНР против давления Китая Брежнев и в другой напряженный период — в конце 1974 года — нашел время прилететь в Улан-Батор по пути из Владивостока (где вел переговоры с президентом Фордом по разоруженческим делам) в Париж. В целом по напряженности и нагрузке, в том числе и

чисто физической, связанной с тысячекилометровыми перелетами, следовавшими один за другим, это был один из самых трудных для Леонида Ильича периодов. И я часто думаю, не с тех ли дней начался перелом к худшему в общем состоянии его здоровья, который через год-полтора проявился уже совершенно явственно.

Брежнев считал необходимым постоянно работать с Цеденбалом и его ближайшим окружением. Лояльности Цеденбала как союзника Брежнев вполне доверял, но ряд личных качеств монгольского лидера внушал тревогу. Это прежде всего непреодолимая склонность к злоупотреблению спиртными напитками. Ни настоятельные советы врачей, ни откровенные товарищеские беседы советских руководителей и в Улан-Баторе, и в Москве результатов не принесли. Приходилось также принимать во внимание и такой негативный фактор, как влияние на Цеденбала его русской жены. Женщина амбициозная и властолюбивая, с крутым и трудным характером, она была весьма склонна вмешиваться в служебные дела своего не очень волевого супруга, в том числе и в кадровые. И в довершение всего не стеснялась то и дело открыто выражать презрительное отношение к монголам, их национальным чертам и особенностям. Все это, конечно, осложняло положение Цеденбала и ослабляло его авторитет в руководящих монгольских кругах. Деликатные попытки Брежнева как-то повлиять на ситуацию успеха также не имели.

А ведь Цеденбал был нужен. Он был популярен в стране еще со времен войны с Японией (1945 г.), был как бы гарантом прочности советско-монгольского союза. Распад его личности привел к политическим переменам уже позже, после смерти Брежнева.

Видимо, на фоне всех этих обстоятельств у Брежнева стала вызревать и постепенно приобретать, можно сказать, навязчивый характер идея *вступления Монголии в состав Советского Союза*. Думаю, что это была его личная идея, а не подсказанная кем-то со стороны. Публично он с ней не выступал, насколько я помню, ни разу, но в беседах со своим окружением (в частности, и со мной, и, уж наверное, с рядом своих коллег) возвращался к ней не раз. Я, со своей стороны, делал все, что мог, чтобы побудить Леонида Ильича отказаться от этой мысли. Ссылался на национальные чувства монголов, на неизбежную негативную реакцию в окружаю-

щем мире и т. д. Думаю, что и другие собеседники едва ли поддерживали мысль Брежнева. Однако он был настойчив в ее продвижении — и поднял этот вопрос в одной из бесед с Цеденбалом (кажется, в Крыму во время отпуска). Реакция, как и следовало ожидать, не была позитивной. Под каким-то предлогом Цеденбал уклонился от развития этой темы, и Брежнев, видимо, осознав ситуацию, больше, насколько мне известно, к этому вопросу не возвращался.

КНДР

Не могу сказать, чтобы Брежнев много занимался вопросами отношений с Северной Кореей (с Южной тем более). Общего с этой страной у нас было мало — и политически, и даже экономически (по крайней мере для советской стороны). По существу КНДР играла для Советского Союза роль чисто стратегического фактора в ходе «холодной» (и даже частично «горячей») войны с США и соперничества с Китаем. Отсюда — огромные военные поставки Пхеньяну и в общем односторонне (для КНДР) выгодная торговля.

Политически установленный **Ким Ир Сеном** режим и гротескный культ его личности ни Брежневу, ни его коллегам совершенно не импонировали и вызывали у них в лучшем случае ироническое отношение, претензии корейского руководителя на роль теоретика и вождя мирового революционного движения воспринимались Брежневым как нелепые. Тем более что сам он, занимая пост руководителя такой мощной партии, как КПСС, и такой великой державы, как Советский Союз, никогда подобных претензий не выдвигал и даже о них не думал.

Желания как-то развивать личные контакты с Ким Ир Сеном у него явно не было, не было между ними и взаимного доверия. Достаточно было, что Северная Корея оставалась серьезным противовесом американскому военному плацдарму в Южной Корее и не впадала в слишком большую зависимость от Китая.

Не случайно ведь свою дальневосточную встречу с Ким Ир Сеном Брежнев решил провести не где-нибудь, а на борту корабля Тихоокеанского военного флота СССР.

Во Вьетнаме Брежнев не был никогда, о стране этой знал не очень много, помимо самых необходимых исходных данных. Между тем вьетнамскими делами ему, конечно, приходилось заниматься очень много — это диктовалось самим ходом событий. С руководителями Вьетнама Леонид Ильич встречался довольно часто, главным образом в Москве, и относился к ним с большим уважением как к искренне преданным делу социалистической революции и национальной свободы народным вождям. И опыт научил его: если у Советского Союза в его глобальной политике и есть на юго-востоке Азии надежный союзник, способный бесстрашно противостоять агрессивному натиску и США, и маоистского Китая, идти на любые жертвы, отстаивая свою независимость, то это Вьетнам. Его народ нуждался лишь в военно-технической, экономической и, конечно, политической поддержке. И такая поддержка со стороны Москвы была обеспечена ему самым решительным образом. Тут ни у Брежнева, ни у других окружавших его советских руководителей ни сомнений, ни колебаний не было. «Для Вьетнама нам ничего не жаль»,— говорил Леонид Ильич.

Натолкнувшись на серьезное сопротивление во Вьетнаме, оказавшись втянутой, вместо военной прогулки, в затянувшуюся, многолетнюю кровавую войну, разъяренная Америка бросила против маленького Вьетнама половину всех своих сухопутных сил, самые мощные бомбардировщики, средства химической войны — словом, все свое первоклассное оружие, кроме ядерного,— и не добилась победы. Как это могло произойти? Не на одном же мужестве и революционном энтузиазме держались вьетнамцы? Конечно, нет! В их руках было не менее совершенное оружие, поставляемое Советским Союзом, не говоря уж об экономической поддержке со стороны СССР и других стран СЭВ. По существу это была военная схватка двух соперничающих сверхдержав. Причем СССР имел то преимущество, что был лишь косвенным участником этой схватки, не неся потерь в человеческих жизнях и даже имея возможность оказывать на воюющие стороны давление в направлении прекращения войны. Это, в частности, довольно наглядно проявилось во время бесед Брежнева и других советских руково-

дителей с Никсоном в мае 1972 года (о чем подробнее еще речь будет ниже).

И не случайно, конечно, когда в 1979 году начались серьезные военные действия на китайско-вьетнамской границе и войска КНР вторглись на территорию Вьетнама, Брежнев и весь состав Политбюро, не колеблясь, приняли решение о демонстративной переброске на Дальний Восток, поближе к границе с Китаем, крупных контингентов советских войск из районов Поволжья и Урала с целью оказать сдерживающее влияние на Китай, помешать переброске китайских войск с севера на юг, в район военных действий с Вьетнамом. Я присутствовал, когда обсуждался этот вопрос: ни возражающих, ни сомневающихся не было.

В свою очередь, СССР в результате развития дружественных отношений с Вьетнамом получил серьезную стратегическую выгоду — возможность создать военно-морскую базу в бухте Камрань, столь необходимую для советского военно-морского флота, не имевшего ни одного опорного пункта в этом важном регионе.

КИТАЙ

В Китае Брежнев не бывал никогда. Там только был его младший брат Яков Ильич — инженер-металлург, помогавший строить Аньшанский металлургический комбинат. Личных контактов с китайскими руководителями у Леонида Ильича тоже почти не было. Только с Лю Шаоци, которого он по поручению Хрущева сопровождал в 1960 году после международного совещания компартий в Ленинград, а затем по Транссибу — на Дальний Восток и с которым, по его словам, он за это время подружился. Да еще недолго с Чжоу Эньлаем в злополучные ноябрьские дни 1964 года (об этом ниже). Тем не менее в мыслях и планах Л. И. Брежнева Китай, естественно, всегда занимал большое место.

В наследство от Хрущева Брежневу досталось (и надолго) состояние острого идеологического конфликта с Китаем. Конфликта, который, с одной стороны, был подогрет несдержанными, необдуманными действиями импульсивного Никиты Сергеевича, а с другой — уходил корнями в непомерную амбицию и великодержавные

замыслы Мао Цзэдуна. Конфликта, который в условиях «холодной войны» с Западом особенно тяжелым грузом давил на нового советского руководителя.

Так случилось, что мне довелось быть у самых истоков обсуждения этой проблемы новым советским руководством. Как я уже упоминал, сразу же после октябрьского пленума ЦК 1964 года Брежнев договорился с В. Гомулкой и главой польского правительства Ю. Циранкевичем о встрече для обсуждения ситуации, сложившейся после отставки Н. С. Хрущева. Встретиться договорились близ границы — в Беловежской пуще (в той самой резиденции, где тремя годами ранее Хрущев дорабатывал свой проект программы строительства коммунизма для XXII съезда партии, а через 30 лет Ельцин, Кравчук и Шушкевич собрались, чтобы поставить крест на СССР и образовать СНГ).

По пути на запад в салон-вагоне, где за столом сидели Л. И. Брежнев, А. Н. Косыгин, Ю. В. Андропов (тогда секретарь ЦК), К. В. Русаков (заведующий отделом ЦК по связям с компартиями соцстран) и автор этих строк, зашел разговор о том, «как быть с Китаем». Все были в общем согласны, что отстранение Хрущева может быть использовано для нормализации в той или иной степени отношений с Пекином. Но как это лучше сделать и до какой степени следует пойти навстречу Мао, никто толком не знал. Наиболее категоричен был Косыгин: надо сразу же предложить китайскому руководству откровенные переговоры, перечеркнуть темный период и восстановить прежнюю дружбу. «Мы — коммунисты и они — коммунисты, и не может быть, чтобы не смогли договориться, глядя друг другу в глаза!» — восклицал Косыгин. Против такой точки зрения выступил Андропов. Он говорил, что все не так просто, что Мао хитер и коварен и с СССР порвал не под влиянием эмоционального импульса, а вполне продуманно — в расчете перехватить у КПСС главенствующую роль в мировом комдвижении, а затем, может быть, наладить дела с Америкой. Русаков, насколько я помню, занял срединную позицию, а Брежнев в основном осторожно отмалчивался. Но в общем все были согласны, что в отношении Китая какие-то позитивные шаги необходимы.

И вот первый такой шаг последовал — и был, судя по всему, благоприятно встречен китайской стороной. На празднование национального дня СССР — 7 нояб-

ря — по приглашению нового руководства Союза в Москву прибыл премьер КНР Чжоу Эньлай — фактически вторая фигура в Пекине. Чжоу был тепло встречен на аэродроме Косыгиным. Однако в ходе имевших место переговоров с новым советским руководством Чжоу Эньлай, как выяснилось, изложил весьма жесткую позицию Пекина, который требовал дезавуирования решений XXII съезда КПСС и отказа от принятой тогда программы партии, чего новые советские руководители, естественно, не могли себе позволить. Дальнейшие попытки найти общий язык рухнули после нелепого случая или же под влиянием военной верхушки, разозленной на китайцев. Так или иначе, но во время праздничного банкета в Кремле к китайскому премьеру подошел крепко подвыпивший министр обороны маршал Малиновский и во всеуслышание заявил: «Ну вот, мы свое дело сделали — выбросили старую галошу — Хрущева. Теперь и вы вышвырните свою старую галошу — Мао, и тогда дела у нас пойдут».

Вне себя от возмущения Чжоу Эньлай немедленно покинул банкет и сразу же улетел в Пекин. Отношения с Пекином были, конечно, серьезно подорваны.

Как мне позже передавали, ряд деятелей, особенно настойчиво выступавших за восстановление «братских отношений» с КНР (тот же Косыгин, А. Н. Шелепин, бывший член Президиума ЦК А. Б. Аристов, давний и близкий сотрудник Брежнева С. П. Трапезников и др.), оказывали на нового руководителя сильный нажим, побуждая «поправить дело», поехать на встречу с Мао. Мало веривший в успех подобной акции и явно не склонный ставить на карту свой авторитет, Брежнев раздраженно бросил Косыгину: «Если уж ты считаешь это так нужным, то сам и поезжай».

И такая поездка состоялась. В феврале 1965 года Косыгин (в сопровождении Андропова и др.), направляясь во Вьетнам, сделал остановку в Пекине и имел беседу с Чжоу Эньлаем о возможности улучшения отношений. Беседа была корректной, но многого не дала. По возвращении из Ханоя Косыгин снова сделал остановку в Пекине, и здесь его, после длительных проволочек, принял Мао Цзэдун. Разговор был резкий и малоприятный. Нашим товарищам напомнили все несправедливости, совершенные в отношении Китая Хрущевым, повторили обвинения в «ревизии ленинизма» со стороны

КПСС. Словом, было ясно, что ни о каком возвращении к прежней «братской дружбе» речи быть не может и роль «младшего брата» Советского Союза Китай никогда больше играть не будет.

Далее в Китае развернулась большая антисоветская кампания под флагом хунвэйбинов, в Пекине разжигались территориальные претензии к СССР.

Советская сторона держалась более или менее корректно, если не считать полемики в средствах массовой информации. Однако предпринятая уже в начале 1966 года поездка Брежнева на поезде в Монголию и подписание в Улан-Баторе нового союзнического договора с этой страной (о чем шла речь выше) уже говорили сами за себя. Разумеется, в Улан-Баторе Брежнев получил все необходимые заверения монгольского руководства о поддержке против Китая.

Последовавшие полтора десятилетия были периодом острых — вплоть до кровопролития — конфликтов в отношениях между СССР и Китаем, причем наступательную, непреклонную позицию занимала в основном китайская сторона. Со стороны брежневского руководства было предпринято много попыток исправить положение — как при жизни Мао, так и после его смерти, которые не принесли ожидаемого улучшения атмосферы. Шаги предпринимались как по государственной, так и по партийной линии. Напомню некоторые из них. В сентябре 1969 года Косыгин, по пути из Ханоя в Москву, вновь сделал остановку в Пекине и имел встречу с Чжоу Эньлаем (договорились об обмене послами и подписании торгового протокола). В 1971 году XXIV съезд КПСС, не прекращая идеологической полемики с маоизмом, высказался «за нормализацию отношений между СССР и КНР, восстановление добрососедства и дружбы между советским и китайским народами»[13]. В 1973 году Китаю было предложено заключить договор о ненападении, но Пекин это отверг. В октябре 1976 года (после смерти Мао) на пленуме ЦК КПСС было заявлено, что в советско-китайских отношениях нет вопросов, которые нельзя было бы решить в духе добрососедства[14].

В ноябре 1976 года предлагавшиеся нами неоднократно советско-китайские переговоры (на уровне заместителей министров иностранных дел) все-таки начались, но тянулись мучительно и бесплодно. Предложение СССР (в феврале 1978 г.) выступить с совместным заяв-

лением о принципах отношений между двумя странами Пекин отверг. И почти сразу же вслед за этим в конституцию КНР было внесено изменение, согласно которому (и в соответствии с материалами XI съезда КПК) СССР был назван первым среди «врагов Китая». Словом, преодолеть разрыв, возникший еще при Хрущеве, оказалось делом нелегким. Корни взаимной вражды и недоверия, вызревавшие десятилетиями, были еще слишком крепки. Кадры у обеих сторон — политические, идеологические, военные — воспитывались все эти десятилетия именно в таком духе. Мне, например, не раз приходилось быть свидетелем того, как отдельные попытки Брежнева уже в послемаоистский период найти какие-то пути к оздоровлению отношений с Китаем пресекались нашими «китаеведами» из аппаратов ЦК и МИД, которые длительное время специализировались на разоблачениях китайской политики и другого представить себе не могли.

С другой стороны, амбиции китайского руководства и после Мао, судя по всему, не убывали. В течение длительных переговоров, на разных их этапах Пекин в качестве условия улучшения отношений требовал ни мало ни много одностороннего сокращения советских войск в районе границы (хотя с китайской стороны их было больше), вывода всех советских войск из Монголии и прекращения всех форм помощи Вьетнаму, не говоря уж о территориальных требованиях к СССР.

Обеим сторонам приходилось считаться и с позициями и действиями своих «сателлитов». Поддерживаемые Пекином полпотовцы устроили в Камбодже дикую резню, уничтожив миллионы людей, чтобы искоренить сочувствие Вьетнаму. А вьетнамцы, в свою очередь, ввели свои войска в Камбоджу и свергли режим Пол Пота. И вот тут Пекин решил, что обстановка позволяет ему не стесняться, и начал настоящую (хотя и ограниченную по масштабам) войну против советского союзника — Вьетнама. О реакции Москвы я уже упоминал. Она была не только политической (резкое и грозное требование немедленного прекращения агрессии и вывода войск из Вьетнама), но и военной (форсированные поставки оружия Вьетнаму и молниеносная переброска больших контингентов войск на Дальний Восток). Пекинское руководство почувствовало, что Москва настроена серьезно. Возможно, это и способствовало тому, что китайско-вьетнамская война вскоре как-то сама собой угасла.

В общем-то, я думаю, что ни советское, ни китайское руководство при всех угрожающих заявлениях и действиях с обеих сторон в действительности войны между своими странами не хотело и всерьез к ней не готовилось. Я наблюдал за Брежневым и его окружением как во время стычек на Даманском в 1969 году, так и десятью годами позже, когда китайцы вторглись во Вьетнам. Не было признаков ни особой нервозности, ни тем более паники. Думаю, обе стороны в общем держали ситуацию под контролем. И не случайно, когда Пекин в апреле 1979 года денонсировал Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи с СССР, он тут же предложил переговоры об урегулировании нерешенных вопросов и улучшении отношений, на что СССР ответил согласием. Постепенно атмосфера в отношениях начала выравниваться. Накал враждебной пропаганды заметно снизился. Стали восстанавливаться экономические связи, хотя крупным шагам в этом плане еще противился Громыко, опасавшийся увеличения военного потенциала Китая. Для существенного изменения обстановки требовался какой-то заметный шаг. И Брежнев пошел на такой шаг — весной 1982 года, за несколько месяцев до конца своей жизни.

Время было выбрано не случайно. Дело в том, что отношения СССР с США и Западной Европой, казалось, совсем уже было наладившиеся (подписание Договора ОСВ-2 и др.), вдруг дали большой сбой и перешли в новое серьезное обострение. Немалую роль сыграло решение НАТО разместить в Европе — в том числе и в ФРГ (в ответ на наши ядерные ракеты средней дальности СС-20) — американские ракеты «Першинг-2» с подлетным временем 7—8 минут до городов в европейской части СССР. А еще больше подействовал неожиданный ввод советских войск в Афганистан. СССР снова, как в самые суровые времена «холодной войны», оказался в изоляции. И вот тут-то, опираясь на осторожно подготовленный ранее задел, попытаться выровнять отношения с Пекином было бы очень кстати.

Брежнев это чувствовал, мы на эту тему с ним говорили. Андропов, с которым я советовался, тоже проявлял понимание. Сопротивлялись Громыко, весь еще в пылу «антикитайской инерции», и десятилетиями оттачивавшие свое антикитайское политико-идеологическое оружие международники из аппарата ЦК КПСС, кото-

рым каждое доброе слово, обращенное к китайскому руководству, казалось кощунством.

Тем не менее, когда в марте 1982 года Брежневу предстояло лететь в Ташкент и выступать там (кажется, в связи с вручением очередного ордена Узбекистану), я решился предложить ему следующую вставку по Китаю (предварительно обговорив ее кое с кем из своих коллег):

«Принципиальная политика нашей партии и Советского государства в вопросе советско-китайских отношений ясно изложена в решениях XXV и XXVI съездов КПСС. Здесь мне хотелось бы дополнительно напомнить о следующих моментах.

Первое. Несмотря на то, что мы открыто критиковали и критикуем как не соответствующие социалистическим принципам и нормам многие аспекты политики (особенно внешней) китайского руководства, мы никогда не пытались вмешиваться во внутреннюю жизнь Китайской Народной Республики. Мы не отрицали и не отрицаем наличия в Китае социалистического общественного строя. Хотя смычка Пекина с политикой империалистов на мировой арене противоречит, конечно, интересам социализма.

Второе. Мы никогда не поддерживали и не поддерживаем ни в какой форме так называемую «концепцию двух Китаев», полностью признавали и признаем суверенитет КНР над островом Тайвань.

Третье. Со стороны Советского Союза не было и нет никакой угрозы Китайской Народной Республике. Мы не имели и не имеем никаких территориальных претензий к КНР и готовы в любое время продолжить переговоры по имеющимся пограничным вопросам в целях достижения взаимоприемлемых решений. Мы готовы также обсуждать вопрос о возможных мерах по укреплению взаимного доверия в районе советско-китайской границы.

Четвертое. Мы хорошо помним те времена, когда Советский Союз и народный Китай объединяли узы дружбы и товарищеского сотрудничества. Мы никогда не считали состояние враждебности и отчуждения между нашими странами нормальным явлением. Мы готовы договариваться без всяких предварительных условий о приемлемых для обеих сторон мерах по улучшению советско-китайских отношений на основе взаимного уважения интересов друг друга и обоюдной пользы,— и, разумеется, не в ущерб третьим странам. Это касается как экономических, научных, культурных, так и политических отношений — по мере того, как обе стороны будут готовы к тем или иным конкретным шагам в любой из этих сфер»[15].

Брежнев принял этот текст без каких-либо сомнений и поправок и включил его в свою ташкентскую речь. К нам потом стала поступать информация о том, что китайское руководство восприняло высказывание Л. И. Брежнева с интересом и внимательно его изучало. Полагаю, есть основания считать, что оно сыграло полезную роль для дальнейшего процесса последовательного оздоровления отношений между СССР и КНР.

Проследить за подходом Брежнева к проблеме отношений с Кубой очень интересно. Его позиция в этом вопросе неплохо, на мой взгляд, иллюстрирует тактику Леонида Ильича во внешнеполитических делах вообще.

До своего прихода к руководству Брежнев с кубинскими делами, насколько мне известно, не сталкивался, если не считать карибского кризиса в октябре 1962 года. В те дни Брежнев, как и другие члены Политбюро, ночевал в своем кремлевском кабинете и чуть не круглосуточно участвовал в проводимых растерявшимся Хрущевым совещаниях. Саму затею с размещением ракет на Кубе Брежнев, я знаю, не одобрял, хотя никаких возражений не высказывал. Перспектива обмена ядерными ударами с США бросала его (как, наверное, и Хрущева) в дрожь. Особенно когда наш посол прислал телеграмму, в которой говорилось, что Фидель призывал советское руководство ударить по Америке, выражая готовность кубинской стороны «стоять насмерть».

Когда кризис нашел все-таки свое мирное разрешение, Брежнев, как и другие члены советского руководства, в своих публичных выступлениях, естественно, оправдывал все происшедшее, делая упор на то, что с обеих сторон возобладал разум и что в конечном итоге удалось добиться от американцев гарантии ненападения на Кубу. Однако где-то в глубине сознания Леонида Ильича, по-видимому, надолго осталось понимание того, что проблема Кубы — весьма взрывоопасная и с ней надо обращаться крайне осторожно.

Так он и поступал. Сохраняя полностью близкие, дружественные отношения с Кубой и щедро поддерживая ее экономически, Брежнев долго уходил от того, чтобы афишировать свою близость с Фиделем Кастро и поддержку его революционных концепций в отношении Латинской Америки.

Не случайно ведь Брежнев, начавший сразу же после своего прихода к власти поездки по союзным социалистическим странам, на Кубу приехал лишь *через десять лет* — в 1974 году. Правда, в 1971 году он направил туда Косыгина, но это скорее подчеркивало главным образом экономический характер связей с островом Свободы. Фидель был приглашен с официальным визитом в Моск-

ву летом 1972 года, то есть уже после того, как Брежнев наладил отношения не только с Францией и ФРГ, но и с США (визит Никсона в Москву). А сам Брежнев решил направиться с визитом на Кубу лишь в январе 1974 года, когда состоялся его ответный визит в Вашингтон и уже год как закончилась отравлявшая международную атмосферу война во Вьетнаме.

Я был в числе сопровождавших Л. И. Брежнева на Кубу и видел, как все это происходило. Брежнев был явно рад встрече с лидером Кубы на его родной земле. Он относился к Фиделю с искренней, неподдельной теплотой, с живым любопытством рассматривал все, что удалось увидеть за время краткого визита: города, строительство, школу-интернат, памятные места кубинской революции (казармы Монкада и др.). Огромное впечатление произвел на Леонида Ильича более чем миллионный митинг на площади Революции в Гаване, подлинный энтузиазм гигантской аудитории. Брежнев чувствовал себя на подъеме, в контакте с окружавшим его морем людей. Чтобы уберечься от палящего тропического солнца, он с удовольствием (и к восторгу участников митинга) надел предложенную Фиделем широкополую соломенную шляпу-сомбреро.

Но вот речь, с которой выступил гость на этом митинге, далеко не во всем гармонировала с горячим революционным энтузиазмом тех, кто его слушал. Конечно, текст ее готовился заранее в Москве — продуманно и тщательно. Каждое слово взвешивалось на весах международного резонанса и восприятия на Кубе. Но даже ощущая на себе высокий революционный накал аудитории, Брежнев, при всей его эмоциональной восприимчивости, все же произнес свою речь, хотя и очень дружественно, но спокойно, уверенно и даже, я бы сказал, твердо.

Воздав должное славной истории кубинской революции и самоотверженному труду граждан свободной Кубы, Брежнев затем перешел к малопривычным для кубинцев темам невмешательства в дела других стран, укрепления мира, налаживания мирного сосуществования с капиталистическими странами, в том числе и с США. При этом весь этикет был соблюден: он не поучал кубинцев, а просто рассказывал им о советской внешней политике. Сложность положения заключалась, однако, не только в том, что Брежнев приехал на Кубу вскоре после очередной дружественной встречи с Никсоном

(в США, июнь 1973 г.), но и почти сразу после контрреволюционного переворота Пиночета в Чили, осуществленного при явной поддержке американцев.

Чтобы показать конкретнее, с каким же «посланием» он приехал к кубинцам, приведу несколько выдержек из его речи на площади Революции в Гаване 29 января 1974 г.:

«Советский Союз считал и считает недопустимыми, более того — преступными любые попытки «экспорта контрреволюции», любое вмешательство извне с целью подавления суверенной воли революционного народа. Равным образом коммунисты не являются и сторонниками «экспорта революции». Революция вызревает на внутренней почве той или иной страны. Как и когда она возникает, какие формы и методы будут при этом использованы — это дело самого народа этой страны»[16].

И далее — прямо об отношениях с буржуазными странами:

«В конце концов капиталистическому миру пришлось взглянуть правде в глаза. Ему пришлось признать невозможность решения военным путем исторического спора между капитализмом и социализмом. В этих условиях наиболее дальновидные руководители буржуазных стран сочли благоразумным откликнуться на предложения социалистических государств о мирном сосуществовании.

В итоге за последние годы произошел благоприятный поворот в отношениях Советского Союза и других социалистических стран с Францией, ФРГ, Соединенными Штатами, а также некоторыми другими буржуазными государствами». И далее:

«Но понятие мирного сосуществования не ограничивается просто признанием того, что война не подходит более как средство разрешения споров между государствами, особенно между двумя социальными системами. В наши дни все более крепнет убеждение, что необходимо активное и плодотворное сотрудничество между всеми государствами»[17].

И наконец, уже прямо об Америке:

«...Начавшееся улучшение советско-американских отношений полезно для всеобщего мира. Мы будем и дальше следовать такой нашей принципиальной линии в отношениях с США, имея в виду, разумеется, что другая сторона будет отвечать взаимностью»[18].

Конечно, трудно было ожидать, что приведенные выше положения будут с восторгом приняты гражданами страны, по-прежнему подвергавшейся грубейшему политическому нажиму и экономической блокаде Вашингтона и на территории которой, вопреки ясно выраженной воле кубинского народа и его правительства, продолжала сохраняться военная база США. Восторженности не было, приведенную часть речи Брежнева (в отличие от других ее частей) участники митинга не встретили аплодисментами (если не считать жидких хлопков в самом конце последней фразы). Но Брежнев и не рассчитывал на это. Ему важно было не только и, пожалуй, не столько разъяснить кубинцам смысл наших внешнеполитических шагов в тот период, сколько убедить Вашингтон и другие столицы стран НАТО, что сохранение дружественных связей СССР с Кубой не представляет для них опасности, что Москва, наоборот, стремится повлиять на политику Гаваны в сторону большей умеренности, сдержанности. Думаю, в общем эта цель была достигнута: каких-либо тревог Запада поездка Брежнева на Кубу не вызвала.

Характерно, что все это произошло именно публично. В ходе переговоров за столом, лицом к лицу с кубинскими руководителями Брежнев, насколько я помню, эту тему особенно не развивал.

Печать сдержанности и оглядки на реакцию Запада лежала и на документе, который был принят сторонами в заключение визита. Это был не политический, союзнический договор, а советско-кубинская декларация, в общей форме намечавшая программу дальнейшего развития всесторонних связей между обеими странами и их правящими партиями, причем СССР подтвердил свою готовность и впредь оказывать Кубе содействие и поддержку в построении новой жизни. Во внешнеполитической части стороны, разумеется, приветствовали прекращение войны во Вьетнаме как победу вьетнамского народа и резко осудили фашистский переворот в Чили. Большего от итогов этого единственного визита Брежнева на Кубу тогда ожидать было нельзя, и это большее вовсе не входило в намерения советской стороны.

Я не собираюсь давать здесь характеристику политики и действий Л. И. Брежнева в отношении многих капиталистических государств, с которыми ему приходилось так или иначе иметь дело. Во-первых, по чисто физической причине: текст получился бы слишком большим. Во-вторых, не ко всем частям этой работы мне приходилось лично иметь непосредственное отношение: было ведь определенное разделение труда между помощниками генсека, занимавшимися внешнеполитическими делами, да и не все контакты были равнозначны по своей важности для политической стратегии советского руководства, возглавляемого Брежневым.

Взять хотя бы две такие крупнейшие державы, как Великобритания и Япония. Отношениям с ними придавалось немалое значение, особенно экономическим. Брежнев вел переговоры с британскими премьерами, принимал в Москве японского премьера Танаку (и даже пошел на небольшую уступку ему в одной формуле совместного коммюнике, косвенно намекавшей, как считали японцы, на проблему Южных Курил). Но каких-либо крупных соглашений Брежнев с этими державами не подписывал и с визитами в них не бывал. Для него, сосредоточившего главные усилия на закреплении внутриевропейских границ, Англия представлялась слишком «периферийной» и слишком подчинявшей свою политику Америке. Ну а с Японией основным препятствием были настойчивые территориальные претензии Токио, об удовлетворении которых Брежнев даже и думать не желал.

Поэтому я остановлюсь на самых главных, решающих, с моей точки зрения, направлениях действий Брежнева по отношению к Западу. Это те самые направления, которые он сам назвал, когда говорил в своей речи в Гаване о «благоприятном повороте» в отношениях СССР с **Францией, ФРГ** и **Соединенными Штатами.** Причем именно в такой последовательности, ибо это оправдано и политически, и исторически.

Так получилось — исторически вполне естественно и логично,— что, входя все глубже в «большую» политику и продолжая свою главную линию на закрепление итогов второй мировой войны и стабилизацию европейского мира на этой основе, Брежнев, вслед за своими социалистическими союзниками в Европе, обратил внимание в первую очередь на Францию. С ней у Советского Союза в этой области были наиболее совпадающие интересы, наиболее близкие подходы ко многим ключевым проблемам. И начинать дебютанту в большой международной политике Брежневу именно с Франции было легче всего. Для него эта страна во многих отношениях послужила «окном в Европу».

Прежде всего де Голль. Это был идеальный партнер: великий политик, смело выступивший против германского реваншизма (о незыблемости послевоенных границ в Европе он заявил публично еще в 1959 г.), против ядерного вооружения ФРГ в любой форме, в том числе и через НАТО, против агрессии США во Вьетнаме. Политик, имевший мужество положить конец многолетней кровавой войне Франции в Алжире, выведший Францию (январь 1966 г.) из военной организации НАТО. Политик, по словам которого Советский Союз и Франция самой историей предназначены служить делу разрядки напряженности в Европе и мире.

Понятно поэтому, что первым видным государственным деятелем Запада, приглашенным в СССР новым, брежневским руководством летом 1966 года (в продолжение контактов, установленных ранее Хрущевым), стал именно президент Франции Шарль де Голль.

Принят он был крайне торжественно. Поездка по стране (аж до Новосибирска) продолжалась несколько дней. Всего генерал произнес в Советском Союзе 20 публичных речей, включая выходившую далеко за рамки нашего обычного протокола речь перед москвичами с балкона здания Моссовета, которую де Голль закончил фразой по-русски: «Да здравствует Россия!»

Подчеркивая неотделимость СССР от дел и судеб Европы, де Голль настойчиво использовал свой знаменитый лозунг «Европа от Атлантики до Урала».

Многочисленные переговоры с президентом Франции

вела вся руководящая «тройка» — Брежнев, Косыгин, Подгорный. На самих переговорах мне быть не довелось, но из их материалов знаю, что с нашей стороны беседы шли под очевидным руководством Брежнева, в котором де Голль, как он позже выразился, увидел «твердого» руководителя. Атмосфера бесед была теплой и уважительной. Контакты, завязанные в начале 60-х годов Хрущевым, были закреплены и развиты. Стороны договорились, что СССР и Франция должны внести решающий вклад в налаживание сотрудничества между всеми странами Европы, международной разрядки, осудили войну США во Вьетнаме. Было решено проводить впредь регулярные политические консультации, а также установить линию прямой связи между Кремлем и Елисейским дворцом.

Все это было принципиально важно для дальнейшей европейской политики Москвы. Это было фундаментальное начало. Поэтому Леонид Ильич был очень доволен результатами визита де Голля и отзывался об этом человеке, можно сказать, с восхищением.

В дальнейшем последовал регулярный обмен визитами между Брежневым и президентами Франции — Помпиду и Жискар д'Эстеном. Каждая такая встреча позволяла сделать существенный шаг вперед в развитии советско-французских отношений — как политических, так и экономических.

Если говорить об укреплении личных контактов, то, пожалуй, наиболее удачно они складывались у Брежнева с Помпиду. Спокойный, доброжелательный характер Жоржа Помпиду, его близкий к «народному» стиль нравились Леониду Ильичу, он чувствовал себя с Помпиду как-то раскованно.

Особенно запомнился визит Л. И. Брежнева во Францию в октябре 1971 года — первый визит генсека на Запад. Не случайно, конечно, именно в Париж. Да, пожалуй, и выбор времени был далеко не случайным: в ту пору политические позиции советского руководителя на переговорах с французами были существенно подкреплены большими успехами в улучшении отношений с ФРГ. Ведь были уже подписаны Московский договор с Бонном, соглашение о Западном Берлине, прекрасно прошли месяцем ранее переговоры с Брандтом в Крыму. Все это делало французскую сторону заинтересованной в успехе франко-советской встречи в верхах, чтобы «не отстать»

от немцев. Такова ведь была постоянная диалектика внутри этого европейского треугольника.

В протокольном отношении визит Брежнева в Париж тоже был своего рода «премьерой»: ведь впервые Франция официально принимала руководителя великой державы, не занимавшего высшего государственного поста де-юре. Брежнев был генеральным секретарем ЦК партии, а по государственной линии в то время — лишь членом Президиума Верховного Совета СССР. Как-то примут его весьма щепетильные в вопросах государственного протокола французы? Леонид Ильич немножко нервничал, это чувствовалось. Однако все прошло отлично: прием был организован «на высшем уровне», со всеми почестями, полагающимися главе государства. Помпиду прекрасно понимал реальное соотношение сил в руководстве СССР. А к Брежневу в своих речах обращался: «Господин генеральный секретарь». Таким образом был как бы утвержден международный официальный статус руководства КПСС.

Результаты переговоров были существенными. Были подписаны основополагающий политический документ «Принципы сотрудничества» между СССР и Францией (примерно аналогичный тому, что был подписан с Никсоном в мае 1972 г.), межправительственное соглашение о развитии экономического, технического и промышленного сотрудничества; стороны высказались за ускорение подготовки и проведения общеевропейского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (что для европейской стратегии Брежнева было весьма важно). Брежнев считал также немалым достижением, что в упомянутых «Принципах сотрудничества» было подчеркнуто, что проводимая СССР и Францией политика согласия и сотрудничества «призвана стать постоянной политикой в их отношениях и постоянным фактором международной жизни»[19].

Как и было условлено, советско-французские контакты на высшем уровне действительно стали регулярными. В 1973—1975 годах состоялось шесть таких встреч, в том числе Брежнев еще дважды прилетал в Париж.

Чисто психологически мне лично особенно запомнилась последняя встреча Брежнева с Помпиду в Пицунде в марте 1974 года, за несколько недель до смерти президента Франции.

Помпиду прибыл смертельно больной (лейкемия). Об

этом знало его окружение и, видимо, он сам. Через контакты между врачами узнали и наши. В резиденции президента рядом с его спальней круглосуточно дежурила медицинская сестра. На переговоры президент появлялся слегка подрумяненным, чтобы скрыть страшную бледность.

И все-таки этот мужественный человек принял приглашение Брежнева, пролетел тысячи километров до побережья Черного моря и провел несколько часов переговоров по целому спектру серьезных политических проблем, причем говорил все время четко, точно и с юмором. Вновь было со всей определенностью подтверждено сходство позиций сторон по германскому вопросу, особенно по недопущению ядерного вооружения Германии. Запомнилась фраза Помпиду: «За этими молодчиками (за немцами.— *Авт.*) нужен глаз да глаз как на Западе, так и на Востоке».

А в своем заключительном тосте на обеде в его честь Жорж Помпиду сказал: «Вы знаете нравы газетчиков, особенно наших. Им подавай сенсацию. Если, например, поезд прибыл по назначению спокойно и точно по расписанию, то это никого не интересует. Но вот если крушение, да еще с жертвами, то это уже лакомый кусочек. Хочу предложить тост за то, чтобы поезд советско-французской дружбы шел к намеченной цели спокойно и уверенно, без злоключений и никогда не давал пищи любителям нездоровых сенсаций».

В течение этого визита Брежнев относился к Помпиду с особой теплотой и заботой, постоянно справлялся, все ли условия обеспечены для комфорта и лечения президента.

Встречи Брежнева с **Жискар д'Эстеном**, вполне дружественные и конструктивные, были более сдержанными и официальными по форме. Запомнился, однако, такой случай. В мае 1980 года по инициативе Жискар д'Эстена состоялись встреча и беседа с Брежневым в Варшаве (куда Брежнев прибыл на совещание Политического консультативного комитета стран Варшавского Договора). Цель предложенной встречи — «сверка часов», оценка ситуации. Самое важное состояло в том, что это происходило в период, когда лидеры стран НАТО под руководством США объявили своего рода политическую (и экономическую, впрочем, тоже) блокаду СССР из-за ввода советских войск в Афганистан. Отменялись визи-

ты, снималась с повестки дня ратификация подписанных договоров (например, ОСВ-2). Встреча с Брежневым в Варшаве выглядела как несогласие Франции с подобной тактикой.

Жискар д'Эстен, конечно, высказал свое несогласие с акцией советского руководства в Афганистане, но в целом беседа была доброжелательной и конструктивной. А главное для той ситуации — она состоялась. Несомненно благоприятной для советской стороны была и публичная оценка итогов варшавской встречи, данная Жискар д'Эстеном. Он заявил: «Обмен мнениями, состоявшийся на переговорах, полезен для сохранения мира и разрядки. Переговоры с Брежневым подтвердили, что существует добрая воля к сотрудничеству и пониманию, необходимость продолжения диалога»[20].

Вызов, брошенный этой встречей Жискара с Брежневым в Варшаве картеровской политике политической «блокады» СССР, был настолько очевиден, что Вашингтон не преминул высказать Франции свое неудовольствие по этому поводу. Со своей стороны, Париж реагировал на американское внушение достаточно резко, заявив — устами министра иностранных дел Франсуа-Понсе,— что Франция проводит независимую внешнюю политику. «Она ведет переговоры с теми, с кем считает нужным и когда она считает нужным. Для этого ей не требуется чье-либо разрешение»[21].

Таким образом, для Брежнева эта встреча оказалась существенным политическим выигрышем. Последовательная политика добрых контактов с Францией, проводившаяся им в течение полутора десятилетий, дала свои плоды и в данном случае.

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ

В ряде советско-французских документов и в речах государственных деятелей обеих стран мы часто находим слова о том, что обе стороны придают «приоритетное» значение своим взаимоотношениям. В каком-то смысле — и в большой исторической перспективе, и конкретно для Брежнева в первый период его внешнеполитической деятельности — это, конечно, правильно. Я об этом уже говорил. Но если вникнуть поглубже в суще-

ство внешнеполитических акций, предпринимавшихся Брежневым на европейской арене, то станет ясно, что главной их целью было установление таких отношений СССР с Западной Германией, которые гарантировали бы прочный мир на континенте на основе территориального устройства, сложившегося в результате второй мировой войны. Словом, прочные границы — прочный мир — такова была «генеральная линия» европейской политики Брежнева. Для человека, прошагавшего в рядах армии всю войну от начала до конца, видевшего все ужасы, которые она принесла на нашу землю, это, видимо, естественная позиция. (Другое дело, что в отношении ФРГ, особенно на более позднем этапе, в 70-е годы, очень большую роль играло также и развитие экономических связей, весьма важных для СССР и приобретших весьма широкие масштабы.)

Что же касается увязки «германской проблемы» с опытом минувшей войны в сознании Леонида Ильича, то мне вспоминается такой небольшой курьезный случай. Когда в мае 1973 года он отправился в ФРГ со своим первым визитом, мне пришлось его сопровождать. Говорю «пришлось», так как за неделю до этого ухитрился сломать руку. Но по указанию Брежнева вынужден был покинуть больничную койку и, закрепив загипсованную руку на повязке через плечо, присоединился к отбывающей «команде». Когда мы прибыли в Бонн (точнее, Кёльн, где был аэродром), Брежнева у самолета встретил хозяин — канцлер Вилли Брандт. Они тепло поздоровались, и вдруг я вижу, что Брежнев оглядывается, кого-то ищет глазами. Увидев меня, поманил, подвел к Брандту и, указывая на мою сломанную руку, изрек: «Смотри, Вилли, я тебе его привез, чтобы ты не забывал про вторую мировую войну!»

Брежневу повезло: его партнером в советско-германских делах оказался с конца 60-х годов именно **Вилли Брандт** — человек кристальной честности, искреннего миролюбия и твердых антифашистских убеждений, не только ненавидевший нацизм, но и боровшийся против него в годы войны. Когда он после сентябрьских выборов 1969 года возглавил новое правительство ФРГ (в состав которого вместе с социал-демократами вошли и свободные демократы, т. е. либералы), то в правительственном заявлении, с которым новый федеральный канцлер выступил в бундестаге, было сказано, что народ ФРГ

«нуждается в мире в полном смысле этого слова также и с народами Советского Союза, со всеми народами европейского Востока. Мы готовы к честной попытке достичь взаимопонимания»[22].

И эта честная попытка, целиком поддержанная советским руководством, началась почти сразу же, без потери времени. По поручению своего политического руководства дипломаты СССР и ФРГ приступили к напряженной и кропотливой работе по подготовке текста политического договора, который должен был поставить отношения между обеими странами, а вместе с этим и всю политическую атмосферу в Европе на новую, гораздо более здоровую основу, чем это было до сих пор.

С нашей стороны эта работа, проходившая под внимательным присмотром Л. И. Брежнева, была проделана в основном МИД. Громыко имел 15 встреч с министром иностранных дел ФРГ Шеелем для обсуждения текста. И, наверное, еще чаще садились вместе за стол два человека, на плечи которых легла основная тяжесть подготовки проекта исторического договора,— член коллегии МИД СССР, заведующий 3-м Европейским отделом МИД В. М. Фалин и советник федерального президента ФРГ Эгон Бар. Через несколько месяцев текст договора был готов, согласован между министрами, и по приглашению советского руководства Брандт прибыл в Москву для подписания документа. 12 августа 1970 г. в торжественной обстановке великолепного Екатерининского зала Московского Кремля, в присутствии всего советского руководства во главе с Л. И. Брежневым договор был подписан. С советской стороны (поскольку это был межправительственный документ) его подписал А. Н. Косыгин.

Этот договор между СССР и ФРГ, вошедший в историю под простым названием «Московский договор», имел громадное принципиальное значение. Он стал действительно поворотным пунктом не только в отношениях между двумя странами, но и в развитии всей обстановки в Европе. Согласно тексту договора, обе стороны, еще со времен войны сохранявшие чувства неприязни и подозрительности друг к другу, разделенные откровенно реваншистскими амбициями официального Бонна, взяли на себя обязательство содействовать разрядке напряженности, разрешать свои споры исключительно мирными средствами, *неукоснительно соблюдать территориаль-*

ную целостность всех государств в Европе в их нынешних границах. И далее шло главное, самое конкретное: «Стороны рассматривают как нерушимые сейчас и в будущем границы всех государств в Европе, как они проходят на день подписания Договора, в том числе линию Одер — Нейсе, которая является западной границей ПНР, и границу между ФРГ и ГДР»[23].

Это было громадное достижение. Отстояли жизненно важные интересы не только Советского Союза, но и ГДР, Польши, Чехословакии. Недаром вслед за Московским договором были подписаны соответствующие договоры ФРГ с Чехословакией и Польшей, а также договор о политических отношениях с ГДР. Собственно, все основные цели, к которым стремился Брежнев в своей европейской политике на протяжении долгих лет, были достигнуты. В Московском договоре было заключено, как в еще не до конца проросшем зерне, и основное содержание будущего Хельсинкского акта Общеевропейского совещания 1975 года. Я уж не говорю о том, какое влияние это оказало на Вашингтон, заставив его посерьезнее взглянуть на свою политику в отношении СССР. Поэтому, когда Брежнев и Брандт в конце визита Леонида Ильича в ФРГ в мае 1973 года охарактеризовали Московский договор как историческую веху в отношениях между двумя странами, это было, пожалуй, слишком мало: Московский договор стал во многом исторической вехой в развитии международных отношений в целом.

Понятно поэтому, что, когда весной 1972 года в бундестаге и политических кругах ФРГ в целом развернулась острая борьба вокруг вопроса о ратификации Московского договора (последователи Аденауэра и другие правые силы всячески стремились ратификацию сорвать), Брежнев пребывал в состоянии крайнего напряжения относительно исхода этой борьбы. Это было в мае, Леонид Ильич находился тогда с группой сотрудников в Завидове, готовясь к своей первой встрече с Никсоном. И я хорошо помню, как он, нервно покуривая, постоянно заходил к нам в зал справиться, нет ли каких новостей насчет ратификации в Бонне. (Кстати, сорвись она — и исходные позиции Брежнева на переговорах с американским президентом оказались бы значительно ослабленными.) Всеобщий вздох облегчения послышался, когда из Москвы раздался звонок, сообщивший о ратификации. Брежнев сразу повеселел. Ужин в этот ве-

чер за большим столом в Завидове (Леонид Ильич всегда столовался вместе со всеми) прошел на подъеме.

С моей точки зрения, Московский договор 1970 года между СССР и ФРГ, помимо его величайшей внешнеполитической значимости по существу, уникален и еще в одном отношении. Это был не компромисс, при котором решение достигается путем взаимных уступок обеих сторон, как, например, при заключении Государственного договора по Австрии в 1955 году или четырехстороннего соглашения о Западном Берлине в 1971 году. В данном случае Советскому Союзу фактически *вообще не пришлось ничего уступать*. Мы давно добивались всего, что содержал договор. Но это не означало и проигрыша в чем-то другой стороны. Если Брандт сделал уступку, то только в смысле отказа от аденауэровской и постаденауэровской реваншистской политики в отношении СССР и его союзников. Но, как оказалось, эта «уступка» обернулась большим политическим выигрышем для Брандта как государственного деятеля и, можно сказать, обессмертила его имя в истории Европы, открыв всему континенту путь к новой, более здоровой и гуманной эре международных отношений. Так что проигравших не было, выигрыш был обоюдный, и прежде всего выиграл прочный мир в Европе.

В начале сентября следующего, 1971 года, как бы в продолжение начавшейся разрядки в германских делах, было подписано соглашение между СССР, США, Англией и Францией по вопросам, касавшимся Западного Берлина, который, будучи все еще оккупирован войсками трех западных держав и связан тысячами нитей в повседневной жизни с ФРГ, был в то же время окружен территорией ГДР, находился, можно сказать, в центре этой республики — ситуация, которая многократно приводила к острым кризисам между Западом и Востоком. Достигнутое соглашение было действительным компромиссом, при котором каждая из сторон (включая и оба германских государства, формально не участвовавших в нем) получила что-то для себя важное. Для СССР и ГДР важнее всего было положение о том, что Западный Берлин «не является частью ФРГ и не управляется ею».

И вот теперь, когда юридически дорога к серьезному улучшению отношений с ФРГ на основе взаимного доверия и взаимной выгоды была расчищена, Брежнев счел, что наступило время для углубления личных контактов

с руководством Бонна. Федеральный канцлер Вилли Брандт был приглашен нанести дружественный рабочий визит в Крым, где тогда на госдаче близ Ореанды, как обычно, проводил свой отпуск Л. И. Брежнев. Это был во многих отношениях необычный визит, он запомнился мне хорошо.

То, что главной целью встречи было желание обеих сторон поближе узнать друг друга, проявилось с самого начала и было видно на протяжении всего визита. Начать с того, что во встрече и переговорах не принимали участия ни министры иностранных дел — Громыко и Шеель, ни послы обеих стран. Только Брежнев, Брандт и их ближайшие помощники (с немецкой стороны — прежде всего Эгон Бар).

Встретить Брандта на аэродроме в Симферополе Брежнев поехал сам, хотя по протоколу это, вероятно, было не обязательно, да и путь от Ореанды был не близкий — около 76 километров. Не чураясь скопившихся на аэродроме журналистов, гость и хозяин, излучая хорошее настроение, подошли к ним и весьма доброжелательно поговорили о благоприятных перспективах советско-западногерманских отношений. Причем наиболее активным в беседе был Брежнев.

Затем хозяин предложил гостю зайти «на несколько минут, передохнуть перед дальней поездкой» в находившийся тут же у края летного поля гостевой домик. Предполагалось, что после краткого отдыха все поедут в Ореанду и в тот же день (было что-то около двух часов пополудни) проведут первую часть переговоров — до ужина. Такова была программа, подготовленная протокольной службой.

На деле все обернулось иначе. В просторной столовой домика уже был накрыт громадный стол. Причем накрыт с истинно украинским гостеприимством и размахом: обилие самых разнообразных закусок и фруктов, всевозможных напитков, в том числе различные виды горилки, водки, перцовки и т. п. К компании тут же присоединились представители местных властей — республиканских украинских и областных крымских. Вокруг стола забегали официантки в расшитых украинских кофточках с тарелками борща, пампушками, галушками, варениками, пельменями и бог знает еще с чем... «Короткий отдых» превратился в грандиозный, но совершенно неформальный обед. Гости с заметным удовлетво-

рением отдавали должное богатому угощению. Завязалась оживленная беседа, посыпались шутки, веселые истории, Брежнев и Брандт обменялись парой анекдотов. Все это перемежалось с интересовавшими гостей сведениями о Крыме, о делах на Украине и т. п. Но — никаких внешнеполитических переговоров, полная расслабленность. Импровизированный обед начал понемногу переходить в ужин, застолье продолжалось, по-моему, что-то около пяти часов. Причем, надо сказать, все шло как-то легко и естественно, без всякого тягостного для какой-либо из сторон принуждения.

Когда наконец колонна автомашин двинулась в направлении Южного берега Крыма, было уже довольно темно. В Ореанду прибыли совсем вечером, о начале переговоров речи, конечно, быть не могло. Гости и хозяева разъехались по своим резиденциям для отдыха и сна. Брандта разместили совсем рядом с дачей Брежнева (госдачи № 1 и № 2), у самого берега моря.

Утро следующего дня — ласковое, солнечное сентябрьское крымское утро между спокойным голубовато-зеленым морем и высокой грядой живописных скал — принесло с собой новую ломку всех традиционных норм, тщательно разработанных заранее мидовским протоколом.

Едва появившись и наскоро чего-то перекусив, Брежнев, облаченный в самую курортную форму, то есть в плавки, подозвал меня и сказал: «Пошли к Вилли, он, наверное, тоже уже вышел к морю». И вот по выложенной бетонными плитами тропинке, идущей вдоль кромки пляжа, мы, отбросив всякие церемонии, направились к купальному домику дачи Брандта — на расстоянии примерно трехсот метров от брежневского. И действительно, канцлер тоже уже был на пляже в купальном облачении (или об этом заранее уже информировала вездесущая охрана?). Встретились очень весело, обнялись. Не помню, купались ли они в этот раз вместе, только вскоре оба уселись в находившемся рядом и обращенном к морю небольшом тенистом гроте с простым деревянным столом и стульями. Туда же подсели и мы с Баром, и первая стадия переговоров началась.

Встречались затем несколько раз уже в более деловой обстановке. Были и формальные трапезы с тостами, как полагается. Но надо всем веял какой-то легкий, веселый дух взаимной приязни и доверия. Было видно, что

Брандт очень понравился Брежневу как человек, да и сам он, видимо, был доволен общением с хозяином.

Содержание бесед сводилось в общем к обсуждению дальнейших перспектив советско-западногерманских отношений и европейской разрядки на фоне недавно заключенных принципиально важных соглашений. Итоги бесед неплохо отражены в опубликованном совместном коммюнике. Оба государственных деятеля высказались, в частности, за поддержание регулярных контактов между Москвой и Бонном на всех уровнях, за ускорение созыва общеевропейского совещания (что Брежнев считал очень важным) и, наконец, за одновременное принятие ФРГ и ГДР в ООН. Это последнее уже само по себе говорило о серьезном сдвиге, происшедшем в европейской политической атмосфере.

Еще одна небольшая, но характерная для стиля этой крымской встречи деталь. Перед очередной встречей «шефов» мы не раз садились с Баром вдвоем (по их поручению, конечно) и как бы устраивали предварительную, совершенно неформальную и доверительную «прогонку» намечавшихся к обсуждению тем, чтобы по возможности избежать каких-либо недоразумений или ненужных осложнений в ходе главных переговоров. Такая практика оказалась полезной.

Для иллюстрации приведу лишь один пример. Бар сказал, что на Брандта оказывается нажим определенными кругами в Бонне, чтобы он поставил перед Брежневым вопрос о досрочном освобождении из заключения «по гуманным соображениям» (преклонный возраст и слабое здоровье) военного преступника Р. Гесса, бывшего заместителя Гитлера по нацистской партии. Гесс был приговорен международным Нюрнбергским трибуналом как один из главных военных преступников к пожизненному заключению и содержался в тюрьме под совместной охраной четырех держав-победительниц. «Как вы считаете, имеет для Брандта смысл затронуть этот вопрос в беседе?» — спросил Бар. Мой ответ был категоричным: «Затрагивайте, если хотите омрачить атмосферу беседы. Но результата не будет: помилование Гесса не понял бы и не принял бы не только сам Брежнев, активный участник войны по отражению гитлеровской агрессии, но и советское общественное мнение, миллионы людей, они слишком хорошо знают и помнят все страдания, которые причинила нашей стране эта агрессия».

«Ладно,— сказал Бар,— я понимаю». И вопрос был снят.

В целом крымская встреча, безусловно, помогла установлению между Брежневым и Брандтом добрых отношений, взаимного доверия. Они и в дальнейшем довольно легко находили общий язык даже в весьма сложных и деликатных вопросах. И вообще, как горько и обидно, что произошел этот нелепый инцидент с проникновением шпиона из ГДР в секретариат Брандта, приведший к его уходу с поста федерального канцлера в 1974 году. Вполне возможно, что, не будь этого, отношения между СССР и ФРГ развивались бы еще более успешно и динамично.

Что же касается общего внешнеполитического аспекта встречи в Ореанде, то она, безусловно, хорошо укрепила позиции Брежнева на переговорах во время его первого визита во Францию, который состоялся месяцем позже.

Следующим заметным шагом Л. И. Брежнева в развитии отношений с ФРГ был его официальный визит в Федеративную Республику 18—22 мая 1973 г. Это был первый визит Брежнева и вообще высшего руководителя СССР в послевоенную Западную Германию. Прошел он в хорошей атмосфере и в конструктивном духе. Помню, во время полета в Бонн в нашей делегации (а Брежнев кроме Громыко взял с собой еще ряд министров и экспертов) кое-кем высказывались осторожные сомнения насчет реакции широкой публики на улицах ФРГ на эту советскую «премьеру». Но сомнения оказались напрасными: прием был вполне дружественным, и никаких неприятных инцидентов не было. Однако хозяева, видимо, учитывали всякие варианты. Боннские газеты писали тогда, что в кустах и рощицах, опоясывавших стоящий на холме над Рейном отель-замок Петерсберг — резиденцию Брежнева, было размещено ни мало ни много 37 тысяч полицейских и солдат погранохраны ФРГ!

В этой связи вспоминается один эпизод во время августовского визита 1971 года Брандта в Москву. После подписания в Кремле знаменитого Московского договора А. Н. Косыгин пригласил Брандта и его коллег пообедать в ресторане «Седьмое небо» на Останкинской телебашне, полюбоваться на вечернюю Москву. По пути туда гость вдруг выразил желание пройтись немного по Калининскому проспекту пешком. Косыгин охотно согласился, и они, в сопровождении пяти-шести человек охра-

ны, прошлись по оживленной улице, доброжелательно приветствуемые прохожими. Брандт тогда был поражен, как это все прошло легко и просто.

Впрочем, Леонид Ильич причинил-таки головную боль своим боннским хозяевам и охране Петерсберга. Перед зданием отеля ему был передан подарок Брандта — небольшой западногерманский автомобиль, не помню, какой марки. Внимательно осмотрев машину, Брежнев сел на место водителя, включил зажигание и неожиданно для всех, в том числе и своих собственных офицеров охраны, нажал на газ и, рванув с места, проехал в хорошем темпе пару километров по аллее, ведущей с холма вниз. Поднялась легкая паника, но Леонид Ильич быстро возвратился и, улыбаясь, похвалил автомобиль.

Переговоры в Бонне прошли хорошо. В итоге были подписаны соглашения об экономическом, промышленном и техническом сотрудничестве, о культурном сотрудничестве и протокол о воздушном сообщении. В совместном политическом заявлении Брежнев и Брандт назвали Московский договор «исторической вехой» в отношениях между двумя государствами и выразили решимость последовательно работать, исходя из него, над улучшением этих отношений.

Видимо, памятуя о теплой атмосфере своего крымского визита, Брандт пригласил Брежнева посетить его, Брандта, личный дом в одной из земель ФРГ и провести там день в неофициальной обстановке. Всех нас доставили туда на вертолетах погранохраны ФРГ, в достаточно спартанских условиях, далеких от роскоши или просто комфорта. Но прием в доме Брандта прошел в очень приятной обстановке, к чему приложили немало усилий и хозяин, и его супруга. Единственным диссонансом был, по-моему, не очень удачный тост, с которым выступил за обедом Гельмут Шмидт — тогда министр финансов, а впоследствии преемник Брандта на посту канцлера.

Он почему-то счел уместным пуститься в воспоминания о своей службе на Восточном фронте (т. е. на оккупированной территории СССР) в годы войны. И, видимо, желая подчеркнуть высокие душевные качества русских людей, стал рассказывать, как его и еще одного немецкого офицера в суровую русскую зиму где-то под Смоленском приютила и накормила какая-то русская старушка. И Брежнев, и другие присутствовавшие на

обеде почувствовали определенную неловкость, слушая этот тост. Но дело обошлось.

Следующий приезд Л. И. Брежнева в ФРГ состоялся через пять лет, в мае 1978 года,— уже к Г. Шмидту. Обстановка его отличалась от предыдущего. Канцлер был другой, и сам Брежнев во многом был другой: болезнь давала о себе знать, энергия, память, реакции были ослаблены. Тем не менее Брежнев держался мужественно, с выдержкой, и визит во многом оказался конструктивным — за одним, но очень важным исключением.

В переговорах доминировали в общем экономические вопросы. Это соответствовало и главному содержанию наших отношений в то время, и интересам лично Шмидта как хорошего знатока экономических проблем.

Стороны с удовлетворением отметили, что экономические связи развиваются хорошо, растут поставки нефти, газа и хлопка из СССР, оборудования — из ФРГ. Было подписано весьма серьезное соглашение о развитии и углублении долгосрочного сотрудничества в области экономики и промышленности, рассчитанного на 25 лет. Была поставлена задача — удвоить товарооборот между двумя странами за пятилетие 1976—1980 годов (эта задача была перевыполнена).

И в ходе переговоров, и в текстах принятых совместных документов много внимания было уделено вопросам политической и военной разрядки. Обе стороны подчеркнули свою верность в этом плане уже подписанным между ними соглашениям, а также Заключительному акту Общеевропейского совещания в Хельсинки. Была подчеркнута решимость «продвигаться по пути прекращения гонки вооружений». В совместной декларации, подписанной Брежневым и Шмидтом, мы читаем такие слова: «Перед лицом разрушительной мощи накопленных и постоянно возрастающих запасов вооружений всех видов необходимы конкретные меры для прекращения гонки вооружений... Согласование дальнейших шагов в области разоружения и ограничения гонки вооружений должно быть ускорено с тем, чтобы процесс разрядки не потерпел урон от развития в военной области и, напротив, был дополнен им»[24].

Должен пояснить, что такой упор в этом документе на проблему военной разрядки не был случайным.

Он отражал не только заинтересованность ФРГ в проходивших тогда советско-американских переговорах по

ОСВ-2, но и особую заинтересованность Бонна еще в одном вопросе, который Шмидт со всей энергией поставил перед Брежневым в ходе этого визита. Речь шла о произведенном размещении в европейской части СССР новых, весьма совершенных и высокоточных ракет среднего радиуса действия, именуемых на Западе СС-20 и называвшихся в наших военных кругах «Пионер».

Шмидт попросил об отдельной встрече с Брежневым, вне рамок официальных переговоров двух делегаций. Такая встреча состоялась в присутствии только переводчика и двух помощников. Беседовали в маленькой гостиной в резиденции Брежнева (замок Гимних, примерно в 70 километрах от Бонна). Перейдя прямо к делу, Шмидт сказал, что руководство ФРГ, как и других европейских стран НАТО, не может верить в прочность разрядки и искренность мирных намерений СССР до тех пор, пока крупнейшие города и другие жизненно важные объекты Западной Европы находятся под прицелом этих новейших советских ядерных ракет с огромной подлетной скоростью, противопоставить которым Западная Европа, со своей стороны, ничего не может. «Вы договариваетесь с американцами об ограничении и уравновешивании запасов стратегического ядерного оружия, это очень хорошо,— сказал Шмидт.— Но эти переговоры не охватывают оружия средней дальности, а для нас-то именно ваши РСД остаются главной угрозой. Нам приходится жить в постоянной опасности мгновенного уничтожения. Поймите меня, г-н Брежнев, мы ни на минуту не сомневаемся в искренности вашей мирной политики. Но никто из нас не вечен. А если в СССР позже придет к власти другое руководство, более воинственно настроенное? Этот вопрос должен быть как-то решен, если мы хотим действительно прочного мира в Европе. Или вы, продолжая политику военной разрядки, устраните эту нависшую над нами угрозу — или нам придется думать о каких-то адекватных мерах самозащиты» (цитирую по памяти).

И для подкрепления своих доводов Шмидт тут же хотел передать Брежневу схему размещения наших РСД и объектов поражения ими в ФРГ и других европейских странах НАТО. Брежнев схемы не взял (после беседы мне ее все же передал помощник Шмидта), ограничившись ответом, что проблема эта раздувается искусственно, мы просто модернизируем свои ракеты, как это делал

и Запад, заменяем устаревшие новыми, причем даже в меньшем количестве. А под прицелом ядерного оружия другой стороны, размещенного на окружающих нас вдоль всех границ СССР военных базах и кораблях США и НАТО, Советский Союз живет уже много лет.

Словом, от поставленного Шмидтом вопроса Брежнев тогда фактически отмахнулся, не представляя себе возможных последствий. Да и никто не только в нашей делегации, но и по ее возвращении в Москве не придал, насколько я помню, этой теме серьезного значения. И это, как теперь ясно видно, было ошибкой. Причем совершена она была явно под влиянием нашего военного руководства, прежде всего Устинова, которого поддерживал Громыко. Военные наши гордились созданием нового, очень эффективного оружия, которое, как они считали, избавит наконец СССР от угрозы со стороны окружающих натовских баз.

То есть и с той, и с другой стороны в подходе к этому вопросу решающим фактором был страх.

Итак, поставленный Шмидтом вопрос был тогда оставлен без должного внимания и, как сейчас говорят, процесс пошел...

Последний визит Л. И. Брежнева в ФРГ (тоже к Шмидту) состоялся в ноябре 1981 года, за год до смерти Леонида Ильича. Обстановка была уже совсем другая — и в Европе (из-за ракетных дел), и в международном плане в целом (из-за Афганистана). Да и Брежнев был уже весьма плох физически. Однако отношениям с ФРГ он придавал такое значение, что эту поездку решил предпринять. Тем более что это был период серьезного обострения отношений с США (сначала — фактическая блокада СССР, объявленная Картером из-за Афганистана, затем — антисоветская бравада Рейгана). Нужно было найти какой-то противовес, а ведь именно с ФРГ за минувшие годы была заложена солидная основа добрых отношений. И, надо сказать, Шмидт во время этого последнего визита вел себя в общем очень доброжелательно и тактично, а в отношении больного Брежнева даже, я бы сказал, с какой-то сыновней заботливостью.

Вновь стороны могли отметить, что в экономических отношениях дела идут хорошо. Товарооборот между обеими странами возрос за 10 лет в 10 раз и за последние годы увеличился больше, чем Брежнев и Шмидт намечали в 1978 году. С опорой на общее соглашение 1978

года и вопреки ожесточенному (порой даже озлобленному) сопротивлению Вашингтона была только что заключена огромная по масштабам взаимовыгодная сделка, ставшая известной под названием «Газ — трубы». В обмен на поставки нашего газа консорциум «Маннесман—Тиссен» одних только стальных труб большого диаметра (для газопроводов) обязался поставить 700 тысяч тонн. В ходе переговоров обе стороны подчеркивали, что соглашение «Газ — трубы» одинаково выгодно как для ФРГ, так и для СССР. Договорились также об участии ФРГ в строительстве Саянского алюминиевого завода и ряда других важных для нас предприятий.

Но с обсуждением военно-политических вопросов дело обстояло иначе. *По инициативе Шмидта* в НАТО уже было принято решение разместить на территории Западной Германии около сотни новых американских ракет средней дальности «Першинг-2», способных достигнуть за несколько минут и с большой точностью намеченные цели в европейской части СССР. Да, кроме того, в ряде европейских стран НАТО (включая ФРГ) должны были быть размещены американские крылатые ракеты с ядерными зарядами — более медленные в полете, но трудно уязвимые для ПВО. Если к тому же добавить недавние (в то время) рассуждения Рейгана и членов его администрации относительно возможности «ограниченной ядерной войны» в Европе (т. е. по существу подставить этот континент под ядерный удар, а США остаться в сторонке), то дело выглядело совсем зловеще. Об этом в острой форме было сказано в публичном выступлении Брежнева на обеде в Бонне.

Пытаясь смягчить взволнованную реакцию европейского общественного мнения на предстоящее размещение новых ядерных ракет США в Западной Европе, Рейган, за несколько дней до визита Брежнева в Бонн, выступил со своим предложением о так называемом «нулевом варианте». Смысл его сводился к следующему: США откажутся от размещения своих ракет, если СССР не только отведет, но и уничтожит все свои ракеты средней дальности в европейской части — и новые СС-20, и более старые типы СС-4 и СС-5. При этом у НАТО сохранились бы все нацеленные на СССР ракеты морского и воздушного (т. е. на базах) базирования.

В политических и военных кругах Москвы это пред-

ложение Рейгана было воспринято с возмущением как несправедливое и совершенно неприемлемое: подумать только — американцы разоружаются «на бумаге» (так как их ракет еще нет), а от нас требуют ликвидации всего эффективного оружия! Соответственно звучала и посвященная этой проблеме часть речи Брежнева на обеде у Шмидта:

«От нас требуют в одностороннем порядке разоружиться, а сотни нацеленных на нашу страну и на наших союзников сухопутных и морских ракет, самолетов с ядерными бомбами, весь этот грозный арсенал, принадлежащий сегодня Соединенным Штатам и другим странам НАТО в районе Европы, должен оставаться нетронутым. То есть если сейчас между обеими сторонами соотношение ядерных средств средней дальности в Европе довольно точно выражается цифрой один к одному, то США хотели бы превратить его в соотношение примерно два к одному в пользу НАТО»[25].

Но Брежнев не просто отклонил предложение Рейгана. В той же речи он выступил со *встречным предложением СССР*, содержавшим, по моему убеждению, немало конструктивных элементов. Суть его, коротко говоря, была такова: СССР и США отказываются от дальнейшего развертывания и модернизации имеющихся РСД в Европе, пока идут переговоры о судьбах этого оружия; СССР тем временем *в одностороннем порядке*, еще до достижения общего соглашения, сокращает часть своих РСД в Европе, а затем готов договориться с Вашингтоном о сокращении сторонами сотен единиц вооружений этого класса или, более того, договориться о полном отказе Востока и Запада от всех видов оружия средней дальности, нацеленных на объекты в Европе.

Как советская сторона от «нулевого варианта» Рейгана, так и Запад от встречного предложения СССР, по существу, отмахнулся. Они были оставлены без внимания. Началась конкретная подготовка к размещению «першингов» и крылатых ракет, что и произошло в конце 1983 года, вызвав наши неуклюжие ответные шаги (разрыв переговоров с США по ядерному оружию).

Между тем я убежден, что при наличии действительно доброй воли обеих сторон и способности хоть несколько преодолеть взаимные подозрения и страхи в то время, в конце 1981 года, можно было найти какое-то компромиссное, взаимоприемлемое решение по вопросу

о РСД в Европе — скажем, что-то среднее между предложениями Рейгана и Брежнева — и уже тогда сделать серьезный шаг к военной разрядке на Европейском континенте. Но Рейган был слишком увлечен перспективой пододвинуть свое грозное оружие к границам СССР и этим, как он надеялся, ослабить вероятность ядерного удара по территории Америки. А Брежнев был тяжело болен и уже не был в состоянии по-настоящему вникать в глубинную суть сложных проблем. Громыко, как я уже говорил, тоже оказался не на высоте. Так что военно-политические переговоры в Бонне закончились безрезультатно, что привело тогда Леонида Ильича в крайнее раздражение, которое почувствовали все мы, его сопровождавшие.

Что касается других сторон этого последнего брежневского визита в ФРГ, то в памяти сохранились два таких эпизода.

В ходе визита Брежнев встречался в своей загородной резиденции для кратких бесед с лидерами основных политических партий ФРГ — от коммунистов до крайне правых (из правительственного блока). Была, естественно, и встреча с лидером оппозиции — председателем Христианско-демократического союза Гельмутом Колем. Содержание беседы было довольно бесцветным, зато хорошо запомнилась фраза, с которой начал Коль: «Вы говорите с будущим канцлером ФРГ. Я стану им после предстоящих выборов». Такая самоуверенность Коля, мало известного до тех пор в Москве, показалась, мягко говоря, странной, Брежнев принял сказанное не очень всерьез. И, как оказалось, зря: уже в октябре следующего года Коль стал главой правительства ФРГ, причем на долгие годы.

Следующая беседа была с более известной и колоритной фигурой — коллегой-соперником Коля, председателем партии Христианско-социальный союз, премьером Баварии Францем-Йозефом Штраусом. Этот известный своей экстравагантностью и весьма правыми настроениями деятель долго заверял Брежнева в своем добром отношении к русским («хотя я и был ранен под Сталинградом»), оправдывался по поводу резких нападок на Брежнева в своей недавней речи, а затем перешел к главной теме и сказал примерно следующее: «Есть все объективные предпосылки для того, чтобы обеспечить действительно прочную дружбу и долговременное сотруд-

ничество между немцами и русскими и тем самым обеспечить по-настоящему прочный мир в Европе. Если нам это удастся, мы выставим американцев из Европы — на черта они нам тут нужны? Но только отдайте нам ГДР». На подобный (по тем временам для нас — нелепый и даже наглый) демарш Брежнев ответил только ухмылкой. И антиамериканскую тему, надо отдать ему должное, не поддержал.

* * *

В целом Брежневу в сотрудничестве с социал-демократическими правительствами Бонна удалось то, чего не смог сделать Хрущев, имея дело с Аденауэром,— сдвинуть с точки замерзания и серьезно развить по многим направлениям (прежде всего — политическому и экономическому) отношения с ФРГ, установить неплохое сотрудничество с наиболее мощным государством европейского Запада в интересах прочного мира в Европе, да и международного мира вообще. Причем достигнуто это было без какого-либо ущерба для наших государственных интересов, без серьезных уступок со стороны СССР.

БРЕЖНЕВ И США

В области внешней политики у Брежнева ни с одной другой страной не было такой массы забот, хлопот и личных усилий и вместе с тем столь противоречивых, как теперь принято говорить, неоднозначных результатов, как в отношениях с Соединенными Штатами Америки.

Само по себе это вполне понятно: ведь после второй мировой войны и особенно после того, как ядерное оружие оказалось в руках у обеих сторон, СССР и США стали как бы центрами двух гигантских лагерей — мира социализма и мира западного капитализма, противостоящих друг другу в геополитическом, идеологическом и экономическом отношении. От того, как складывались взаимоотношения между этими бывшими главными союзниками по антигитлеровской коалиции, зависела

теперь в конечном счете международная атмосфера в целом.

Если говорить совсем кратко, то Брежнев, как до него Сталин (во времена Рузвельта) и Хрущев (в период правления Эйзенхауэра), действительно стремился наладить с США отношения мирного и взаимовыгодного сотрудничества, не отказываясь, однако, ни от своей государственной идеологии, ни от постоянной заботы о поддержании достаточно надежной оборонной мощи. Но разжигания «холодной войны», обострения отношений и военной опасности Брежнев не хотел и не поощрял ни на одном из этапов своего пребывания у власти. Это я могу утверждать с абсолютной уверенностью.

Наследство в области отношений с Америкой досталось Брежневу от Хрущева, надо сказать, нелегкое. Несмотря на неоднократно предпринимавшиеся Никитой Сергеевичем — импульсивные, как это у него обычно бывало,— попытки сближения с США, на характер этих отношений в последние годы правления Хрущева легла довольно мрачная тень. Достаточно вспомнить о срыве парижского совещания в верхах и визита Эйзенхауэра в СССР в 1960 году (после полета Пауэрса), о попытке Вашингтона срежиссировать вторжение на Кубу (Плая-Хирон), о неудачной встрече Хрущева с Кеннеди в Вене в 1961 году и, конечно, о таком драматическом эпизоде, как карибский кризис 1962 года, поставивший две сверхдержавы на грань ядерной войны. Но самое главное, что все это происходило на фоне двух глубинных процессов глобального значения: разгорающейся многолетней военной интервенции США во Вьетнаме, поставившей советское руководство в очень сложное положение как в политическом, так и в стратегическом отношении, и непрерывно нараставшего процесса гонки ракетно-ядерных вооружений, в ходе которого СССР настойчиво стремился достигнуть стратегического паритета с Соединенными Штатами. И гонке этой предстояло продолжаться еще долгие годы.

Это, конечно, не означает, что все было окрашено одной сплошной черной краской. Были и дипломатические, и иные контакты с США, достигались кое-какие договоренности (например, подписание в 1963 г. Договора о прекращении ядерных испытаний в трех средах — на земле, на воде и в космосе; договоренность об установлении прямой правительственной связи Москва —

Вашингтон и др.). И, пожалуй, самой важной была июньская речь 1963 года президента Кеннеди, в которой молодой американский руководитель, только что прошедший через горнило карибского кризиса, однозначно высказался за установление добрых отношений с Советским Союзом, за мирное сосуществование наших стран. Эта речь обещала и, вероятно, могла бы дать многое для развития американо-советских отношений в добром направлении, если бы ее автор не погиб вскоре от руки убийцы при весьма подозрительных обстоятельствах. Я хорошо помню, как искренне и глубоко горевал Брежнев, получив сообщение о гибели Джона Кеннеди на аэродроме в Тегеране, где Леонид Ильич находился тогда с государственным визитом.

Так или иначе, но годы после смерти Кеннеди (президентство Джонсона) не были отмечены каким-либо особо позитивным развитием отношений с США, скорее наоборот. Смена руководства в Москве тут особых изменений не принесла.

И как раз на этом участке внешнеполитического фронта в те годы четко проявилась одна из особенностей политической тактики Брежнева и, если угодно, его характера. Там, где не было видно перспективы явного и тем более эффектного политического успеха (или какого-то особо острого, чрезвычайного положения), Леонид Ильич предпочитал не вмешиваться в повседневную политическую жизнь, предоставляя вести текущие дела другим — Косыгину или еще кому-либо из членов руководства, МИД и другим ведомствам. Именно так и протекали первые годы его руководства в том, что касалось отношений с США. Поначалу он не видел возможности каких-то серьезных позитивных сдвигов в этой области и сосредоточился, я бы сказал, на стратегии политического обхода Вашингтона с флангов: сплочение соцстран, всемерная поддержка Вьетнама в его борьбе против американского вторжения, поддержка арабских стран в их сопротивлении поощряемой американцами агрессии Израиля и, главное, сближение с Западной Европой (Францией, ФРГ). А также неуклонное сближение с Индией — в противовес американо-пакистанскому сотрудничеству,— увенчавшееся заключением Договора о дружбе, мире и сотрудничестве с этой страной в 1971 году.

Таким образом, в отношении Америки Брежнев начал с *сопротивления* ее политике, которую считал опас-

ной для Советского Союза. Недаром почти сразу после прихода к власти в Москве нового руководства в январе 1965 года во Вьетнам был направлен А. Н. Косыгин, который в решительной форме обещал вьетнамцам «всевозможную помощь и поддержку» Советского Союза в отражении агрессии. А сам Брежнев в эти годы не упускал ни одного случая, чтобы на различных партийных и государственных форумах — и внутренних, и международных — не подтвердить в самой торжественной форме эту поддержку, причем не только политическую и экономическую, но и в укреплении обороны. Так оно и было в действительности. Ведь Вьетнам сражался несколько лет против огромной американской армии именно советским оружием, причем самым современным.

Горячо было и на Ближнем Востоке. Израиль, опираясь на всемерную поддержку Соединенных Штатов, цель которых была — ослабить влияние Советского Союза в этом исключительно важном для его государственных интересов районе, особенно в таких дружественных нам странах, как Египет (руководимый Насером) и Сирия, предпринял открытую агрессию против Египта, Сирии и Иордании и оккупировал значительную часть их территорий. Соперничество за влияние на Ближнем Востоке тогда и в дальнейшем налагало свой отпечаток на весь характер отношений между СССР и США. Тогда, в июне 1967 года, на волне широкого возмущения израильской агрессией во многих странах мира Л. И. Брежнев сочтет уместным лично созвать своих союзников и выступить с общей позицией. Собрались 9 июня в Москве руководители стран — участниц Варшавского Договора и (что было важно для Брежнева) Югославии. Была резко осуждена израильская агрессия и выражена готовность оказать необходимую помощь подвергшимся нападению арабским странам. Страны — участницы встречи, исключая Румынию, разорвали дипломатические отношения с Израилем (на много лет). В июле встретились снова, на этот раз в Будапеште. Руководил встречей Брежнев, участвовал Тито. Была решительно подтверждена позиция по ближневосточным событиям и намечены контуры экономической помощи арабским странам. Никаких споров и разногласий на этих встречах не было. Так же, в духе полного единодушия и весьма энергично, действовали соцстраны и в ООН. Вскоре израильская агрессия была прекращена.

Еще одно активное вмешательство в ближневосточные дела в контексте отношений с США Брежнев предпринял в октябре 1973 года. В ходе новой войны, вспыхнувшей между Тель-Авивом, Каиром и Дамаском, Израиль разгромил египетские силы и, окружив в районе Суэцкого канала одну из основных армий Египта, угрожал ей уничтожением. Причем сделано это было уже после того, как в соответствии с решением Совета Безопасности ООН, где участвовали и СССР, и США, на театре военных действий был прекращен огонь. Израильтяне, недовольные «неполными» результатами, достигнутыми на первом этапе войны, рвались в бой и после интенсивных контактов с Вашингтоном развернули новое наступление. Возникла критическая ситуация. Надо было спасать наших друзей — Египет и Сирию. После напряженных обсуждений, длившихся в Политбюро не только дни, но и ночи напролет, было решено действовать не провокационно, но со всей категоричностью. Поскольку предварительные контакты с правительством США, в том числе и переговоры Брежнева и Громыко с прибывшим в Москву по предложению советского руководства Киссинджером, ничего не дали и было видно, что посланец Вашингтона намеренно тянет время, чтобы дать Израилю возможность развить свои военные успехи, а правительство Египта к тому времени обратилось в ООН с просьбой немедленно прислать на Ближний Восток американские и советские войска, чтобы помочь прекратить войну, Брежнев обратился к президенту Никсону с предложением: пусть СССР и США срочно направят в Египет контингенты своих войск, чтобы обеспечить выполнение решений Совета Безопасности ООН, касающихся прекращения огня и всех военных действий. При этом указывалось, что такая совместная советско-американская акция способствовала бы не только прекращению огня, но и общему урегулированию на Ближнем Востоке.

Чтобы подчеркнуть серьезность советского предложения, в обращение Брежнева были добавлены слова о необходимости действовать без задержки. И далее говорилось: «Скажу прямо, что если вы сочтете невозможным действовать совместно с нами в этом направлении, то мы столкнемся с необходимостью рассмотреть вопрос о принятии требующихся мер в одностороннем порядке. Мы не можем допустить произвола со стороны Израиля...»[26].

Для подкрепления этого обращения к руководству США были демонстративно приведены в готовность две наши десантные дивизии в прилегающем регионе СССР и начали движение в сторону Египта несколько находившихся в Средиземном море советских военных кораблей. Все это мыслилось как демонстрация, имевшая целью показать нашу решимость положить конец войне на Ближнем Востоке — и лучше всего в сотрудничестве с американцами. Я хорошо помню, как одно из решающих обсуждений этой острейшей в тот момент проблемы происходило глубокой ночью в правительственном фойе за сценой Кремлевского Дворца съездов, куда члены Политбюро удалились с какого-то торжественного концерта. И опять-таки никаких споров и разногласий не было: все были убеждены, что надо действовать решительно, остановить Израиль, не допустить разгрома наших арабских друзей, причем лучше всего сделать это совместно с Америкой, не вызывая ее антагонизма. Ведь в памяти у всех еще были недавние весьма доброжелательные переговоры с Никсоном — сначала в Москве, а потом в Вашингтоне.

Разногласия и бурные эмоции возникли, как оказалось, в Вашингтоне. Если судить по мемуарам Киссинджера, Никсон в какой-то момент был даже склонен найти форму сотрудничества в связи с обращением Брежнева. Примирительная акция на Ближнем Востоке могла бы, как ему казалось, быть даже полезной ему, Никсону, лично в разгар развернувшегося «уотергейтского дела». Но кто пришел в неописуемый ужас, так это ближайший помощник президента, в то время государственный секретарь США Генри Киссинджер, один из многолетних вдохновителей антисоветской политики США на Ближнем Востоке. Его реакция на обращение Брежнева с предельной откровенностью выражена в упомянутых мемуарах патриарха американской внешней политики. Приведу лишь несколько наиболее «красноречивых» цитат: «Неужели мы годами старались ослабить советское военное присутствие в Египте только для того, чтобы помочь Советскому Союзу еще больше утвердиться там с помощью резолюции ООН? Не собирались мы принимать участие и в том, чтобы совместно с Советами послать туда вооруженные силы, что узаконило бы роль Советов в регионе и усилило бы позиции радикальных элементов»[27]. И далее совсем ясно: «В конце концов главной

целью нашей политики на Ближнем Востоке является ослабление роли и влияния СССР»[28].

Поэтому обращение Брежнева к Никсону от 24 октября о совместных действиях СССР и США привело главу американского внешнеполитического ведомства (одновременно теснейшим образом связанного и с военными, и с разведывательными кругами) в настоящую панику. Тем более что он помнил, как несколькими днями ранее Никсон сообщил ему, Киссинджеру, в Москву свою «убежденность... в том, что Советский Союз и США должны вместе использовать завершение войны для установления всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке»[29].

В обстановке почти полной парализованности президента «уотергейтским делом» госсекретарь и его единомышленники бросились действовать, не теряя ни минуты. Никсону обращение Брежнева изобразили как «вызов американскому президенту со стороны советского руководителя, причем один из самых серьезных...»[30]; послу Израиля Киссинджер поспешил сообщить, что «мы твердо отклонили предложение о совместных военных действиях и заявили, что будем бороться против одностороннего военного вмешательства, применив, если потребуется, силу»[31]. И все это еще до того, как Никсон направил свой ответ на обращение Брежнева! (В этом ответе предлагалось вместо посылки войск направить расширенные силы ООН для наблюдения за выполнением условий перемирия и категорически отклонялась возможность односторонних действий СССР.)

Но перепуганному Киссинджеру и его единомышленникам этого было мало, очень мало. Еще только готовился ответ Никсона, а уже заработали все ключевые командные инстанции Америки. Был дан приказ о приведении в полную боевую готовность вооруженных сил США на суше и на море — практически во всемирном масштабе. «Мы готовили свои силы для открытой борьбы»[32],— пишет Киссинджер.

В Америке и во многих других странах началась паника. Но не в Советском Союзе. Как я уже упоминал, советское руководство вовсе не имело в виду какого-то массированного «вторжения» на Ближний Восток и все время подчеркивало, что предпочитает действовать совместно с Америкой. Военные жесты США на Москву особого впечатления не произвели. Это я видел ясно,

наблюдая в те дни наших руководителей. И когда испуганное угрозами Вашингтона правительство Египта поспешило взять назад свое предложение о посылке советских и американских войск и заменить их международными наблюдательными силами ООН, это предложение было спокойно принято Брежневым, который даже сообщил Никсону, что, по его мнению, события последних суток должны стать прелюдией к более тесному сотрудничеству СССР и США на Ближнем Востоке. В своей большой речи 26 октября на Всемирном конгрессе сторонников мира в Москве Брежнев также ни словом не упомянул о воинственных пароксизмах Вашингтона двумя сутками ранее, а говорил о пользе разрядки.

На фоне всей этой напряженной политической борьбы, в которой Брежнев принял такое активное участие, военные действия на Ближнем Востоке закончились сравнительно благополучно. Третья египетская армия была спасена, правящие режимы Египта и Сирии пережили нависавшую над ними угрозу, отношения Советского Союза с дружественными арабскими странами сохранились.

Я так подробно остановился на этой эпопее потому, что она, вероятно, была самым острым столкновением Брежнева с руководством США и его осторожность и выдержка проявились тут в полной мере.

Во внешней политике, и особенно политике в отношении США, Брежневу приходилось учитывать и претворять в практические действия две главные, основополагающие стороны дела: постоянное, активное соперничество, борьбу за влияние с миром капитализма во главе с Америкой и столь же постоянное стремление избежать того, чтобы это противоборство вылилось в лобовое военное столкновение, в губительную для всего человечества мировую ядерную войну. На отдельных отрезках времени ярче проступала то одна, то другая сторона этой политики, но в целом это была единая линия, глубоко продуманная Л. И. Брежневым и его ближайшими коллегами по руководству. И свое наиболее полное и, я бы сказал, зрелое выражение она получила, пожалуй, в большой речи, с которой Брежнев как лидер КПСС выступил 7 июня 1969 г. на состоявшемся в Москве международном Совещании коммунистических и рабочих партий. Полагаю, именно эта речь наилучшим образом может служить клю-

чом к пониманию смысла и замысла практически всей внешней политики СССР в период руководства Брежнева. Я хорошо помню, как долго и упорно готовилась эта речь в тиши подмосковного Завидова под постоянным, внимательным наблюдением Брежнева и при участии созванной им для этой цели большой группы членов Политбюро, секретарей ЦК КПСС, наиболее опытных и квалифицированных советников генерального секретаря.

Речь большая, приводить ее текст здесь, конечно, нет ни нужды, ни смысла. Его можно прочитать во 2-м томе брежневских выступлений, объединенных под общим названием «Ленинским курсом» (Москва, 1973 г.). Здесь мне хочется оттенить только самые главные, ключевые позиции, с которыми тогда выступил руководитель КПСС перед мировым комдвижением, а практически перед всем миром. Свести эти положения можно в основном к следующему (я имею в виду главный смысл, а не буквальные формулировки).

Главное препятствие на пути прогресса человечества, его движения к торжеству свободы, мира и демократии — это империализм. Но, приспосабливаясь к ходу истории, он и сам способен к прогрессу — к использованию мощи государственного механизма, программированию и прогнозированию производства, государственному финансированию технического прогресса и науки, «к известному повышению эффективности общественного производства», к развитию интеграции в международном масштабе и, наконец (под влиянием развития социалистических стран), «к определенным уступкам трудящимся в социальной сфере».

Как видим, анализ, далекий от примитивного догматизма и не лишенный реалистичности.

Далее. Империализм — постоянный источник милитаризма, источник угрозы всеобщему миру. Только в 60-е годы, например, США нападали на Вьетнам, Кубу, Панаму, Доминиканскую Республику, арабские государства. Вооружения наращиваются непрерывно, затраты на них превосходят то, что США расходовали на военные цели в годы второй мировой войны. Чтобы противостоять этой угрозе, «нужна сила, притом сила немалая». Отсюда — призыв к «неуклонному росту оборонной мощи социалистических государств». Для укрепления сопротивления империализму нужны также «помощь и под-

держка» борцам за социальное и национальное освобождение в странах Азии и Африки.

Что же касается рабочего движения внутри капиталистических стран, то, хотя социал-демократы — наши идейные противники, мы готовы к сотрудничеству с ними и единым действиям в борьбе против империализма, за мир, за интересы трудящихся.

Отношения с капиталистическими государствами мы будем развивать на основе принципа мирного сосуществования, решая спорные проблемы за столом переговоров, согласовывая меры по уменьшению военной опасности, по разрядке международной напряженности, развитию взаимовыгодных экономических и иных связей. «Мы не делаем тут исключений ни для одного из капиталистических государств, в том числе и для США».

Мы знаем, что в капиталистическом мире есть крайне агрессивные круги, которым необходимо давать решительный отпор, но мы знаем также, что там есть и «более умеренные круги», склонные искать взаимоприемлемые решения спорных международных вопросов. «Наше государство при проведении своей внешней политики учитывает такие тенденции».

Я прошу прощения у читателя за этот пространный пересказ, но мне хотелось, чтобы было легче понять, как брежневское руководство видело картину мира к концу 60-х годов и почему Брежнев счел нужным выступить там, где от него, казалось бы, можно было ожидать наибольшего революционного максимализма и наиболее лихих наскоков на Запад (хотя бы уже для опровержения ожесточенных нападок маоистского Пекина, обвинявшего Москву в «ревизионизме» и примиренчестве с империалистами). Тем не менее общая линия, с которой выступил Брежнев, была, как видим, сравнительно умеренной и не лишенной реализма.

Однако в первые годы пребывания на высшем посту Брежнев явно не верил в возможность достижения какого-то заметного сдвига в политических отношениях с Соединенными Штатами. Да и не был, судя по моим наблюдениям, уверен в своих личных возможностях достижения успеха в этом плане. Поэтому в эти первые годы предпринимавшиеся конструктивные шаги в области советско-американских отношений укладывались в основном в упомянутую выше формулу Брежнева — «согласовывать меры по уменьшению военной опасно-

сти» — и проходили без личного участия генерального секретаря.

Первый крупный шаг был, правда, сделан на высоком уровне: летом 1967 года А. Н. Косыгин был направлен в Нью-Йорк в связи с сессией Генеральной Ассамблеи ООН по Ближнему Востоку, а в основном-то для того, чтобы использовать эту поездку для установления личного контакта с президентом США Джонсоном, прозондировать его настроение и позиции в отношении СССР. Встреча Джонсон — Косыгин (неофициальная, чисто рабочая) состоялась в маленьком городке Глассборо неподалеку от Нью-Йорка. Особо сердечной и результативной она не была: ведь это был период острого противостояния США и СССР в связи с арабо-израильской войной. Однако один весьма важный момент заслуживает быть отмеченным: именно в ходе этой встречи стороны достигли принципиального согласия в том, что желательны советско-американские переговоры относительно какого-то ограничения стратегических ядерных вооружений и, возможно, противоракетной обороны. Это был, так сказать, зародыш будущих переговоров по ОСВ-1 и ПРО, которым суждено было обрести конкретные формы лишь через два-три года.

Были и другие существенные шаги в том же направлении. 1 июля 1968 г. одновременно в Москве, Вашингтоне и Лондоне, в присутствии руководителей этих стран, был подписан весьма важный Договор о нераспространении ядерного оружия, к которому затем присоединилось более сотни других государств. В 1969 году начались (в Хельсинки) неофициальные советско-американские контакты, а в апреле 1970 года — официальные переговоры об ограничении стратегических ядерных вооружений (ОСВ-1), которые велись на уровне весьма представительных и квалифицированных делегаций. С нашей стороны участвовали, в частности, заместитель министра иностранных дел В. С. Семенов (глава делегации), первый заместитель начальника Генерального штаба Н. В. Огарков, первый заместитель министра радиопромышленности П. С. Плешаков и др. Переговоры продолжались около двух лет попеременно в Хельсинки, Вене и Женеве.

Конечно, эти переговоры были нелегкими. Ведь речь впервые шла о добровольном ограничении обеими сторонами, можно сказать, главного компонента их вооружения

женных сил, основного оружия, которым США и СССР могли нанести непосредственно друг другу сокрушительный удар. Надо ли удивляться, что участники переговоров, прежде всего военные, стремились выжать из их результатов максимум выгоды для своей стороны в ущерб другой. Для достижения успеха нужна была четко выраженная политическая воля высшего руководства обоих государств. И эта воля к тому времени начала формироваться.

Мне очень хорошо запомнился один пример. Где-то в начале 70-х годов, когда соглашение по ОСВ в основном уже было выработано, оставалось еще несколько неотрегулированных вопросов, по которым наши военные никак не хотели идти на уступки, считая, что это дало бы одностороннюю выгоду американцам. И вот тогда Л. И. Брежнев собрал у себя в кабинете (на Старой площади, в ЦК) высших руководителей наших Вооруженных Сил, дипломатии и оборонной промышленности и начал с ними дотошное и скрупулезное обсуждение всех «подвешенных» проблем. В числе военных были министр обороны А. А. Гречко, главком Военно-Морского Флота С. Г. Горшков и ряд других высокопоставленных лиц. «Разбирательство» было долгим и горячим. Дипломаты были за соглашение, военные стояли на своем: никаких односторонних преимуществ американцам. К концу этой дискуссии (а она продолжалась около пяти часов!) Брежнев, помнится, уже в состоянии раздражения задал военным и представителям ВПК такой вопрос: «Ну хорошо, мы не пойдем ни на какие уступки, и соглашения не будет. Развернется дальнейшая гонка ядерных вооружений. А можете вы мне как главнокомандующему Вооруженными Силами страны дать здесь твердую гарантию, что в случае такого поворота событий мы непременно обгоним США и соотношение сил между нами станет более выгодным для нас, чем оно есть сейчас?» Такой гарантии никто из присутствующих дать не решился. «Так в чем же дело? — спросил Брежнев.— Почему мы должны продолжать истощать нашу экономику, непрерывно наращивая военные расходы?»

На этом дискуссия закончилась. Сопротивление военных было сломлено, и путь к соглашению расчищен. Его подписание стало одним из важнейших компонентов итогов первой встречи Брежнева и Никсона в 1972 году.

Из числа межправительственных советско-американских соглашений, относящихся ко времени до первой встречи в верхах и подпадающих под уже упомянутую категорию «мер по уменьшению военной опасности», следует также упомянуть подписанное в феврале 1971 года советско-американо-английское Соглашение о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения, а также в сентябре того же 1971 года Соглашение о мерах по уменьшению опасности возникновения ядерной войны между Советским Союзом и США. В этом последнем соглашении речь идет в основном о предотвращении случайного или несанкционированного применения ядерного оружия или губительных последствий такого применения. Все эти соглашения, разумеется, готовились соответствующими ведомствами — МИД, Министерством обороны, КГБ и затем утверждались высшим руководством страны.

Таковы были осторожные, постепенные подходы Брежнева к более глубокому, этапному повороту в сторону улучшения отношений с США, условия для которого он счел созревшими где-то в начале 70-х годов.

О внешней стороне дела я уже говорил: к этому времени удалось в основном «утрясти» проблемы взаимоотношений с Западной Европой, особенно с ФРГ. Что же касается непосредственно Америки, то здесь, по моему убеждению, решающую роль сыграли два фактора: один — военно-стратегический, другой — политический и даже личностный.

Дело прежде всего в том, что примерно к концу 60-х годов Советскому Союзу благодаря громадным усилиям наших ученых, конструкторов и оборонной промышленности, созданию ряда новых типов ракет и подводных лодок — носителей ядерного оружия, новых, значительно более эффективных ядерных боеголовок удалось ликвидировать довольно долго существовавшее отставание от США в области ядерных вооружений — и количественное, и качественное. Было достигнуто то, что получило название «ядерный паритет» между двумя сверхдержавами. Ответственные государственные деятели обеих сторон пришли к выводу, что в сложившихся условиях искать выход из противоречий между двумя общественными системами и прежде всего двумя сверхдержавами и возглавляемыми ими военными союзами в войне в на-

дежде на военную победу было бы недопустимым безумием. Выход может быть найден только на путях переговоров, мирных контактов, взаимовыгодного сотрудничества. Этой идеей пронизаны многие выступления советского руководства, и прежде всего Л. И. Брежнева, в период, о котором идет речь.

Эта же идея лежала и в основе упоминавшейся выше речи безвременно погибшего президента США Джона Кеннеди, произнесенной им 10 июня 1963 г. И наконец, определенные новые перспективы, как считал Брежнев, открылись, когда после периода охлаждения советско-американских отношений при президенте Джонсоне 5 января 1969 г. президентом США стал Ричард Никсон. Новый американский президент, хотя и пользовался по предыдущей своей деятельности устойчивой репутацией правого и недружественно настроенного в отношении СССР политика, став президентом, выступил с заявлениями о том, что пора переходить от «эры конфронтации к эре переговоров», и выразил надежду на скорую договоренность по ОСВ и даже на встречу с советскими руководителями.

Брежнев в своих публичных высказываниях об отношениях с США был в это время достаточно сдержан, но в общем корректен и даже конструктивен, о чем, в частности, говорит и пересказанное выше июньское выступление на международном совещании компартий. Но кое в чем московское руководство шло и дальше. 10 июля 1969 г. в Кремле открылась сессия Верховного Совета СССР, на которой с докладом о международном положении и внешней политике СССР было поручено выступить А. А. Громыко. Обратившись к теме советско-американских отношений, министр, я бы сказал, с несвойственной ему мягкостью и в то же время определенностью высказался за их улучшение. Он высказался за установление *дружественных* отношений с США, за то, чтобы находить с ними общий язык в вопросах сохранения мира. Это был вполне ясный сигнал, который не мог быть не услышан как правительством США, так и общественностью обеих стран.

Все это была, так сказать, психологическая, словесная подготовка. Куда важнее, что в эти годы (1969—1971 гг.) были согласованы и подписаны перечисленные мной выше конкретные соглашения по отдельным вопросам смягчения опасности войны между СССР и

США, и что особенно важно — начались переговоры по ограничению стратегического ядерного оружия. Это были уже реалии, и они постепенно подводили к тому большому прорыву к оздоровлению советско-американских отношений, который состоялся в 1972 году.

Однако, рассматривая этот вопрос в плане глобальной политики обеих сверхдержав, приходится признать, что путь к первой советско-американской встрече в верхах, состоявшейся в Москве в мае 1972 года, был для обеих сторон невероятно трудным и запутанным. На этом пути большими препятствиями стояли проблемы не только чисто двустороннего соперничества Москвы и Вашингтона (например, при переговорах об ОСВ) или даже их давнего соперничества на Ближнем Востоке, но и отношений обеих держав с такими странами, как Китай, Вьетнам и Индия.

Придя к власти, Никсон действует значительно активнее своих предшественников. Начинает он с СССР. Еще до официального вступления Никсона на президентский пост, но уже после избрания президентом, Киссинджер в беседе с ответственным сотрудником советского посольства говорит о готовности новой администрации пойти на встречу в верхах с СССР, если будет возможность достичь конкретных результатов. На то же намекает и сам Никсон в своей первой (уже официальной) беседе с советским послом Добрыниным. И тут же — сначала в публичной речи, а затем в официальном письме Косыгину — предлагает начать переговоры по Западному Берлину, на что Москва дает согласие (в письме Косыгина Никсону от 27 мая 1969 г.).

Более того, в ноябре — декабре 1969 года в Хельсинки начались первые (пока на рабочем уровне) двусторонние контакты по проблеме ограничения стратегических вооружений, что привело в апреле 1970 года к началу официальных переговоров по ОСВ.

Американо-советские разговоры о возможной встрече на высшем уровне продолжались долго, в течение всего 1970 года. До Брежнева они доходили в основном в форме докладов посла Добрынина (телеграфных или устных) о его беседах с Киссинджером и (реже) с Никсоном. При этом ситуация была весьма, я бы сказал, пикантная. Брежнев, как и вообще советское руководство,

в общем благоприятно относился к перспективе встречи с Никсоном, учитывая значение отношений с Америкой для оздоровления всей международной обстановки, но — не безоговорочно: ведь США вели жестокую, ничем не оправданную, несправедливую войну против социалистического союзника СССР — Демократической Республики Вьетнам. Переговоры об ограничении стратегических вооружений — это Брежнева и его коллег вполне устраивало, так как соответствовало их линии на уменьшение опасности ядерной войны. Переговоры о Западном Берлине тоже хорошо вписывались в общее направление европейской политики Брежнева, начатое его борьбой за созыв общеевропейского совещания и Московским договором с ФРГ. Что же касается Вьетнама, то мы (по всем каналам связи с Вашингтоном) требовали, чтобы США прекратили войну против ДРВ, поддержку своей марионетки Тхиеу, против которого восстала значительная часть населения Южного Вьетнама, и вообще вмешательство во вьетнамские дела, вывели свои войска из Вьетнама. Словом, мы поддерживали позицию Ханоя, как она излагалась на проходивших уже несколько месяцев секретных переговорах представителей США и ДРВ в Париже.

Что же касается американской стороны, то Никсон и главный вдохновитель его внешней политики Генри Киссинджер рассчитывали, используя, как они считали, большую заинтересованность Москвы во встрече с президентом США, добиться, чтобы СССР нажал на Ханой (если надо, прекратив ему военные поставки) и добился согласия вьетнамцев на американские условия. А они были таковы: войска ДРВ прекращают свои действия на юге Вьетнама и поддержку южновьетнамских «партизан», правительство диктатора Тхиеу остается на своем месте, а американские войска могут быть выведены не ранее чем через четыре месяца. Наш отказ поддержать такие требования они называли «отказом помочь закончить войну».

Так и шли параллельно эти две линии обсуждения перспектив возможной советско-американской встречи в верхах. И шли бы, вероятно, еще долго, если бы обстоятельства не позволили американской стороне бросить на стол свою главную козырную карту — отношения Америки с Китаем. Поначалу Никсон, приступив к исполнению президентских обязанностей, говорил пару раз в

своих выступлениях о том, что надо улучшать отношения как с СССР, так и с Китаем. Однако с весны 1969 года ход событий в Китае и на китайско-советской границе резко подхлестнул все планы американских дипломатов. Доведя до предела накал антисоветской пропаганды в ходе начатой Мао «культурной революции», китайцы перешли к актам открытой вооруженной агрессии против северного соседа. В марте произошли кровавые стычки на острове Даманском, в мае — на реке Уссури. Отношения между двумя странами, естественно, обострились, хотя Брежнев и его коллеги, как я уже упоминал, старались держаться спокойно. Огонь войны не разгорелся.

Однако творцы внешней политики США увидели для себя желанный шанс. Посмотрите, что пишет Киссинджер в своих воспоминаниях: «Я высказал (Никсону.— *Авт.*) мысль, что мы можем получить в связи с этим большой стратегический выигрыш»[33]. И далее, естественно: «Мы теперь удвоили наши усилия, чтобы установить контакт с Пекином. Никсон тут же начал распространять слух, что мы готовы к организации связи с Пекином»[34]. И действительно, отправившись в начале августа 1969 года в дальнюю поездку, Никсон обращается в Пакистане к президенту Айюб Хану, а в Бухаресте — к Николае Чаушеску с просьбами поспособствовать установлению контактов Вашингтона с Пекином. А с января 1971 года уже начинаются регулярные американо-китайские переговоры в Варшаве на уровне послов. Идут первые зондажи относительно возможности встречи между руководителями обеих стран. Итак, искомый рычаг для нажима на Москву в контакте с ней по поводу встречи в верхах был найден, и рычаг сильный.

Оно бы все ничего. Все это, можно сказать, укладывалось в рамки не раз применявшейся в мире внешнеполитической «игры». Но, к сожалению, в данном случае в Вашингтоне сочли возможным прибегнуть к не слишком чистоплотным приемам этой игры. Я имею в виду упорное и целеустремленное распространение провокационных слухов о том, что СССР якобы намерен напасть на Китай с применением ядерного оружия, нанести превентивный удар, уничтожив китайский ядерный полигон Лобнор. Судя по тому, как много и как серьезно пишет на эту тему в своих мемуарах Генри Кис-

синджер, сам он отнюдь не стоял в стороне от этого клеветнического маневра, цель которого, разумеется, ясна: запугать китайских руководителей, заставить их поплотнее прижаться к Америке, видя в ней «защитника» и «покровителя».

Чем же оперирует Киссинджер? Вот посмотрите. 18 августа 1969 г. некоего безымянного «чиновника госдепартамента среднего уровня» некий «сотрудник советского посольства» (тоже, конечно, безымянный) «совершенно неожиданно спросил, какой будет реакция США, если СССР нанесет удар по ядерным объектам Китая»[35]. Киссинджер, конечно, тут же созывает группу для подготовки «чрезвычайных планов для американской политики в случае советско-китайской войны». А тут еще «Правда» 28 августа «зловеще добавила», что война, если бы она вспыхнула в нынешних условиях при существующей технике и современном оружии, не оставила бы в стороне ни один континент. А уже за день до этого директор ЦРУ Хелмс громогласно объявил журналистам, что СССР, «видимо», пытается выяснить отношение европейских компартий «к возможности нанесения Советским Союзом упреждающего удара по ядерным объектам в Китае»[36]. Да еще в довершение всего начальник советского Генштаба маршал Захаров в «Известиях» от 1 сентября (т. е. в годовщину победы над Японией) напомнил о разгроме советскими войсками в 1945 году японской армии!

Уже из приведенных «доводов» ведущего американского политика ясно виден искусственный и, надо прямо сказать, провокационный характер всей этой кампании домыслов о «возможности превентивного ядерного удара СССР по Китаю». В преддверии поездки Никсона в Пекин надо было еще больше углубить ссору китайцев с Москвой, подтолкнуть их к сближению с США. Разумеется, атмосфера советско-китайских отношений в тот период была благоприятной для такого маневра: в ней господствовали общая нервозность и взаимный страх. Если не в руководстве, то в широких кругах населения СССР откровенно опасались *нападения* Китая (после мини-эксперимента на Даманском). Я даже помню, что в Москве получила распространение горькая шутка такого содержания: началась война, и командующий советскими войсками в отчаянии звонит министру обороны: «Что делать? Нам только что сдались в плен пять

миллионов китайцев!» На фоне крайне агрессивного поведения руководителей КНР вполне возможно, что кто-то из советских представителей в контактах с гражданами «третьих стран», стремясь подчеркнуть опасность ситуации, напомнил и о том, что КНР помимо многомиллионной армии располагает и ядерным оружием. Но это не могло иметь ничего общего с идеей «превентивного удара» по ядерному арсеналу Китая. Сама эта идея нелепа с точки зрения простого здравого смысла. Что могло дать СССР уничтожение небольшого количества ядерных средств, которыми располагал Китай? Ведь десятки миллионов вооруженных китайцев продолжали бы оставаться все той же страшной угрозой, а Советский Союз предстал бы перед всем миром как инициатор развязывания ядерной войны со всеми вытекающими отсюда последствиями! Неужели не ясна вся абсурдность этого вымысла? И немудрено, что мне, находившемуся в это время столь близко от нашего руководства, **никогда, нигде, ни в какой форме** не приходилось ни слышать, ни тем более читать каких-либо рассуждений о таком «превентивном ударе».

Но так или иначе, а предложение Вашингтона о сближении попало в Пекине на благодатную почву, контакты развивались быстро. Уже через несколько месяцев после начала зондирующих варшавских переговоров на уровне послов Киссинджер 1 июля летит в Пекин с секретным визитом, ведет переговоры с Чжоу Эньлаем, беседует с Мао. Достигнута предварительная договоренность о визите Никсона и содержании предполагаемых документов (будущее Шанхайское коммюнике). И уже 15 июля объявлено, что Никсон направится в КНР с визитом в начале 1972 года. Никсон извещает об этом советское руководство и заверяет, что поездка ни в коем случае не будет направлена против СССР. Мы, в свою очередь, делая хорошую мину при плохой игре, отвечаем, что «приветствуем» нормализацию американо-китайских отношений.

Но с этого времени переговоры с Вашингтоном о советско-американской встрече в верхах получают новый сильный импульс. Здесь уже речь идет о том, чтобы не дать китайцам «переиграть» нас.

И в игру активно включается Брежнев. 5 августа 1971 г. он получил первое письмо от Никсона по проблемам отношений между СССР и США и о будущей встре-

че в верхах (возможные сроки которой обсуждались до этого по дипломатическим каналам).

Леонид Ильич принимает решение — форсировать подготовку к встрече. Тем более что переговоры о соглашении по Западному Берлину шли неплохо. Их проводил МИД, участвовали такие выдающиеся дипломаты, как В. С. Семенов, В. М. Фалин, А. А. Абрасимов, Ю. А. Квицинский. (Соглашение было подписано 3 сентября 1971 г.)

Уже 10 августа через Добрынина было направлено приглашение Никсону посетить Москву в мае или июне 1972 года. При этом послу было поручено подчеркнуть, что подготовка визита с советской стороны будет вестись *под личным наблюдением* Л. И. Брежнева.

17 августа Никсон ответил согласием на приглашение и 12 октября объявил о своем предстоящем визите.

Однако как раз в это время возникло новое обстоятельство, которое поставило Америку в сложное положение и вполне могло привести к срыву намечавшегося визита Никсона в Москву.

Речь идет о войне, вспыхнувшей между Индией и Пакистаном в ноябре 1971 года. Думаю, ее началу (косвенно, конечно, но в немалой степени) способствовало подписание в августе того же 1971 года в Дели Договора о мире, дружбе и сотрудничестве между Индией и СССР — один из ответных шагов Брежнева на инициативу Никсона в отношении КНР. Конфликт Индии с Пакистаном (в приглушенном состоянии продолжавшийся много лет, прежде всего из-за Кашмира) разгорелся на этот раз из-за событий в Бангладеш, которая тогда была еще Восточным Пакистаном. Эта территория с населением, превышающим население собственно Пакистана (Западного), была в 1947 году, в период ухода Англии из Индии, искусственно «подключена» к Пакистану по религиозному признаку, хотя и отделена от него 2000 километров индийской земли, и население ее — бенгальцы, родственные племенам соседней индийской провинции — Бенгалии. Население Восточного Пакистана, не без влияния со стороны Индии, десятилетиями боролось за отделение от Пакистана, за самостоятельность. И вот в 1971 году началось массовое восстание бенгальцев, переросшее в настоящую войну, с которой Пакистан едва справлялся. В этой ситуации Индира Ганди решила открыто вмешаться на стороне восставших бенгальцев, тем более

что в военном отношении Индия могла опереться на крупные поставки оружия из СССР, а в политическом — на только что заключенный договор с Москвой. Вмешательство Индии сделало положение пакистанских войск на востоке совсем безнадежным. Между тем вооруженные столкновения начались и на западной границе — между Индией и собственно Пакистаном.

В администрации США возникла настоящая паника, которую хорошо отразил Ричард Никсон в своих мемуарах[37].

Пренебрегая советами госдепартамента, считавшего, что отделение Восточного Пакистана — дело неизбежное, а на Западный Пакистан Индия нападать не будет, Никсон и Киссинджер решили «продемонстрировать наше недовольство Индией и нашу поддержку Пакистану». При этом в качестве главного средства был избран... нажим на Советский Союз. «Я хотел,— пишет Никсон,— дать Советам понять, что мы решительно воспротивимся расчленению Пакистана советским союзником, использующим советское оружие». И вот уже Киссинджер немедленно вызывает поверенного в делах СССР Воронцова и заявляет ему, что индо-пакистанский кризис снова привел американо-советские отношения к поворотной точке («водоразделу»), что Америка хочет немедленного прекращения огня и вывода всех индийских войск из Пакистана.

Вслед за этим, параллельно ходу военных действий на индийском субконтиненте, Никсон обращается лично к Брежневу с *четырьмя письмами* и одним устным посланием. Вначале он требует «срочных действий по прекращению конфликта и восстановлению территориальной неприкосновенности» Пакистана, намекая при этом, что их с Брежневым договоренность о встрече в мае следующего, 1972 года обязывает СССР действовать в этом направлении. В ответе, написанном, как выражается Никсон, «в сердечном тоне», Брежнев предлагает совместными усилиями убедить пакистанского президента предоставить независимость восставшему Восточному Пакистану.

Не довольствуясь этим, Никсон решил прибегнуть к демонстрации силы, срочно направив в Бенгальский залив (т. е. непосредственно к району военных действий) восемь американских военных кораблей, включая авианосец (от берегов Вьетнама). А Брежнева он вновь закли-

нает действовать параллельно, «прежде чем мы сами не оказались вовлеченными в конфликт».

Но уже вскоре война на востоке закончилась, пакистанцы капитулировали. Теперь Никсон тревожится за судьбу Западного Пакистана и требует от Брежнева гарантий, что Индия не нападет на него. После соответствующих контактов с Индирой Ганди Брежнев направляет Никсону заверение, что Индия не нападет на Западный Пакистан или Кашмир, мы готовы это гарантировать (хотя и не публично). На этом дело и кончилось. 17 декабря 1971 г. индо-пакистанская война завершилась, а Восточный Пакистан стал самостоятельным государством Бангладеш (разумеется, в то время под сильным влиянием Индии).

Теперь уже пришла очередь американцам делать хорошую мину при плохой игре. Подводя итоги этому эпизоду, Никсон пишет: «Используя дипломатические сигналы и закулисный нажим, мы смогли спасти Западный Пакистан от нависшей над ним угрозы индийской агрессии и господства. Мы также еще раз избежали крупной конфронтации с Советским Союзом»[38].

Таким образом, подготовка к советско-американской встрече в верхах продолжалась. В январе 1972 года (уже после возвращения Никсона из Китая) Брежнев написал ему обстоятельное письмо, посвященное практическим вопросам этой подготовки. Он высказал мнение, что надо будет обсудить вопросы ограничения стратегических вооружений, европейской безопасности, экономического сотрудничества и развития обменов в области науки, техники, космоса и в ряде других конкретных областей и, может быть, заранее подготовить для подписания ряд соглашений на эти темы. Одновременно выражалась надежда, что встреча будет проходить в подобающей обстановке. Последнее, как было ясно уже в период подготовки этого письма, относилось прежде всего к действиям Америки во Вьетнаме, означало призыв к сдержанности. Намеченные направления себя оправдали. Именно по этой схеме в основном и шла практическая подготовка документов к встрече.

Учитывая опыт подготовки визита Никсона в Китай, Брежнев предложил, чтобы за несколько недель до этого в Москву для обмена мнениями по основным вопросам предстоящей встречи прибыл в негласном порядке Киссинджер. Так и было сделано. Киссинджер прилетел

в Москву 20 апреля, имел несколько встреч с Брежневым и провел переговоры с Громыко. Каждая из сторон «гнула» в своем направлении. Советские хозяева проявляли особую заинтересованность в подписании соглашения по ОСВ (по тексту которого оставался несогласованным еще ряд пунктов), а также политического документа об основных принципах советско-американских отношений. Было проведено внимательное обсуждение обоих этих вопросов: в принципе — с Брежневым, в деталях — с Громыко. Я присутствовал на этих беседах Брежнева с Киссинджером и могу сказать, что носили они в общем деловой, корректный и даже конструктивный характер. При этом, однако, бросилась в глаза одна любопытная деталь: вопрос о совместной политической декларации (о принципах мирного сосуществования) Никсон и Киссинджер вели как бы от себя лично, тщательно скрывая это от госдепартамента и государственного секретаря Роджерса. Киссинджер неоднократно давал это понять, что немало позабавило Леонида Ильича.

Сердцевиной переговоров во время «секретного визита» Киссинджера американцы стремились сделать вопрос о Вьетнаме, о продолжавшемся в то время успешном наступлении ДРВ на Юге — против вооруженных сил Тхиеу и поддерживавших его американских войск. Перспектива поражения на Юге приводила Никсона в отчаяние, и он все время порывался, как мы теперь знаем, обрушить сокрушительный удар на столицу и порты ДРВ даже ценой полного срыва своего визита в СССР. Он считал, что провал во Вьетнаме будет стоить ему поста президента. Брежнев настаивал, чтобы американцы поскорее возобновили (прерванные в то время) мирные переговоры с ДРВ в Париже и не допускали нападения на ДРВ, а со своей стороны, обещал призывать Ханой к сдержанности (большего он и в самом деле сделать не мог).

В конечном итоге можно сказать, что переговоры с Киссинджером, которые Брежнев провел весьма активно и целеустремленно, завершились договоренностью по всем основным контурам визита Никсона. Остался «подвешенным» вьетнамский вопрос, как это со всей очевидностью показали события последующих дней.

В ходе этих первых переговоров Брежнев, как мне показалось, стал ценить Киссинджера не только как весь-

ма компетентного, но и весьма реалистичного партнера по переговорам, умеющего, когда надо, искать пути к компромиссу. Нередко беседы шли в юмористическом тоне, к чему был склонен Брежнев и на что умел отозваться Киссинджер.

Интересно посмотреть, какую характеристику Брежнева представил Киссинджер после своей поездки Никсону перед прилетом президента США в Москву: «Брежнев будет стремиться обсуждать конкретные вопросы: характер общеевропейского совещания по вопросам безопасности, основные элементы соглашения об ОСВ, минирование гавани Хайфона, разграничения сфер влияния на Ближнем Востоке. Хотя он наверняка не будет знать всех деталей так досконально, как Громыко, тем не менее он будет хорошо подготовлен и будет стремиться оказывать на вас нажим по некоторым конкретным вопросам. Ему нужны конкретные результаты и соглашения, и он не постесняется ради этого непосредственно включиться в игру»[39]. Что ж, такую характеристику я бы опровергать не стал, и она, мне думается, была подтверждена ходом встречи в верхах.

Но в остающиеся до встречи дни на пути к ней раздался оглушительный взрыв мощной мины, сознательно заложенной американцами.

Убедившись в бессилии своих и южновьетнамских правительственных войск справиться в боях на суше с повстанцами Южного Вьетнама и поддержавшими их воинскими контингентами с Севера, администрация США решила «примерно наказать» саму ДРВ. Приблизительно 8 мая была начата жесточайшая бомбардировка столицы республики — Ханоя, его крупнейшего порта Хайфона и других пунктов силами стратегической авиации США. Хайфон и ряд других портов ДРВ были заминированы, была объявлена блокада ДРВ. В ходе этой операции среди пострадавших судов оказались четыре советских, на них погибли люди.

Перед самым началом нападения на ДРВ (или одновременно с ним) Никсон направил письмо Брежневу, извещая его об этой акции и призывая повлиять на Вьетнам, чтобы он немедленно прекратил военные действия на Юге. При этом президент обещал, что в случае урегулирования конфликта американцы выведут свои войска из Вьетнама в течение четырех месяцев. Обо всем этом Никсон объявил и публично в крайне резкой речи, на-

правленной против ДРВ. Брежнев, как и другие члены советского руководства, был потрясен и возмущен провокационным характером действий Вашингтона. Его мало трогали заботы Никсона о сохранении своего престижа в глазах американской общественности. Он видел только, что под угрозу поставлена советско-американская встреча, на подготовку которой было затрачено столько усилий и энергии, что его пытаются «припереть к стенке». Действовать под диктовку американцев, так, как они того хотели, то есть заставить Ханой прекратить наступление, отказаться от уже почти достигнутой победы на Юге, советское руководство просто не могло: руководство ДРВ в данной ситуации не послушало бы подобных «советов». Оставалось одно — оказать сопротивление американским домогательствам, но сделать это в такой форме, чтобы не дать им предлога для срыва встречи. Поэтому наша реакция была сдержанной. Были, конечно, и протест по поводу гибели наших людей и судов, и публичное заявление ТАСС с осуждением американских действий и выражением солидарности с вьетнамским народом. В своем ответе на письмо Никсона (11 мая) Брежнев категорически требовал прекращения американских бомбардировок и блокады ДРВ, а также возобновления мирных переговоров в Париже. О предстоявшей встрече *не говорилось ничего.* То есть фактически подразумевалось, что она состоится, как было условлено.

Вот это-то последнее и было для Брежнева самым тяжелым с точки зрения внутриполитической ситуации. В советском руководстве начали раздаваться и приобретать силу голоса, требовавшие отказаться от приема Никсона в ответ на нападение американцев на ДРВ, «дать им по носу», укрепить престиж Советского Союза как союзника этой социалистической страны. Насколько я сейчас могу вспомнить, такого рода настроения выражали тогда в Политбюро Подгорный, Шелест и, кажется, Полянский. Возможно, еще кто-то. Была реальная опасность, что такого рода «популистские» рассуждения могли найти отклик среди значительной части ЦК, да и общественности страны. Возьми эти настроения верх, под угрозой крушения оказались бы не только перспективы оздоровления отношений с США и первых шагов по ограничению гонки ядерных вооружений, но заодно наверняка и то, чего Брежневу удалось достичь ценой огромных усилий в течение нескольких лет в области укрепления

европейской безопасности. Словом, ставки были крупные. Леонид Ильич это хорошо видел и поэтому, стремясь укрепить свои позиции, созвал 19 мая, то есть за три дня до прибытия Никсона, пленум ЦК партии, на котором выступил с докладом о международном положении и подробно изложил свои доводы примерно в духе сказанного выше.

Хорошо помню ту атмосферу концентрированной напряженности, в которой готовился текст этого доклада в неизменном Завидове в обычной компании брежневских «речевиков» и при участии, конечно, А. А. Громыко и Б. Н. Пономарева. Леонид Ильич был в эти дни как ходячий клубок нервов, то выскакивал из зала, где шла работа, то возвращался, выкуривая сигарету за сигаретой. Напряженность усугублялась еще и тем, что как раз в эти часы развертывался в Бонне финальный этап борьбы за исторический Московский договор 1970 года между СССР и ФРГ. Оппозиция там пыталась дать арьергардный бой, добиваясь срыва ратификации договора в бундестаге. Час за часом поступала информация о развитии событий на этом фронте — донесения послов, резидентов КГБ, телеграммы ТАСС, радиоперехваты. И наконец 17 мая (всего за два дня до открытия пленума) поступает сообщение: договор бундестагом ратифицирован! Работа над «американской» частью доклада пошла значительно увереннее.

Активная поддержка Косыгина, Громыко, Суслова, Андропова сделала свое дело. Пленум прошел хорошо, доклад Леонида Ильича был принят и одобрен членами ЦК. Была одержана крупная внутриполитическая победа.

А ведь дело-то в общем висело на волоске. Стоило к открытию пленума ЦК поступить сообщению, что бундестаг отверг договор с СССР, как сейчас же, особенно в условиях продолжающихся бомбежек Ханоя и Хайфона, многие члены ЦК могли заявить: вот она чего стоит, эта разрядка, вот к чему приводят соглашения с империалистами. И дело, которому Брежнев посвятил столько лет, могло рухнуть...

Но теперь предстоял первый визит президента США в нашу страну, предстояли переговоры с Никсоном. Конечно, в них участвовали «по должности» Подгорный и Косыгин, разумеется, Громыко. Но первый шаг Леонид Ильич решил сделать сам. Он выразил пожелание провести с Никсоном первую беседу с глазу на глаз, в при-

сутствии только переводчика. Никсон на это охотно согласился. Его тоже устраивала возможность оттенить лично свою роль в происходящем, подкрепить этим свой уже пошатнувшийся авторитет в Америке. Кстати, он, как и Брежнев, придавал большое значение установлению хороших личных контактов с лидерами других стран. И в данном случае это, как я считаю, удалось обоим.

Доверительность беседы была подчеркнута и тем, что Никсон отказался от присутствия на беседе американского (госдеповского) переводчика. Кивнув в сторону Суходрева, он сказал: «Пусть Виктор мне потом даст копию своей записи беседы».

Брежнев провел беседу в доверительном и даже сердечном тоне, остановившись на главных для него вопросах: стремлении к коренному улучшению советско-американских отношений и роли в этой связи подготовленного заявления об основах взаимоотношений между СССР и США, необходимости завершить и подписать соглашение по ОСВ, важности проведения общеевропейского совещания. Намекнул он и на то, о чем годом позже прямо поставил вопрос во время своего визита в США: какое огромное значение имело бы обязательство СССР и США не применять ядерного оружия друг против друга.

От этой последней идеи Никсон ушел (формально предложив передать ее на рассмотрение Громыко и Киссинджеру), как уклонился он (а вернее, Киссинджер) от нее и годом позже.

И, разумеется, уже в этой первой беседе Брежнев не мог не затронуть такой больной для нас темы, как война США во Вьетнаме. Нам нелегко было принять вас в Москве в этих условиях, сказал он Никсону. Президент США предпочел не обсуждать на этот раз данную тему, разговор о ней был еще впереди.

Но в общем беседа получилась хорошая — и содержательная, и доброжелательная, и участники ее остались довольны.

Затем начались официальные переговоры в полном составе и многочисленные, зачастую ночные, рабочие встречи Громыко, Киссинджера и экспертов, особенно по ОСВ. И, конечно, официальные обеды с обменом торжественными речами. Каких-либо особых неожиданностей переговоры не принесли, поскольку документы были уже подготовлены. Лишь по ОСВ «перетягивание каната»

15 Зак. № 17

в некоторых пунктах продолжалось почти до конца, но в общем Брежнев занял уступчивую позицию.

О переговорах этих писалось много, подписанные в ходе их документы опубликованы, поэтому пересказом всего этого заниматься нет никакого смысла. Мне хотелось бы здесь как участнику переговоров и свидетелю ряда связанных с ними эпизодов высказать свои соображения о некоторых их результатах и вспомнить о некоторых деталях.

Прежде всего хотелось бы подчеркнуть принципиально важное, политически насыщенное содержание подписанного Брежневым и Никсоном 29 мая 1972 г. небольшого документа под названием «Основы взаимоотношений между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки». В нем фактически зафиксированы важнейшие принципы, за признание которых Советское государство боролось в своей внешней политике на протяжении многих лет. Позволю себе привести здесь только три кратких извлечения из текста этого документа, чтобы было ясно, о чем я говорю:

«...В ядерный век не существует иной основы для поддержания отношений между ними (СССР и США.— *Авт.*), кроме мирного сосуществования. Различия в идеологии и социальных системах СССР и США не являются препятствием для развития между ними нормальных отношений, основанных на принципах суверенитета, равенства, невмешательства во внутренние дела и взаимной выгоды».

«...СССР и США... будут делать все возможное, чтобы избегать военных конфронтаций и предотвратить возникновение ядерной войны».

«Необходимыми предпосылками для поддержания и укрепления между СССР и США отношений мира являются признание равенства и отказ от применения силы или угрозы ее применения».

Таким образом, политически этот документ (как и подписанный в 1970 г. Московский договор с ФРГ) — своего рода ядро хартии мирного сосуществования, которой тремя годами позже стал заключительный документ общеевропейского совещания в Хельсинки. И если в германском договоре ключевым моментом был вопрос о признании послевоенных границ, то в процитированном выше документе, на мой взгляд, принципиальное значение имело использование в совместном с американцами документе слов *«признание равенства»* там, где речь шла о поддержании отношений мира между сверх-

державами. Собственно, такое признание и легло в основу «военных» документов, подписанных Брежневым и Никсоном,— соглашения по ОСВ и Договора по ПРО.

Подписание этих двух последних документов следует, по-моему, отнести к громадным реальным достижениям советско-американской встречи в верхах. Это были первые конкретные шаги по пути ограничения гонки ядерных вооружений.

И наконец, несомненным успехом Брежнева и Громыко я бы назвал включение в совместное с американцами коммюнике о встрече положения об ускорении подготовки общеевропейского совещания.

Остальные соглашения, подписанные в те дни в Москве, представляли собой как бы первые шаги к материальному наполнению намеченных контуров поворота к новым взаимоотношениям между СССР и США, как они представлялись тогда участникам переговоров.

Любопытно, пожалуй, отметить такую деталь, как *распределение подписей* советской стороны под принятыми документами. Оно лучше, чем что-либо другое, говорит о реальном соотношении сил и авторитета, сложившемся к тому времени в советском «коллективном руководстве». Хотя с американской стороны неизменно действовал президент, с советской подписи распределились так: наиболее принципиальные и ответственные документы («Основы взаимоотношений», соглашение по ОСВ, Договор по ПРО) подписал Л. И. Брежнев; Н. В. Подгорному (нашему «президенту») было отведено подписать соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, а председателю Совета Министров А. Н. Косыгину — соглашение о сотрудничестве в области исследования космоса. Остальные документы — о сотрудничестве в области здравоохранения, науки и техники, о предотвращении инцидентов в открытом море — подписали соответствующие министры. И еще один момент: в совместном коммюнике было сказано, что Никсон пригласил посетить США Л. И. Брежнева, Н. В. Подгорного и А. Н. Косыгина и «приглашение было принято».

Однако с ответным визитом поехал, как известно, только Брежнев. Так что у американской администрации, где, судя по мемуарам Киссинджера, еще недавно гадали, кто же является наиболее авторитетной фигурой в послехрущевском советском руководстве и насколько

сильны позиции Брежнева, теперь не должно было оставаться сомнений. И чисто по-человечески очень любопытна характеристика, которую после московских переговоров Никсон дает в своем дневнике Брежневу:

«Нет никаких сомнений в отношении общей силы (позиций) Брежнева. Прежде всего, он на пять лет моложе двух других. Во-вторых, у него сильный, глубокий голос и немалая доля физического магнетизма и напористости, которые дают себя знать, когда вы с ним встречаетесь. В-третьих, даже если он иногда чересчур многословен и выражается не очень четко, он всегда проводит свою линию с большой энергией, и он очень хитер. Он обладает также способностью уходить в сторону от вопроса, если его позиция по нему оказывается невыигрышной»[40].

Теперь особо о беседе по Вьетнаму. Для Никсона это была уж совсем ненужная тема, поскольку дело было сделано: бомбардировки и блокада ДРВ не помешали московской встрече. Но советским-то руководителям обязательно надо было поднять эту тему, чтобы оправдаться перед своими коллегами, перед ЦК, перед общественностью. И это было сделано, но весьма своеобразно — так, чтобы не сорвать переговоры в целом и их позитивные итоги. Вопрос был поднят не в раззолоченном Екатерининском зале Кремля, не в присутствии обеих обширных делегаций, а в узком кругу, почти тайком. Для этого Никсона пригласили провести воскресенье на подмосковной даче в Новом Огареве (столь известном потом), покататься на катере по Москве-реке, пообедать. Поехало немного людей: Никсон, Киссинджер, пара его помощников, а с нашей стороны — «тройка»: Брежнев, Подгорный, Косыгин, переводчик и от помощников — я. Вначале была действительно прогулка на катере на подводных крыльях (который потом Брежнев подарил Никсону). А затем договорились перед обедом посидеть, обсудить кое-что. Разместились в маленькой гостиной на первом этаже, за небольшим столиком. И вот тут наши руководители сказали, что хотят вести серьезный разговор по Вьетнаму. Американская агрессия против этой страны — фактически союзницы СССР — создала для советского руководства почти непреодолимые препятствия на пути к встрече с Никсоном и дальнейшего улучшения советско-американских отношений, которого в Москве искренне хотят. Нам

вообще трудно понять смысл этой варварской войны, которую ведет Америка силами чуть не половины всей своей армии против небольшой бедной страны, находящейся за тысячи километров от США и никакой угрозы для американцев не представляющей. Причем ведет самым варварским способом, с применением всех видов оружия, кроме ядерного. И вот сейчас не нашли ничего лучше, как обрушиться на столицу ДРВ и ее крупнейший порт Хайфон, уничтожать мирное население, блокировать морские подходы к стране. Это же прямая провокация.

Я сейчас не помню точно, кто именно из наших троих участников беседы что говорил (начал Брежнев, потом Подгорный, Косыгин), но содержание было в общем примерно таким. Причем доходило до самых крепких слов (особенно у Подгорного): «Вы же убийцы, на ваших руках кровь стариков, женщин и детей, когда вы наконец закончите эту бессмысленную войну?» И главное требование с нашей стороны: прекратите бомбардировки и блокаду, немедленно возобновите мирные переговоры в Париже.

Пока продолжались эти гневные тирады нашей «тройки», я, отрываясь от блокнота с записями, смотрел на американских собеседников и думал, какова будет их реакция. Лица и Никсона, и Киссинджера все больше наливались кровью, и я опасался всерьез, что вместо переговоров получится взрыв. Но Никсон сдержался. Он лишь ответил, что это не «его» война, она начата его предшественниками, а он, наоборот, уже вывел часть войск и готов вывести все «на разумных условиях» (т. е. понимай: при сохранении проамериканского режима Тхиеу на Юге). Жаловался на неуступчивость северных вьетнамцев, просил повлиять на них. С нашей стороны ему было сказано, что диктовать вьетнамцам мы ничего не можем, но соображения американцев можем передать. Подгорный может поехать для этого в Ханой, если, конечно, американцы на это время прекратят свои бомбардировки. На этом в общем и закончили. Каких-либо обещаний с нашей стороны насчет сокращения (и тем более прекращения) поставок оружия Вьетнаму не давалось.

В целом разговор был тяжелый и продолжался, по-моему, часа два-три. Для советских руководителей, конечно, важно было «отметить» этот демарш и публич-

но. Поэтому в опубликованном сразу вслед за переговорами постановлении ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета и Совета Министров СССР мы находим такой абзац:

«Руководящие органы КПСС и Советского государства выражают полную поддержку последовательной твердой позиции, изложенной на переговорах советской делегацией по вопросу продолжающейся агрессии США во Вьетнаме и других странах Индокитая. Солидарность Советской страны с героической борьбой вьетнамского народа была и остается незыблемой»[41].

Разумеется, этот текст был адресован и вьетнамским союзникам, и советской общественности.

Ну а как сложились дальше контакты с американскими гостями после этого «горячего» разговора в маленькой гостиной?

Да вполне нормально, я бы сказал, как будто ничего и не было. Только сразу после беседы ее участники и другие поднялись в столовую на ужин и последовала своего рода «разрядка». Настроение было веселое, участники крепко выпили, так что по окончании ужина Никсон едва нашел выход из зала... В ходе дальнейших официальных встреч вьетнамская тема не затрагивалась.

В целом, однако, я убежден, что и беседы с Никсоном по вьетнамским делам, и последующие разговоры в Ханое оказали стимулирующее воздействие на дальнейший ход американо-вьетнамских контактов и способствовали прекращению войны между США и ДРВ в начале 1973 года.

В заключение хочу отметить, что в ходе этого визита Брежнев и Никсон, как мне кажется, «хорошо поладили» друг с другом. Между ними установилась атмосфера чего-то вроде доброжелательного, взаимного уважения. Это сказывалось и в дальнейшем. В итоге этих первых переговоров Брежнев как бы уверовал наконец в возможность наладить отношения с США так, как это ему удалось сделать с Западной Европой.

К сожалению, дальнейший ход событий не очень подтвердил этот вывод.

Крупный пакет важнейших политических и иных документов, подписанных в Москве, явно пришелся не по вкусу очень влиятельным правым кругам в Америке, сторонникам продолжения «холодной войны» и безудержной гонки вооружений. Прокатилась волна противо-

действия. В Америке развернулась хорошо организованная массовая недружественная СССР пропаганда, главным образом под флагом защиты прав человека. Поправка Джексона — Вэника в конгрессе привела к срыву торгового соглашения между двумя странами. Позиции самого Никсона были серьезно расшатаны в результате «уотергейтского дела».

Второй тур переговоров Брежнева с Никсоном и его итоги имели уже другой характер. Это был ответный визит Леонида Ильича в США, его первый приезд в Америку, которого он ожидал с большим интересом и надеждами. Внешне визит прошел вполне благополучно и приятно. Хозяин был радушен и внимателен, рядовые американцы (на улицах и площадях, у ограды Белого дома) принимали гостя тепло и приветливо, контактность Брежнева встречала отклик. Брежневу показали Вашингтон (в том числе во время прогулки на яхте по реке Потомак), калифорнийское побережье Тихого океана (в имении Никсона Сан-Клемент), провели с ним помимо официальных переговоров и парадного обеда в Белом доме продолжительные, спокойные беседы в тихой зеленой загородной резиденции президента Кэмп-Дэвиде, организовали встречи с сенаторами, с представителями деловых кругов, перед которыми он выступил с обстоятельными речами. Словом, все было как надо.

Что же касается политических итогов визита, то здесь дело обстояло значительно скромнее, если сравнить с московскими переговорами. Общая обстановка в Америке, а также, осмелюсь утверждать, настрой сильно влиявшего на президента Киссинджера мало благоприятствовали серьезному прогрессу в дальнейшем развитии советско-американских отношений, хотя Брежнев был на это настроен. Кое в чем удалось продвинуться в переговорах по подготовке будущего Договора ОСВ-2, включая договоренность продолжить этот процесс *на основе равной безопасности друг друга* (важное положение, на котором очень настаивал — и вполне справедливо — Громыко). Тем самым был подготовлен путь к дальнейшим, более существенным договоренностям с Фордом во Владивостоке в конце 1974 года. Были заключены соглашения по некоторым вопросам сотрудничества в конкретных практических областях (энергетика, транспорт, сельское хозяйство).

Но главной политической цели, с которой Брежнев направился в США, ему достичь не удалось. Речь шла о том, чтобы заключить договор между Советским Союзом и Соединенными Штатами о взаимном неприменении друг против друга ядерного оружия. С точки зрения Брежнева, это означало бы наилучшую гарантию прочного мира во всем мире. С таким предложением он и приехал к Никсону. Но Киссинджер, а вслед за ним и Никсон быстро истолковали это предложение по-своему. Они восприняли его как попытку подорвать основы отношений Вашингтона с союзниками по НАТО, а также ослабить влияние США на Японию и Китай. Поэтому Киссинджер изобрел «встречную» формулу, которая гласила: «...Стороны соглашаются, что они будут действовать так, чтобы предотвратить возникновение ситуаций, способных вызвать опасное обострение их отношений, избежать военных конфронтаций и чтобы исключить возникновение ядерной войны между ними и между каждой из Сторон и другими странами».

Было ясно видно, что американцев с этой позиции не сдвинуть. Пришлось принять предложенную ими «благообразную» формулу. Она и составила основу подписанного Брежневым и Никсоном документа, который носил громкое название «Соглашение о предотвращении ядерной войны», а по существу был пустышкой. Брежнев, конечно, был разочарован.

Безуспешной оказалась и его энергичная попытка склонить Никсона к уступкам в пользу арабской точки зрения, чтобы избежать возобновления арабо-израильской войны на Ближнем Востоке.

Таким образом, в конечном итоге визит Брежнева в США нельзя было назвать удачным.

Недаром же, покинув Вашингтон, он тут же поспешил в Париж — успокоить Жискар д'Эстена, поскольку французы всегда с традиционной ревностью и подозрительностью относились к любым признакам обходящего Францию двустороннего улучшения советско-американских отношений.

Осенью того же 1973 года, как я уже упоминал, Брежнев вступил в активный письменный контакт с Никсоном в связи со вспыхнувшей на Ближнем Востоке новой войной, стремясь спасти терпевшие поражение Египет и Сирию. Это вмешательство Москвы несом-

ненно способствовало урегулированию конфликта. Так что какая-то «отдача» от отношений, установившихся у него с Никсоном, была.

Следующим этапом стал второй визит Никсона как президента в Советский Союз 27 июня — 3 июля 1974 г., в последний год пребывания Ричарда Никсона на посту президента США. Внешне это был, конечно, вполне деловой и, как говорится, конструктивный визит. В Москве Никсон подписал целый ряд соглашений о сотрудничестве в различных областях: жилищного строительства, энергетики, медицины, о содействии экономическому сотрудничеству. Их, как и прошлый раз, с советской стороны подписывали «попеременно» Косыгин, Подгорный, Брежнев. Но самым значительным следует считать подписанный Никсоном и Брежневым Договор об ограничении подземных испытаний ядерного оружия. Этот последний, еще не охваченный договорным запретом 1963 года вид испытаний стороны условились ограничить мощностью максимум 150 килотонн. Причем было указано, что стороны продолжат переговоры о полном запрещении подземных испытаний ядерного оружия (на чем давно настаивал Советский Союз). Подписание этого договора (действующего до сих пор) стало существенным шагом по пути ограничения гонки ядерных вооружений.

Почти сразу же после официальной московской части визита Брежнев улетел с Никсоном в Крым, где они провели пару дней на двух соседних дачах практически вдвоем. Это были дни, когда Никсон стоял уже буквально на пороге завершения своей политической карьеры из-за «уотергейтского дела», и оба собеседника, конечно, это понимали. Поэтому их беседы носили как бы итоговый характер и были посвящены оценке дальнейших перспектив отношений между двумя странами. Брежнев принимал Никсона очень тепло, даже, можно сказать, сердечно, это ясно чувствовалось в течение этих крымских дней. Помню, как во время продолжительной прогулки на катере вдоль Южного берега Крыма, во время обеда на борту Никсон (уже под хмельком, как и другие участники обеда) поднялся и, слегка запинаясь, но очень проникновенно сказал: «Я хочу предложить тост за исключительно важную политическую доктрину, сформировавшуюся за последнее время,— за доктрину прочного всеобщего мира, за доктрину Брежнева — Никсона».

Самым значительным и, я бы сказал, символическим документом этой последней встречи Брежнева с Никсоном я считаю подписанное в конце визита (3 июля) в Москве Совместное советско-американское коммюнике. Это — весьма обширный документ, содержащий изложение позиций сторон по многим двусторонним и международным вопросам, но первая, довольно краткая его часть под заголовком «Прогресс в улучшении советско-американских отношений» имеет, как мне кажется, особое значение. Это как бы итог сотрудничества двух лидеров великих держав и их совместный призыв на будущее. Чтобы сделать эту мысль яснее, позволю себе процитировать здесь (частично) три ключевых места из упомянутого текста, подписанного Брежневым и Никсоном:

«Подробно рассмотрев развитие отношений между СССР и США за период, истекший с момента советско-американской встречи на высшем уровне в мае 1972 года, Стороны с удовлетворением констатировали, что благодаря их совместным энергичным усилиям удалось в этот короткий срок обеспечить коренной поворот в этих отношениях в направлении мира и широкого взаимовыгодного сотрудничества в интересах народов обеих стран и всего человечества...

Стороны подтвердили обоюдную решимость продолжать активную перестройку советско-американских отношений на основе мирного сосуществования и равной безопасности...

Стороны глубоко убеждены в настоятельной необходимости того, чтобы сделать процесс улучшения советско-американских отношений необратимым. Они считают, что в результате их усилий создана реальная возможность для достижения этой цели»[42].

Брежнев высоко ценил итоги своих контактов с Никсоном и сохранял лояльность в отношении своего партнера даже в самый трудный для того политический период. Когда «уотергейтское дело» достигло апогея и стало ясно, что карьере Никсона пришел конец, Леонид Ильич отдал распоряжение отделу пропаганды ЦК обеспечить, чтобы в наших средствах массовой информации не муссировались антиниксоновские темы, соблюдалась корректность.

Следующим шагом Брежнева в области развития советско-американских контактов, в первую очередь по вопросам ограничения ядерных вооружений, явились двухдневная встреча и переговоры 23 и 24 ноября 1974 г. с новым президентом США **Джеральдом Фордом**, сме-

нившим Никсона после ухода его в отставку летом того же года.

Встреча во Владивостоке была исключительно деловой, лишенной всякой протокольной парадности (не считая одного коротенького совместного обеда). Формально переговоры охватывали широкий круг вопросов (включая повторение провозглашенной в ходе беседы с Никсоном фразы-формулы о стремлении придать «необратимый характер» улучшению советско-американских отношений). Фактически же все сосредоточилось на продвижении вопроса о переговорах по ограничению стратегических вооружений (ОСВ-2). Состав участников переговоров был с обеих сторон традиционным, так как Форд привез с собой не какую-то новую «команду», а Киссинджера и его обычных сотрудников. Это облегчало дело. Расхождений в позициях сторон было много, но работали исключительно напряженно в честных поисках компромиссов. Да и Форду как новому президенту явно нужен был какой-то осязаемый результат встречи с Брежневым. Поэтому сил не жалели. В первый день переговоры закончились где-то около двух часов ночи, а утром продолжились как обычно. В итоге были достигнуты определенные результаты: удалось согласовать принципы оговоренных суммарных количеств носителей стратегического оружия — ракет с разделяющимися головными частями (это был важный шаг вперед). Официально было зафиксировано также (по настоянию советской стороны), что новое соглашение «будет основано на принципе равенства и одинаковой безопасности», а также условлено, что после заключения Договора ОСВ-2 стороны продолжат переговоры о дальнейших сокращениях стратегических ядерных вооружений.

В чисто человеческом плане владивостокская встреча особых воспоминаний не оставила. Слишком все были заняты делом, и не было времени для установления каких-либо личных контактов. Да и Форд, наверное, был менее «коммуникабельным», чем Никсон. Запомнилась только одна забавная сценка при встрече президента на аэродроме. Форд вышел из самолета в очень морозную погоду легкомысленно в легкой шляпе, не то вообще без головного убора. Брежнев немедленно подал знак охране, тут же появилась теплая, мохнатая русская шапка, которую Леонид Ильич торжественно водрузил на голову президента. Тот был доволен.

На этой дальневосточной встрече активное личное участие Брежнева в развитии советско-американских отношений, собственно говоря, и закончилось. Прежде всего стали постепенно появляться признаки нарастающего заболевания Брежнева, спада энергии, ослабления интереса к делам. С другой стороны, в Америке все отчетливее была заметна тенденция к охлаждению отношений с СССР, все более давали себя знать «ястребы». Это сказалось и на ходе президентской предвыборной кампании 1976 года, где уже ни один из соперников — ни Форд, ни Картер — не считал для себя выгодным выступать в отношении СССР с позиций, которыми завершил свою деятельность Никсон. Отношения охладились и даже обострились по многим направлениям: провалились торговое соглашение и статус наибольшего благоприятствования для СССР, американцы очень болезненно реагировали на помощь, оказанную Советским Союзом правительству Анголы в его борьбе с проамериканскими отрядами УНИТА, были форсированы работы по созданию в США мощной дальнобойной баллистической ракеты MX, крылатых ракет и, несмотря на широкие протесты общественности в Европе и самих США, велась подготовка к созданию нейтронной бомбы. Все активнее и беззастенчивее американцы (включая высшие официальные инстанции) вмешивались в советские внутренние дела по линии защиты прав граждан СССР, что воспринималось советским руководством с большим раздражением.

Что касается переговоров по ОСВ-2, то они хотя и продолжались, но стали заметно затягиваться (главными предметами разногласий стали американские крылатые ракеты и советские бомбардировщики, именуемые в США «бэкфайер»).

Интенсификация процесса ядерного вооружения в США вызывала, конечно, соответствующую реакцию и с советской стороны. Устинов не дремал: постоянно велись работы над новыми видами вооружений, строились новые ядерные подлодки. Словом, маховик гонки вооружений раскручивался с новой силой, что не обещало ничего хорошего.

На фоне всех этих факторов нетрудно понять, что Брежнев, верный, кстати, своему постоянному принципу — включаться в дела лично и выдвигаться на первый план лишь в тех случаях, когда дело выглядело пер-

спективным и обещало успех, в эти годы устранился от личного участия в советско-американских делах, смотрел на них как бы со стороны, лишь иногда выступая с резкой критикой политики Вашингтона. Приведу здесь два наиболее ярких примера.

16 августа 1977 г., выступая в Кремле на обеде в честь Тито, Леонид Ильич заявил: «В последнее время много говорят и пишут о том, что положение в мире осложнилось. Это так. Ведь факт, что замедлились темпы наиболее важных переговоров по вопросам ограничения гонки вооружений. Факт, что определенные империалистические круги развязали против социалистических стран враждебную пропагандистскую кампанию, выдержанную, по сути дела, в духе «холодной войны» и отнюдь не способствующую усилению доверия между участниками международных отношений, улучшению международного климата.

Дело, конечно, не в пропаганде. Этого мы не боимся, потому что уверены в правоте своих идей. Дело в том, что враждебная кампания используется в качестве дымовой завесы для нового витка гонки вооружений. Такая связь стала особенно очевидной после того, как в США принято решение о развертывании производства крылатых ракет и выделении средств на нейтронную бомбу»[43].

И в мае 1978 года Брежнев, выступая по телевидению ФРГ, вновь возвращается к этой теме:

«Главное состоит в том, что пока не удалось обуздать чудовищную гонку вооружений. Это очень тревожное обстоятельство. Ведь такая гонка не может продолжаться без конца. Она неумолимо подтачивает здание политической разрядки. Она, если ее не остановить, может поставить под вопрос само будущее человечества»[44].

Следуя своей линии отхода от активного участия в вопросах отношений с США, Брежнев трижды уклонялся от встреч, предлагавшихся ему президентами Соединенных Штатов: с Фордом (в июне 1975 г.) и дважды с Картером (в 1976 г.). Он, правда, принимал для обсуждения некоторых проблем по ОСВ в Москве государственных секретарей США Киссинджера (в январе 1976 г.) и Вэнса (в марте того же года), но фактически все дело руководства переговорами по ОСВ (на базе владивостокских договоренностей) было передано им в руки Громыко. И последний, в тесном контакте с Устиновым

и Андроповым, довел в конечном счете это дело до успешного конца. К весне 1979 года текст договора был согласован, и Брежнев с Картером смогли встретиться для его подписания в Вене в июне того же 1979 года.

Встреча в Вене, если говорить о содержании состоявшихся там бесед «на высшем уровне», была в значительной степени формальной. Брежнев уже был не в состоянии вести активные переговоры, отрываться от заранее заготовленных шпаргалок. Тем не менее главное было сделано: важнейший договор был подписан (хотя его дальнейшая судьба оказалась сложной), а общий тон бесед с Картером был не только корректным, но и вполне доброжелательным. Вспоминается даже такая деталь: по завершении переговоров в советском посольстве был дан обед в честь Картера, для которого Бжезинский подготовил текст довольно сухого и сдержанного выступления. Картер же, начав свое выступление, неожиданно внес в него ряд заметно утепляющих моментов и, в частности, закончил тостом «за моего нового друга Брежнева».

А потом еще один случай. Когда в пышном зале венского дворца Хофбург, при большом скоплении высокопоставленной публики, Брежнев и Картер поставили свои подписи под договором, Джимми Картер вдруг, повернувшись к Брежневу, раскрыл объятия. Явно не ожидавший такого жеста, Леонид Ильич на секунду даже замешкался, но потом крепко обнял президента под аплодисменты присутствовавших.

Дальнейшая судьба Договора ОСВ-2 известна. Он был надолго заблокирован в конгрессе США, а к концу года был отозван самим президентом в результате афганских событий. Тем не менее свою роль он сыграл, так как некоторое время спустя обе стороны заявили, что будут соблюдать его условия де-факто — и действительно это делали.

Что же касается процесса развития советско-американских отношений, сотрудничества по различным направлениям, намечавшегося сторонами, то всему этому был положен внезапный и решительный конец американской стороной в результате ввода советских войск в Афганистан. Желая продемонстрировать решительность и твердость своего осуждения этой советской акции, Картер приостановил тогда действие многих

советско-американских соглашений и фактически объявил что-то вроде блокады Советского Союза.

На этом и закончились усилия Брежнева по достижению серьезного и долговременного улучшения отношений с США.

При всем при том я убежден: то, что Брежнев (и наши соответствующие ведомства под его руководством) все же успел сделать в сотрудничестве с тремя президентами США, заложило хорошую, полезную основу для дальнейшего сближения и сотрудничества с Соединенными Штатами на пользу разрядки международной напряженности и укрепления всеобщего мира.

БРЕЖНЕВ И ИНДИЯ

Могу с уверенностью сказать: Индию Брежнев высоко ценил как политик и просто любил как человек. Так было начиная с его первой и самой длительной поездки в эту страну в 1961 году (еще как председателя Президиума Верховного Совета) и до конца его жизни. Он любил яркую природу Индии, ее обаятельный народ, с огромным уважением и неподдельной теплотой относился к тем ее выдающимся лидерам, с которыми ему лично пришлось иметь дело,— к Джавахарлалу Неру и Индире Ганди. Как политик, он всегда видел в Индии надежную опору советского внешнеполитического курса в Азии (особенно, конечно, в период обострения отношений с Китаем). И неизменно отстаивал курс на оказание всемерной экономической и технической помощи Индии, всемерного содействия строительству ее тяжелой промышленности и укреплению вооруженных сил.

Брежнев был в Индии трижды, в том числе и на закате своей жизни — в 1980 году. Но, пожалуй, самые яркие, незабываемые впечатления оставил первый визит — в декабре 1961 года по приглашению Неру. Леонид Ильич ехал тогда еще по поручению Хрущева, который, собственно, и положил начало курсу на сближение с Индией своим визитом в Дели в 1955 году (с Булганиным и Микояном). Брежневу было поручено как бы расширить и утрамбовать проложенную тропу дружбы и сотрудничества. И он взял на себя эту миссию с

большим удовлетворением и даже энтузиазмом, выполнял ее неутомимо.

Он выступал там с публичными речами практически ежедневно на протяжении своего трехнедельного визита. Всего произнес 21 речь. Часть из них готовилась прямо на борту самолета во время перелета из одного города в другой. Помимо официальных протокольных речей на обедах и приемах он выступил в парламенте, на площади в Дели перед историческим «Красным фортом», на громадном митинге Общества индийско-советской дружбы в Бомбее, перед коллективами предприятий, строившихся в Индии при участии Советского Союза. Газеты страны в те дни были заполнены выступлениями Брежнева. И принимались они весьма доброжелательно, так как были доброжелательными по духу и содержанию, как и его официальные переговоры с индийским руководством. Оно и не удивительно: ведь по многим крупнейшим международным проблемам того времени — таким, как отношение к Китаю, Америке, вопросам сдерживания гонки вооружений,— позиции сторон во многом совпадали. Как было обоюдным и желание развивать широкое взаимовыгодное сотрудничество в различных областях.

Поэтому всегда осторожный Брежнев чувствовал себя на этот раз гораздо более раскованным, проявлял больше инициативы, чем во время других своих аналогичных поездок во времена Хрущева.

Вот один пример. Как раз во время советского визита Неру предпринял неожиданный для многих и весьма решительный шаг по освобождению территории Индии от последних остатков колониальной зависимости. В три земли, расположенные в Индии, но находившиеся (столетиями) под владычеством Португалии,— Гоа, Даман и Диу — были внезапно введены индийские войска и объявлено о присоединении их к Индии. Расчет Неру был точен: из-за этих осколков бывшей португальской империи и в защиту полуфашистского салазаровского режима едва ли кто-либо в мире серьезно выступил бы против Индии. Так оно и получилось. Но оказалось, что первым пришлось реагировать Советскому Союзу. Буквально через пару часов после того, как телеграфные агентства разнесли по всему миру весть о шаге, предпринятом Индией, Брежневу предстояло выступить с одной из своих публичных речей (не

помню уж точно где). Не реагировать, обойти молчанием событие, глубоко взволновавшее весь индийский народ и восторженно им принятое, было бы неловко, это могло даже быть понято как неодобрительная позиция со стороны СССР. Но, хотя вопрос был принципиальный, времени на согласование с Москвой уже не было, надо было решать самому. И тут у Брежнева не было ни минуты колебаний: он сразу же вставил в текст речи два абзаца с одобрением индийской акции и подчеркиванием ее исторического значения. Это место в речи было принято с энтузиазмом и аудиторией, и печатью страны, Неру особо благодарил за него. Реакцию Москвы можно было выразить словами «молчание — знак согласия».

Большой любитель природы и животных, Брежнев во время этого своего (единственного продолжительного) визита в Индию все время рвался соприкоснуться как-то с экзотической природой страны, требовал, чтобы его свозили в джунгли. Пойти ему в этом навстречу хозяева, конечно, не решились. Пришлось ограничиться посещением интереснейшего Делийского зоопарка, где затем Неру подарил ему маленького слоненка, которого кормили из бутылочки молоком. Кажется, он был передан Леонидом Ильичом в Московский зоопарк.

По приходе к власти Брежнев сразу же взял решительный курс на развитие и углубление сотрудничества с Индией по всем линиям — внешнеполитической, экономической, оборонной — и последовательно осуществлял этот курс до конца своей жизни.

Советский Союз оказал в эти годы широкое экономическое и техническое содействие Индии в развитии ведущих отраслей ее промышленности — металлургии, машиностроения, энергетики. При прямом участии СССР в Индии были построены десятки важнейших объектов. В частности, строительством мощного металлургического комбината в Бхилаи руководил друг Брежнева В. Э. Дымшиц, будущий председатель Госснаба СССР.

Во внешнеполитической области заслуживают упоминания такие шаги брежневского руководства в отношении Индии, как посредничество в 1966 году, которое помогло уладить острый конфликт между Индией и Пакистаном (с этой «горячей» миссией Брежнев, верный своим обычаям, предпочел не ехать сам в Ташкент, а направил туда Косыгина), подписание в августе 1971 года Дого-

вора о мире, дружбе и сотрудничестве между СССР и Индией, а в конце 1971 года — решительная поддержка Индии в ее войне с Пакистаном (из-за будущей Бангладеш), несмотря на протесты и устрашающие военно-морские жесты со стороны Америки и даже угрозу срыва уже согласованного визита Никсона в Москву (об этом я уже упоминал). В этот острый период СССР осуществлял форсированные поставки оружия Индии. «Для Индии нам ничего не жалко»,— говорил, как и в случае с СРВ, Брежнев. Такая его позиция диктовалась, конечно, в значительной мере опасением возможного будущего большого столкновения с Китаем, напряженность в отношениях с которым еще не спадала.

На фоне всех этих событий у Брежнева совершенно неожиданно для всех нас родилась идея, которую он неоднократно повторял нам, своим помощникам, но, видимо, также и своим коллегам по руководству. Он решил, что нам следует передать Индии атомную бомбу или по крайней мере технологию ее изготовления. Уже с первого раза мы, услышав об этой идее, принялись дружно отговаривать Брежнева. Это был бы громадный риск. Если сегодня у власти в Дели Индира Ганди с ее дружественной СССР политикой, то кто гарантирует, какое там будет руководство завтра и какую политику будет проводить? И как отреагирует мировое сообщество на грубое нарушение Москвой Договора о нераспространении ядерного оружия? Не говоря уж о неизбежном дальнейшем обострении в этом случае отношений с Китаем. Эти и другие аналогичные аргументы мы повторяли Леониду Ильичу неоднократно. Видимо, так же поступали и его коллеги. И вскоре дело это затихло, Брежнев к нему больше не возвращался.

Но к Индии Брежнев относился до конца как к главной опоре нашей политики в Азии, это у него не менялось.

Сам Леонид Ильич был в Индии с официальными визитами еще два раза: в 1973 и 1980 годах (т. е. будучи уже совсем больным).

То, что было сделано лично Брежневым и под его руководством за годы его пребывания у власти в плане развития и углубления дружественных отношений с Индией, принесло свои плоды. Даже правые деятели, временами сменявшие Индиру Ганди в Дели, не считали уже возможным менять курс на сотрудничество с СССР.

А Раджив Ганди, придя к власти, решительно и последовательно продолжил эту линию во внешней политике. Даже теперь, во время великих смут и потрясений в жизни нашей Родины, основы дружбы с Индией, судя по всему, сохраняются прочными.

Хочу добавить еще одно. Много положительного в дело строительства нашей дружбы с великой Индией внесли советские послы, работавшие в те годы в Дели. И в этой связи я хочу прежде всего назвать покойных ныне Пантелеймона Кондратьевича Пономаренко и Ивана Александровича Бенедиктова, сумевших завоевать уважение и искреннее доверие Джавахарлала Неру, назвать Юлия Михайловича Воронцова, деятельность которого высоко ценила Индира Ганди. Бенедиктова и Воронцова я видел сам «в деле», на их посту в Дели, и убедился, каким высоким авторитетом пользовались эти послы в Индии. Со своей стороны, Леонид Ильич Брежнев тоже весьма ценил их работу, прислушивался к их советам и рекомендациям.

БРЕЖНЕВ И АФГАНИСТАН

Речь, конечно, пойдет в основном о вводе советских войск в Афганистан в декабре 1979 года и начале военного вмешательства СССР в гражданскую войну в этой стране, продолжавшегося несколько лет. Скажу сразу же: по моему твердому убеждению, ввод войск в Афганистан — самый крупный грех и просчет Брежнева во внешнеполитической концепции.

Однако, чтобы лучше понять обстоятельства, приведшие к такому шагу, необходимо вспомнить и иметь в виду целый ряд немаловажных факторов. Главные из них, по-моему, таковы.

Первый. У СССР были прекрасные отношения с Афганистаном все годы, когда там у власти стоял король Мухаммед Захир-шах, а затем и его преемник принц Дауд. Отношения как экономические, так и политические. Брежнев сам принимал участие в развитии этих отношений. В октябре 1963 года (еще при Хрущеве) он как председатель Президиума Верховного Совета нанес один из первых своих официальных визитов именно в Афганистан. Я лично был свидетелем исклю-

чительно теплого приема, оказанного ему там королем и населением. В заключительном сообщении о визите подчеркивалось, что стороны выразили удовлетворение развитием дружественных советско-афганских отношений как важного фактора стабильности и мира на Среднем Востоке и в Центральной Азии и намерены впредь укреплять и развивать эти отношения. В дальнейшем Брежнев неоднократно встречался с королем, приезжавшим в Крым на отдых по приглашению советского руководства. Экономические отношения развивались также неплохо, на действительно взаимовыгодной основе. Мы оказывали содействие и укреплению обороны Афганистана. Граница с Афганистаном всегда считалась спокойной и надежной. Так что ни у Брежнева, ни у кого-либо еще из руководства в Москве не было *никакой заинтересованности* в свержении афганского руководства и уж тем более во вторжении в эту страну. Всякие рассуждения западной пропаганды о намерении СССР таким путем «пробиться к теплым морям» — не более чем злонамеренный миф. Об этом среди советских руководителей никогда даже и речи не было *ни на каком этапе*, могу утверждать это с полной уверенностью.

Второй. Апрельская революция 1978 года, а точнее вооруженный переворот, совершенный кучкой левонастроенных офицеров, в основном учившихся в СССР и возглавивших немногочисленную и маловлиятельную Народно-демократическую партию Афганистана с ее лозунгом «строительства социализма» в этой стране, произошла *отнюдь не по инициативе* и даже без ведома руководства СССР (в равной мере, как это было, скажем, с революциями на Кубе, в Анголе, в Эфиопии). Брежнев, как и другие советские руководители, впервые услышал об этом перевороте по радио и оказался в итоге «пленником идеологии»: раз пришли к власти сторонники социализма — значит, надо их поддерживать. Действительного представления о внутриполитической обстановке в Афганистане, о соотношении общественных сил и различных вооруженных группировок в этой стране наши руководители — это надо со стыдом признать — вообще не имели.

Третий. Быстрое подключение к событиям в Афганистане правительств США, Пакистана, Китая (видимо, гораздо лучше ориентированных относительно положения в стране), открытая поддержка ими — не только

политическая, но и путем снабжения оружием, подготовки военных кадров и т. п.— выступивших против революционного режима моджахедов были крайне болезненно восприняты в Кремле. Они там вызвали то, что американцы в приложении к событиям в Южной Америке называли у себя «синдром заднего двора» (дескать, мы не можем быть безразличны к тому, что происходит у нас на задворках). Вспомним в этой связи действия американцев в отношении Гватемалы в 1954 году, затем на Кубе, в Чили, на Гренаде, в Панаме. В Кремле были убеждены, что, подогревая гражданскую войну в Афганистане, США сами намерены «втиснуться» в эту страну, использовать ее как замену только что потерянного ими Ирана как военной базы и создать таким образом новую крупную стратегическую угрозу непосредственно на южной границе СССР.

Четвертый. Обнаружив реальное положение дел и силу моджахедов, новые афганские руководители (сначала Тараки, затем и прикончивший его бывший «первый заместитель» Амин) почти сразу же начали обращаться в Москву с настоятельными просьбами о направлении в Афганистан в какой-либо форме советских войск, чтобы подкрепить правительственные силы в их отпоре получающим мощную иностранную поддержку моджахедам. Неоднократно вопрос об этих обращениях Кабула возникал на заседаниях Политбюро, причем Брежнев, как, впрочем, и его коллеги, неизменно и решительно высказывался *против* удовлетворения этих обращений афганцев: экономическая помощь, политическая поддержка, поставки оружия — да, но ввод войск — ни в коем случае. Так продолжалось почти два года. И лишь в самое последнее время действия Амина, введшего в стране террористический режим сталинско-бериевского типа, оттолкнувшего подавляющее большинство народа от дела, провозглашенного революцией, да к тому же начавшего еще (по данным разведки) тайный флирт с Вашингтоном, заставили руководителей в Кремле задуматься о принятии каких-то решительных мер — как по устранению Амина, так и по недопущению победы моджахедов.

Пятый. Решение о вводе войск, когда до этого дошло дело, было принято быстро и в самом узком кругу тогдашнего руководства. Насколько я понимаю, инициаторами тут были Андропов (решительно не согласен с В. М. Фа-

линым, что Андропов был против*), Устинов и Громыко. Устинов дал команду о технической подготовке акции за пару недель, а когда окончательное решение было принято, это произошло в условиях определенного давления на Брежнева со стороны «активистов». Удар был нанесен молниеносно, излишней бумажной писанины не было. Достаточно сказать, что я, помощник генсека, впервые узнал об этом уже как о свершившемся факте. Поздним декабрьским вечером (видимо, 24 декабря) я прочитал в своем кабинете только что поступившую телеграмму нашего посла в Кабуле о его беседе с Амином. Последний, говоря о возможном вводе нашего воинского контингента, предлагал различные варианты для публичной мотивировки такого шага: обеспечение безопасности аэродромов, охрана объектов, строящихся при участии СССР, технический инструктаж афганских офицеров и т. п. Прочитав, я снял трубку и позвонил Андропову: «Ну, Юрий Владимирович, какой ответ мы будем давать Амину?» На это последовал ответ: «Какому Амину? Его уже нет, там Бабрак Кармаль, а наши войска уже находятся в Кабуле!»

Позже от ряда членов партийного руководства того времени, включая Горбачева и Шеварднадзе (которые тогда были кандидатами в члены Политбюро), стало известно, что о вводе войск в Афганистан они впервые узнали только из средств массовой информации.

Шестой. Важно иметь в виду, что инициаторы ввода войск для поддержки кабульского правительства изначально вовсе не имели в виду длительную интервенцию и тем более участие в кровавой войне. Из разговоров, свидетелем которых мне приходилось быть, было совершенно ясно: замысел состоял в том, чтобы *напугать* антиправительственные силы самим фактом появления советских войск, вынудить их прекратить сопротивление или пойти на компромисс с Кабулом. От весьма осведомленных представителей Генштаба я слышал, что первоначальная директива нашим силам в Афганистане была не ввязываться непосредственно в военные действия, держаться во втором эшелоне, поддерживая афганские войска только с тыла. Таков был план, но реаль-

---

* Опубликованные в журнале «Вопросы истории» № 3 за 1993 год секретные документы об Афганистане из «особых папок» подтверждают точку зрения автора *(прим. ред.)*.

ное соотношение борющихся сил, логика войны взяли свое...

Седьмой. Под воздействием реально развернувшихся событий руководители в Кремле, включая, пожалуй, в первую очередь самого Брежнева, вскоре поняли, что допустили серьезную ошибку: и оценили действительное соотношение противоборствующих сил (как военных, так и в более широком смысле — общественных) неправильно, и не ожидали такой резкой и массированной международной реакции — особенно со стороны Вашингтона и вообще стран Запада. Одна из близких сотрудниц Брежнева, его доверенный секретарь, рассказывала мне, что Леонид Ильич как-то в ее присутствии раздраженно бросил Андропову и Устинову, говоря о событиях в Афганистане: «Ну и втянули вы меня в историю!» И ведь именно Брежнев первый, после года пребывания наших войск в Афганистане, публично заговорил о возможности их вывода. Выступая 10 декабря 1980 г. в парламенте Индии, он заявил, что в случае «добрососедской договоренности» между «южными соседями Афганистана» (т. е., видимо, Пакистаном и Ираном) и афганским правительством «возникнут предпосылки для полной политической нормализации положения, **включая вывод советских войск из Афганистана** (выделено мной.— *Авт.*)»[45]. Однако довести эту идею до логического завершения у него уже не было сил.

Ю. В. Андропов, придя к руководству, чуть не в первые же дни пригласил в Москву Кармаля и решительно предупредил его: «Через полгода мы уйдем, так что готовьтесь». Напуганный афганский лидер умолял продлить этот срок, но Андропов не согласился. Однако и Андропову судьба не дала возможности осуществить задуманное. Это удалось сделать лишь Горбачеву, который, кстати, еще до прихода к власти, находясь в 1983 году с визитом в Канаде, прямо сказал своим канадским хозяевам, что «ввод войск в Афганистан был ошибкой»[46]. Да и Горбачеву на подготовку вывода войск (как внешне-, так и внутриполитическую) понадобилась пара лет.

Вот, пожалуй, и все, что я хотел бы рассказать читателям в связи со своей работой в течение 21 года помощником Л. И. Брежнева по внешнеполитическим вопросам.

А теперь попытаюсь суммировать свои впечатления

о Леониде Ильиче как о *личности*, о его человеческих качествах, а также о характере его взаимоотношений с ближайшими коллегами по руководству партией и страной. На эти темы в нашей печати за последнее время появлялось так много различных выдумок, а то и просто злонамеренных измышлений, что очень хочется хотя бы вкратце рассказать о том, как дела обстояли в действительности.

БРЕЖНЕВ: ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

Как-то в неофициальной беседе Леонид Ильич сказал мне, задумавшись: «Знаешь, Андрей, все-таки, оценивая пройденный путь, я прихожу к выводу, что самый лучший пост из тех, что мне приходилось занимать,— это пост секретаря обкома партии. И возможность сделать что-то больше, и в то же время можешь сам наглядно видеть и реальную обстановку, и результаты своей работы. Можешь регулярно бывать на заводах, в полях, общаться со многими людьми, чувствовать их настроение. А здесь, в Кремле, сидишь и видишь мир сквозь бумаги, которые кладут тебе на стол».

Это, мне думается, было своего рода ключевое высказывание, которое характеризовало Брежнева как человека и работника. Живой, активный (я имею в виду, конечно, время, когда он был здоров), общительный — и в то же время мало приспособленный к государственной деятельности большого масштаба, к обобщениям и тем более теоретическим выводам. Брежнев сам определил свои оптимальные возможности. Это был хороший практический руководитель областного уровня, но для поста руководителя великой державы и великой партии ему многого явно недоставало. И внутренне он (опять-таки когда был здоров) несомненно сознавал это. Отсюда и такие качества, как исключительная осторожность при принятии серьезных решений, неуверенность, постоянная потребность выслушивать советы других и в то же время частые колебания и даже противоречивые действия, когда эти советы шли в разных направлениях. Это, конечно, не значит, что у Брежнева не было своих взглядов и убеждений, своих концепций во внутренней и внешней политике.

Они были, но по большей части в самом общем виде и в довольно ограниченных пределах: стремление улучшить условия жизни народа, особенно на селе, обеспечить крепкую оборону, закрепить выгодные для СССР итоги второй мировой войны, обеспечить прочный мир.

Но углубленно над стратегией и перспективами развития страны и ее внешней политики Брежнев едва ли задумывался, предпочитая прагматический подход к решению отдельных вопросов по мере их возникновения. Теоретиком ни в коей мере не был и никогда себя им не считал. Даже не любил, когда ему предлагали слишком «теоретизированные» фрагменты в проектах его речей и выступлений: «Кто поверит, что это мои слова? Ведь все же знают, что я не теоретик».

Таким образом, как видим, определенная способность самокритичного подхода была Брежневу не чужда.

У меня до сих пор сохранилась, как память, маленькая, написанная красным фломастером записочка, которую Брежнев передал мне сразу же, вернувшись с трибуны после своего выступления на Общеевропейском совещании в Хельсинки 1 августа 1975 г. Эта записка гласит: «Андрей Михайлович! Как получилось? Ты мой честный критик, я отвечаю тебе за это своими чувствами». Правда, в данном случае речь шла не о содержании речи — она была подготовлена МИД и утверждена Политбюро,— а о технике ее произнесения (к этому времени у Брежнева начала ухудшаться дикция).

Что же касается содержания своих публичных выступлений, то Брежнев, придя к власти, ввел строгий порядок, которого придерживался до конца жизни: все заранее подготовленные тексты своих докладов и речей он предварительно рассылал членам Политбюро и секретарям ЦК и очень внимательно рассматривал (хотя и далеко не всегда учитывал) все поступавшие замечания. Того же он требовал и от своих коллег по руководству и очень сердился, если кто-либо этого не делал.

И в личных беседах, и при коллективном обсуждении каких-либо проблем Леонид Ильич внимательно и терпеливо выслушивал различные мнения, не перебивая говоривших, и, как правило, старался вывести дело на «консенсус».

Прошу понять меня правильно. Все сказанное вовсе не означает стремления умалить значение фактической деятельности Брежнева как руководителя страны.

Если говорить о внешней политике (а я считаю себя компетентным говорить только об этом), то можно утверждать определенно: Брежнев лично внес большой вклад в укрепление международных позиций Советского Союза, упрочение мира в Европе и общую стабилизацию международных отношений. Как уже отмечалось, углубление добрых отношений с Францией, Московский договор с ФРГ, общеевропейское совещание, достижение ядерного паритета с США и начало процесса ограничения гонки ядерных вооружений — во всем этом сыграли конкретную роль личные усилия Брежнева как руководителя.

В общении с людьми Леонид Ильич был, как правило, доброжелателен, приветлив, терпим. Должен добавить: таковы были его натура и в то же время стиль, которого он сознательно придерживался в политических целях. И даже в напряженных ситуациях в ответ на откровенно недоброжелательные выпады старался проявлять максимальную сдержанность, не давал себя спровоцировать. Так было, например, на одном из заседаний Совета обороны (единственном, где мне почему-то удалось присутствовать), когда министр обороны Гречко (его давний знакомый и вышестоящий по армии в годы войны) закатил ему настоящую истерику из-за того, что генсек (и председатель Совета обороны) позволил себе без его, Гречко, ведома пригласить одного из видных военных конструкторов и обсуждать с ним оборонные дела. Все присутствовавшие были возмущены поведением министра и ждали взрыва. Но Брежнев смолчал, остался спокоен. Думаю, однако, что с тех пор его отношение к Гречко серьезно изменилось.

Выросший в недрах партийного аппарата, Брежнев хорошо понимал его значение и силу как носителя реальной власти в стране сверху донизу. Поэтому своей самой надежной опорой он считал секретарей обкомов партии, старался поддерживать с ними неизменно хорошие отношения. Я не знаю случая, когда бы он (будучи здоровым) отказывал кому-либо при их приезде в Москву в приеме и продолжительной, внимательной беседе. И сам, находясь в отпуске в Крыму, ежедневно проводил два-три часа за столом у аппарата ВЧ, расспрашивая секретарей обкомов в разных концах страны об их делах, нуждах, настроениях. Все это, конечно, укрепляло авторитет Брежнева в кадрах пар-

тии и тем самым его позиции в руководстве страны.

Определенная гуманность была свойственна Брежневу от природы. Он не любил жестоких расправ. Как-то, будучи председателем Президиума Верховного Совета СССР, он сказал, что самое тяжелое для него в этой должности — обязанность подписывать смертные приговоры, отклонять апелляции приговоренных.

И вот еще один яркий пример. В марте 1982 года, уже совсем больной, Леонид Ильич посетил Ташкент для вручения очередного ордена республике. За день до выступления Брежнев, следуя совету своего друга— министра обороны Устинова, внезапно решил поехать на Ташкентский авиастроительный завод, один из крупнейших в стране. Визит не был никак подготовлен предварительно, его отговаривали и узбекские руководители, и охрана, но он настоял на своем. Получилась ужасная кутерьма. Изо всех цехов, узнав о приезде лидера, хлынули, побросав работу, десятки тысяч рабочих.

В сборочный цех, куда направился Леонид Ильич, мы еще пробились. Внутри этого цеха под потолком высилась монтажная эстакада, переполненная людьми. Говорили потом, что это сооружение было рассчитано максимум на сорок человек, а набилось на него более сотни. И вот как раз в ту минуту, когда под ним проходил Брежнев в сопровождении Рашидова и других местных руководителей, железный помост зашатался и медленно, на глазах у всех нас рухнул вниз со стоявшими на нем людьми. Общий крик ужаса, толпа отшатнулась назад. Нас швырнуло на бетонный пол. Едва подняв голову, смотрю: что там, под помостом? На полу лежат люди, но Брежнев с помощью других медленно поднимается и, шатаясь, бредет уже к подогнанной в цех машине. К счастью, убитых не было, только тяжело пострадали два пытавшихся прикрыть его охранника.

Мчимся в резиденцию. Там уже перебинтованный, в окружении врачей лежит Леонид Ильич. Сломана ключица. И тут я слышу, как он слабым голосом настойчиво просит соединить его с Москвой, с председателем КГБ Андроповым. И слышу его слова: «Юра, тут со мной на заводе несчастье случилось. Только я тебя прошу, ты там никому головы не руби. Не наказывай, виноват я сам. Поехал без предупреждения, хотя меня отговаривали».

Такая человечная реакция в трудной ситуации меня, признаюсь, тронула. Остается добавить, что на следующий день Брежнев, отвергнув рекомендации врачей, все же выступил на торжественном заседании и вручил республике орден. Только перекладывал листки текста речи левой рукой, так как правая была забинтована. О происшедшем из публики никто не узнал, сообщений никаких не было. Только в Москве нам пришлось пару недель ездить к Брежневу с бумагами для доклада в больницу.

Было бы, однако, большой ошибкой считать, что Леонид Ильич был этаким слабохарактерным добряком-толстовцем. Отнюдь нет. Это был упорный, целеустремленный и хитрый человек, который в своих целях, нередко продиктованных честолюбием, манипулировал людьми, заставлял их делать то, что ему было нужно, и ловко, без излишнего шума и сенсаций умел избавляться от неподходивших ему работников, особенно тех, кого считал потенциальными соперниками. И это притом, что в принципе он был искренним сторонником стабильности кадров, старался сводить перемены к минимуму.

ОТНОШЕНИЯ БРЕЖНЕВА С «СОРАТНИКАМИ»

Упомянутые выше личные качества Леонида Ильича Брежнева четко проявились в том, как складывались его взаимоотношения с ближайшими коллегами по руководству, наиболее влиятельными и активными членами Политбюро ЦК КПСС. Чтобы картина была наиболее ясной, буду говорить в этой связи о следующих семерых, наиболее значительных фигурах: Микояне, Шелепине, Косыгине, Подгорном, Суслове, Андропове и Устинове (имея в виду, что об отношениях с Громыко уже было сказано).

Анастас Иванович Микоян был самый известный как в стране, так и на международной арене деятель из «команды», которую возглавил Л. И. Брежнев, придя к власти в 1964 году. И единственный, кто был членом Политбюро еще при Сталине. В течение многих лет он неизменно проявлял себя умным, дальновидным, гибким и тонким политиком, прекрасным организатором, немало сделавшим для страны — прежде всего в сфере разви-

тия внешней и внутренней торговли и общественного питания.

Микоян был популярен. А его гибкость как политика проявилась в частности, в том, как быстро и решительно отмежевался он от традиций и стиля сталинской эпохи, поддержал реформы Хрущева, встал на его сторону в борьбе с «наследниками Сталина» (Маленковым, Молотовым, Кагановичем и др.). Не мог он не видеть и слабости, ошибки, «заносы» Хрущева в последние годы его правления.

Все это делало поддержку Микояна очень важной для Брежнева, когда дело дошло до прихода его (Брежнева) к руководству и закрепления на высшем посту в стране. Понадобилось немало усилий, чтобы убедить Микояна не сопротивляться смещению Хрущева. И в награду за ветераном был оставлен почетный пост председателя Президиума Верховного Совета СССР.

Но те же самые качества Микояна как политика — опытность, ловкость, авторитетность — делали его в дальнейшем неудобным, неподходящим для Брежнева в составе руководства. Все знали, что Микоян и умнее Брежнева, и более умелый политик. Все это делало его опасным (даже если сам Микоян, скорее всего, не стремился занять высший пост), и все это определило личное отношение к нему нового лидера: Брежнев не любил Микояна, называл его в частных разговорах хитрым, скользким и т. п. И постарался поскорее от него избавиться.

Поэтому Микоян стал первой и, кажется, единственной жертвой принятого незадолго до этого решения: членам руководства страны подавать в отставку по достижении 70 лет. Он дисциплинированно подал заявление, и оно было охотно принято. Поначалу он оставался членом Президиума Верховного Совета, потом консультантом, а затем и вовсе был отправлен на пенсию — и в «политическое небытие» (как Хрущев). О нем не вспоминали. А когда ко дню его 80-летия журнал «Огонек» поместил статью о нем с портретом, Брежнев страшно гневался и устроил разнос агитпропу.

Еще рельефнее политическая жесткость Брежнева в отношении не устраивавших его политиков проявилась в случае с Шелепиным.

Александр Николаевич Шелепин — сравнительно молодой тогда (1918 г. рождения) человек с высшим

гуманитарным образованием (окончил МИФЛИ), энергичный, честолюбивый, с карьерой типичного аппаратчика за плечами: был секретарем ЦК комсомола, затем несколько лет — председателем КГБ. Хрущев дал старт его карьере, оценив ум и деловые качества, сделал его заместителем председателя Совмина. Но у самого Шелепина постепенно стало накапливаться критическое отношение к Хрущеву, его политике. Воспитанный в духе догм сталинизма (или, как он считал, истинного марксизма-ленинизма), Шелепин не одобрял многих либеральных действий Хрущева, его нещадной критики Сталина и особенно его внешней политики — стремления найти общий язык с Западом, тенденций к разоружению и ссоры с Китаем. Все это он считал изменой Хрущева принципам политики партии и государства. Поэтому поддержка намерения сместить Хрущева была с его стороны, можно сказать, естественной.

А Брежневу очень нужна была поддержка энергичного Шелепина с его влиянием на КГБ (новый председатель КГБ Семичастный был прямым ставленником Шелепина). В награду за участие в антихрущевской акции Шелепин был введен в состав Президиума ЦК и сделан секретарем Центрального Комитета партии с очень важными функциями, особенно в сфере кадровой политики.

Однако прошло совсем немного времени, и стало ясно, что союз этих двух деятелей покоился на очень шаткой основе, и вскоре он стал распадаться. Главное, как я убежден, состояло в том, что у умного и энергичного Шелепина был свой честолюбивый замысел насчет занятия первого поста в партии и наведения «должного порядка» в стране жесткими и решительными методами. Брежнева он считал слабой и временной фигурой в руководстве, явно недооценивая его ловкость, жизненный опыт и влияние в партийном аппарате.

Мне вспоминаются пространные замечания и поправки, которые постоянно поступали от Шелепина, к текстам речей, рассылавшихся Брежневым. Все они шли в одном направлении: заострить классовый подход к проблемам, укрепить дисциплину, тверже противостоять проискам империализма, покончить с рецидивами «хрущевщины», к которым он относил и курс на укрепление мирного сосуществования во внешней политике, возобновить взаимопонимание с руководством Китая (а ведь

это было время «культурной революции» в Пекине). Брежнев эти замечания читал, но в общем игнорировал.

Куда более серьезным, с его точки зрения, был факт, что вокруг Шелепина начала собираться компактная группа его единомышленников, главным образом в сфере госбезопасности и идеологии. Последней Шелепин придавал очень большое значение — хотя бы уже потому, что чувствовал себя в этой сфере увереннее, чем, например, в вопросах экономики, в которых не имел никакого опыта. И вот вокруг «железного Шурика», как называли его тогда и сторонники, и противники, образовалась довольно влиятельная группа деятелей идеологического фронта и средств массовой информации — радио и телевидения, ТАСС, историки, публицисты — сторонники «твердой классовой линии» и борьбы с «гнилым хрущевским либерализмом» во внутренней и внешней политике.

Парадокс, но факт: сформировавшаяся вокруг Шелепина группировка включала в себя и две очень близкие к Брежневу фигуры, его помощников и советников на протяжении многих лет — заведующего отделом науки ЦК С. П. Трапезникова и помощника генсека (по вопросам идеологии и сельского хозяйства) В. А. Голикова.

К этому времени, правда, Леонид Ильич, не отказываясь от старой дружбы, постепенно стал все больше отходить от идеологического влияния этих своих сотрудников, понимая ограниченность и однобокость их взглядов. И все же позиции свои они сохранили.

Помню, как вскоре после прихода к власти Брежнев как-то сказал мне во время очередного доклада текущих дел: «Знаешь, я думаю заведующим отделом науки сделать Трапезникова. Как ты считаешь?» Я пришел в ужас: Трапезников — безграмотный, примитивный человек, вся «премудрость» которого умещалась в рамки цитат из «Вопросов ленинизма» Сталина и «Краткого курса истории ВКП(б)». Все это я в слегка обтекаемой форме, но недвусмысленно высказал Брежневу и добавил: «У меня в сейфе сейчас лежит написанная Трапезниковым от руки бумага, в которой на одной странице восемнадцать грубейших орфографических ошибок. И этот человек будет руководить развитием нашей науки, работой академиков?» Леонид Ильич нахмурился и оборвал

разговор, который оказался безрезультатным: Трапезников свое назначение получил.

Не менее парадоксальным представляется сегодня тот факт, что к «твердокаменной» группе вокруг «железного Шурика» примкнул в этот период человек совсем иного типа — первый заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК Александр Николаевич Яковлев, один из будущих «отцов» перестройки.

Образованностью, гибкостью мышления он, конечно, намного превосходил других членов прошелепинской группы. Что его заставило к ней примкнуть, не знаю. Возможно, ошибочные расчеты карьерного порядка. Хорошо помню, как тогда, в самом начале брежневского руководства, он с усмешкой бросил нам, работавшим над каким-то материалом по заданию Брежнева: «Не на того ставите, братцы!» Довольно скоро, однако, А. Н. Яковлев переориентировался и уже вместе с нами участвовал в подготовке материалов для Брежнева.

Так или иначе, но поведение А. Н. Шелепина и постоянные публичные выступления его приверженцев становились все более активными и по существу приобрели характер целеустремленной борьбы за «исправление» линии, проводившейся Брежневым.

Сам Леонид Ильич явно воспринял это как доказательство намерения Шелепина выступить его соперником и занять высший пост в стране. Реакция последовала довольно быстро и радикально, хотя и в завуалированных по-брежневски формах. Были смещены и посланы на дипломатическую работу в дальние страны руководители Комитета по радиовещанию и телевидению и ТАСС. В КГБ первыми заместителями председателя были направлены близкие друзья Брежнева Цвигун и Цинев, а вскоре и самого Семичастного (назначенного зампредом Совмина Украины) заменил надежный соратник Брежнева Ю. В. Андропов.

Сам же Шелепин поначалу был освобожден от должности секретаря ЦК (вопросы кадров, формально переданные маловлиятельному Капитонову, Брежнев фактически взял в свои руки). Шелепин, оставаясь еще членом Политбюро, стал председателем ВЦСПС. Однако и на новом посту этот энергичный человек развил активную деятельность, выступая как защитник социальных интересов трудящихся, и своей популярностью, видимо, снова стал неудобен. В 1975 году его вывели из состава

Политбюро, «освободили» от работы в ВЦСПС и отправили на пенсию.

Так был решен вопрос еще об одном деятеле, которого Брежнев — не без основания — считал своим потенциальным соперником.

Добродушный вроде бы Брежнев был, однако, достаточно злопамятен. В конце концов пострадал и А. Н. Яковлев. В начале 70-х годов из-за не угодившей кому-то, хотя и довольно разумной, на мой взгляд, статьи по национальному вопросу он был снят с работы в ЦК и направлен на долгие годы послом в Канаду.

Не пострадали лишь С. П. Трапезников и В. А. Голиков: к своим давним помощникам Леонид Ильич сохранил лояльность, несмотря на их прегрешения.

Сложнее и более нюансированно складывались и продолжались в течение многих лет отношения Брежнева с одним из его ближайших коллег по руководству страной — **Алексеем Николаевичем Косыгиным.** Это не был прямой соперник Брежнева, рвавшийся занять его пост, но он был крупным, опытным и популярным в стране и особенно в госаппарате деятелем, во многом своими качествами затенявшим фигуру Брежнева, что не могло не раздражать последнего. Тем более что по стилю жизни Косыгин — интеллигент ленинградской закалки, суховатый и сдержанный — был, можно сказать, прямой противоположностью Брежневу.

Вспоминается почти анекдотический случай. Во время одной из заграничных командировок (не помню уж, в какой стране) так сложилось, что вечер оказался свободным от каких-либо мероприятий. За ужином Леонид Ильич как-то растерянно сказал: «Так что будем делать?» Косыгин отвечает: «Ну что, пойдем книжку почитаем». Когда он ушел, Брежнев слегка насмешливо сказал: «Ишь ты, книжку почитаем!» Сам он, вероятно, предпочел бы или какую-нибудь коллективную беседу, или кино, или, на худой конец, телевизор...

Но Косыгин был нужен Брежневу и полезен. Нужен после смещения Хрущева, ибо его назначение председателем Совета Министров весьма содействовало укреплению авторитета нового руководства. Недаром Брежневу пришлось приложить немало усилий, чтобы уговорить Косыгина принять участие в «дворцовом перевороте». Тем более Косыгин был нужен в дальнейшем, в обеспечении управления страной. Его способности как

организатора экономики ценили и Сталин, и Хрущев, он был и заместителем председателя Совмина, и председателем Госплана — и всюду проявил себя хорошо. Ценил его и Брежнев, полагался на него во многом. По крайней мере в том, что касалось руководства промышленностью и финансами. В отношении сельского хозяйства Леонид Ильич больше склонен был опираться на собственные суждения и мнения близкого ему секретаря ЦК по сельскому хозяйству Ф. Д. Кулакова.

Однако Косыгин стал вникать в проблемы руководства нашим народным хозяйством, прежде всего промышленностью, глубже и масштабнее, чем этого ожидал Брежнев. Сам Леонид Ильич посвятил свои силы подготовке серьезных мер по улучшению дел в сельском хозяйстве, разработке новых стимулов к работе тружеников села, поднятию уровня их жизни. Итоги были изложены в его докладе на мартовском пленуме ЦК 1965 года, решения которого в общем оказались полезными и плодотворными.

А Косыгин тем временем, опираясь на разработки большой группы ученых-экономистов, подготовил обстоятельный план реформ по увеличению эффективности нашей промышленности, созданию более действенных стимулов труда, более гибких и современных, менее догматических принципов управления производством. Итоги этих разработок составили содержание доклада А. Н. Косыгина на сентябрьском пленуме ЦК того же 1965 года и привлекли к себе внимание, что уже само по себе не слишком понравилось Брежневу. Более консервативный по складу ума, более приверженный к традиционным «административно-командным» (как теперь говорят) методам управления производством, Брежнев с самого начала с некоторой иронией отзывался о реформах, предложенных Косыгиным, и, насколько я понимаю, в дальнейшем отнюдь не способствовал их претворению в жизнь.

Была почва для расхождений и в области внешней политики. Об одном из них — в отношении Китая — я уже упоминал. А вообще Косыгин явно стремился играть более активную роль в международных делах, чем ему отводил Брежнев. Последний охотнее поручал главе правительства деликатные и трудные, но менее эффектные внешне дела — например, переговоры с Мао Цзэдуном и Чжоу Эньлаем в период обострения отно-

шений с КНР, с президентом США Джонсоном, с руководством Вьетнама. (Хотя, конечно, по правительственной линии у Косыгина было много других встреч и поездок.)

Каких-либо серьезных расхождений по принципиальным направлениям внешней политики между Брежневым и Косыгиным не было, были разногласия в тактических вопросах, не слишком крупные, но вызывавшие раздражение обеих сторон. Дело обычно заканчивалось тем, что Косыгин подчинялся, как бы замыкаясь в себе.

Постепенно взаимное раздражение этих двух ведущих деятелей нового руководства стало нарастать. Брежнева злили действия и высказывания Косыгина даже по мелочам. Видя, в каком направлении идет дело, я, каюсь, однажды предпринял попытку как-то вмешаться, откровенно сказал Леониду Ильичу: «Почему вы так отрицательно реагируете на поведение Косыгина? Ведь он же вполне лоялен в отношении вас как руководителя, никак не претендует на высший пост в стране, а дело свое знает отлично. Неужели вы не видите, что расстройство отношений между вами только приносит вред общему делу?» Брежнев никак не среагировал на это нескромное вмешательство своего помощника, только недовольно хмыкнул.

Со своей стороны, Косыгин последние годы пребывания во главе правительства — видимо, под влиянием возраста и ухудшения здоровья — стал более раздражительным, резким и нетерпимым — не столько в отношении Брежнева (тут он сдерживался), сколько в отношении подчиненных ему государственных деятелей. Обстановка на заседаниях Совета Министров, как мне передавали, стала очень тяжелой. Сам я был свидетелем того, как на одном из заседаний Политбюро, которое вел Брежнев, Косыгин, разойдясь в чем-то во мнениях с председателем Госплана Байбаковым (очень знающим специалистом и хорошим человеком), начал истерически орать на него: «Что вы тут развизжались, как старая баба!» Брежнев с трудом сумел разрядить обстановку.

При таких обстоятельствах уход Косыгина в 1980 году на пенсию (произошел он добровольно или под давлением генсека, не знаю) выглядел уже как естественный шаг. Вскоре же после этого Алексей Николаевич умер от сердечного приступа. К чести Брежнева надо сказать,

что он распорядился организовать похороны своего давнего соратника не как забытого изгоя, а со всеми почестями.

Только вот замену Косыгину Брежнев подобрал малоудачную — куда более слабого и менее опытного работника, своего старого приятеля по Украине Н. А. Тихонова, который так и не приобрел необходимого авторитета на посту главы правительства.

Совсем в иной плоскости развивались взаимоотношения Брежнева со вторым по формальному рангу членом его руководства и давним знакомым — **Николаем Викторовичем Подгорным.** Это был человек, о котором можно было с полным основанием употребить старое выражение: много амбиции, но мало амуниции. По сравнению с ним Леонид Ильич был, можно сказать, кладезь практического опыта, академической мудрости, не говоря уж о такте, умении общаться с людьми. Может быть, поэтому он Подгорного всерьез, как возможного соперника, не воспринимал и каких-то существенных политических расхождений между ними не было.

Поначалу они шли, однако, как бы параллельными курсами. Не знаю, чем Подгорный понравился Хрущеву, но только тот в 1963 году с места первого секретаря ЦК Компартии Украины (какими путями он на этот пост попал?!) перевел Подгорного одновременно с Брежневым в ЦК КПСС, сделав, как и Брежнева, тоже фактически вторым секретарем ЦК.

То есть по существу противопоставил одного другому, чтобы легче было держать обоих под контролем. Одновременно, как я уже упоминал, отзывался об обоих за глаза с презрением и насмешкой. Это, конечно, дошло до них, и Подгорный, вопреки расчетам Хрущева, присоединился к Брежневу в его стремлении к подготовке смещения Хрущева.

Однако долго держать своего недавнего «напарника» под боком в ЦК Брежнев склонен не был. И когда в 1965 году пришла пора устранить Микояна с «президентского поста», Подгорный в награду за сотрудничество был избран председателем Президиума Верховного Совета СССР. Это должно было вполне устраивать Николая Викторовича: должность очень почетная, много представительства, зарубежных поездок и в то же время не слишком много тяжелой повседневной работы, до

которой он не был особенно охоч. Кроме того, Подгорный на новом посту был полезен Брежневу тем, что его как члена «руководящей тройки» всегда можно было, в случае необходимости, использовать для блокирования Косыгина, с которым Подгорный был в плохих отношениях: уж очень они были разные люди, да и соперничество за влияние на государственные дела было между ними постоянным.

Впрочем, временами Подгорный был не против продемонстрировать свою самостоятельность и «вес» в руководстве и в спорах с Брежневым, что, понятное дело, тому не особенно нравилось.

И когда в 1977 году угодливое окружение Брежнева и сам он пришли к выводу, что для вящего утверждения авторитета генсека в стране и особенно на международной арене необходимо, чтобы генеральный секретарь ЦК партии занял одновременно и высший государственный пост, устранение Подгорного произошло без затруднений и излишних формальностей: за ним не было поддержки какой-либо политической группировки, и личным авторитетом он не пользовался. Вежливыми формулировками себя не затрудняли: просто на пленуме ЦК было единогласно принято предложение рекомендовать избрать Брежнева председателем Президиума Верховного Совета СССР, заодно освободить Подгорного от обязанностей члена Политбюро ЦК и отправить на пенсию. Вот и все. Так что доброжелательный Брежнев даже в отношении своих коллег и давних друзей мог быть, если потребуется, весьма жестким. Гуманность его в данном случае проявилась, кажется, только в одном. Когда Подгорный попросил вместо отправки на пенсию назначить его директором какого-нибудь крупного совхоза, Леонид Ильич позвонил ему и сказал: «Коля, ну зачем тебе это? Подумай сам: сейчас ты уйдешь на большую пенсию со всеми привилегиями, как бывший член Политбюро, а позже — с должности директора совхоза? Подумай сам...» Подгорный подумал — и согласился. С политической арены он ушел навсегда.

Михаил Андреевич Суслов был рядом с Брежневым все годы пребывания Леонида Ильича у власти как его надежная опора в вопросах идеологии и взаимоотношений с зарубежными компартиями. В такой опоре Брежнев всегда испытывал нужду, а Суслов посвятил

этим проблемам большую часть своей активной жизни. Суждениям Суслова в этих областях Брежнев доверял, можно сказать, безоговорочно. Помимо всего прочего, он уважал Суслова и как ветерана партии, вступившего в ее ряды еще при жизни Ленина (кажется, в 1921 г.). Как-то Леонид Ильич сказал мне: «Если Миша прочитал текст и нашел, что все в порядке, то я абсолютно спокоен». Словом, надежный советчик-консультант. Вопрос только, в каком направлении шли его советы...

Впервые мне довелось увидеться с Сусловым еще в сталинские времена, где-то в конце 40-х годов или в начале 50-х, когда я появился в его кабинете как переводчик, сопровождавший делегацию Шведской компартии. Суслову было поручено сообщить шведам ответ руководства ВКП(б) (т. е. Сталина) на какой-то интересовавший их вопрос. Мне хорошо запомнились и внешняя обстановка, и характер состоявшейся беседы. Нас встретил высокий, моложавый и худощавый человек почти аскетического вида, больше всего напоминавший бедного студента или строгого школьного учителя. Довольно сухо поздоровавшись, он сразу же зачитал по бумажке весьма лаконичный ответ и больше ничего не добавил. Все попытки гостей завязать беседу, обсудить ту или иную деталь нашей позиции оказались бесплодными: Суслов, как автомат, буквально повторял в той или иной последовательности фразу из зачитанного документа. Конечно, это было сталинское время, когда «самодеятельность» в такого рода делах могла оказаться опасной, но все же я почувствовал, что передо мной отнюдь не творческая личность.

Таким Суслов и был. В отличие от большинства своих коллег, он был начитан в области марксистско-ленинской теории, но всю жизнь был человеком, не развивающим ее в соответствии с ходом реальной жизни (как к тому всегда призывали Маркс и Ленин), а ревностным хранителем уже сказанного, скрупулезным стражем марксистских догм. Это был настоящий догматик и консерватор по своей натуре. Десятки раз я наблюдал, как при решении того или иного поставленного перед ним вопроса Суслов прежде всего задавал вопрос: «А как это делалось раньше?» Даже в мелочах быта он был воплощением консерватизма. Десятки лет ходил в глухо застегнутом длинном темном пальто, неизменных галошах, которые уже никто не носил. Как

когда-то Сталин ругал свою дочь студентку Светлану за «фривольность» — ношение берета, так Суслов отчитывал свою уже взрослую дочь Майю (она рассказывала мне об этом сама) за то, что стала носить брючный костюм, и не пускал в таком виде за стол.

В сталинские времена Суслов с этими качествами был вполне на месте и успешно продвигался по служебной лестнице. Хрущеву же он был, видимо, нужен как гарант соблюдения марксистско-ленинской теории, в которой тот не был силен. И точно в тех же целях — Брежневу. Только с Хрущевым Михаил Андреевич начал, как я понимаю, внутренне расходиться по мере того, как хрущевская внутренняя и внешняя политика становилась все менее ортодоксальной, склонной к менее традиционным, новаторским путям. И, конечно, после покушения Хрущева на единство партии, ее раскола на промышленную и аграрную.

Поэтому Суслов оказался среди тех, кто поддержал смещение Хрущева. Иногда приходится читать, что Суслов был чуть ли не вдохновителем и организатором этого смещения, «серым кардиналом», «делателем королей». В это я не верю. Никаких подтверждений этого не знаю. Да и по натуре своей Суслов был скорее «творческий» бюрократ кабинетного, замкнутого стиля, чем активный политик-интриган.

С Брежневым Суслову, безусловно, работалось легче, чем с Хрущевым. Леонид Ильич больше доверял его догматическим установкам в теоретических делах, сам не был склонен к новаторству в этой области. Осторожность Суслова вполне соответствовала осторожности Брежнева. А то, что сусловский догматизм тяжелым грузом лежал на развитии нашей культуры, нашего искусства, мешая росту всего нового, прогрессивного и критического в этой сфере, Брежнева беспокоило мало, культурой он не особенно интересовался.

Не очень тревожило Брежнева и откровенно отрицательное отношение к Суслову руководителей тех зарубежных компартий, которые были склонны, критикуя догматы Москвы, искать свои пути развития: титовской Югославии, Италии, Чехословакии периода «пражской весны».

Зато Леонид Ильич высоко ценил способности Суслова в другой сфере — в области контроля и налаживания работы партийного и государственного аппарата.

Требовательный, принципиальный, сам аскетически честный, Михаил Андреевич все брежневские годы, до последнего дня своей жизни руководил работой секретариата ЦК, занимался кадровыми делами.

И хотя в чисто личном плане Брежнев и Суслов никогда не были близкими друзьями — слишком разные это были люди по натуре,— Леонид Ильич относился к Суслову с неподдельным уважением и искренне горевал о его кончине.

Одним из самых близких соратников Брежнева на протяжении многих лет был, безусловно, **Юрий Владимирович Андропов.** В высший руководящий круг его ввел именно Брежнев. Правда, заведующим отделом ЦК, а потом и секретарем ЦК по связям с соцстранами он стал еще при Хрущеве (после пребывания — по молотовской рекомендации — послом в Венгрии как раз в период восстания 1956 г.), но особенно большим влиянием тогда еще не пользовался. Хотя уже в то время был известен как умный, эрудированный и проницательный человек. К Хрущеву он был лоялен. Однажды, я помню, он сказал мне о нем (в связи с указанием Хрущева воздерживаться от личных нападок на Мао, несмотря на спор с Китаем): «Вот это — настоящий коммунист с большой буквы!» А о каком-либо участии Андропова в подготовке смещения Хрущева мне ничего не известно.

С Брежневым у Юрия Владимировича с самого начала установились и сохранялись до конца близкие, даже теплые отношения. Леонид Ильич ценил в нем знающего, теоретически хорошо подготовленного, честного, оперативного в практических делах и умеющего общаться с людьми человека, притом глубоко, искренне преданного делу социализма и коммунистическим идеалам. Уже в первые годы руководства Брежнева именно Андропов как секретарь ЦК (в контакте, конечно, с Громыко, напористости которого он даже несколько побаивался) разрабатывал для Леонида Ильича основные линии политики в отношении социалистических стран.

А когда Брежневу потребовалось полностью взять под свой контроль аппарат госбезопасности, покончив там с остатками влияния Шелепина, он, сместив Семичастного, назначил председателем КГБ Андропова, одновременно введя его в Политбюро — с 1967 года кандидатом, а

с 1973-го (одновременно с Громыко и Устиновым) — полноправным членом.

Назначение в КГБ было совершенно неожиданным для Андропова. Хорошо помню, с каким ошарашенным видом он вышел из кабинета Леонида Ильича после беседы с ним. Я находился тогда в приемной и спросил: «Ну что, Юрий Владимирович, поздравить вас — или как?» — «Не знаю,— ответил он.— Знаю только, что меня еще раз переехало колесо истории».

Придя в КГБ, Андропов прежде всего провел основательную чистку аппарата комитета. Значительную часть лихих и беспардонных бывших комсомольских работников заменил серьезно подготовленными сотрудниками с хорошим образованием и, как правило, опытом партийной работы. Учреждение стало заметно более «интеллигентным».

Возглавив КГБ, Андропов стал одним из самых близких и нужных Брежневу работников. Почти ежедневно появлялся он в кабинете генсека с толстой папкой конфиденциальной информации по внутренним и внешним делам и, конечно, высказывал свои мнения и оценки.

Влияние Андропова на Леонида Ильича было, я бы сказал, неоднозначным. С одной стороны, хорошо зная действительное соотношение сил в мире, он был определенным сторонником мирного сосуществования с Западом, нахождения с ним возможных компромиссов и более четким сторонником гибкости, в том числе на переговорах по разоружению, чем, например, Громыко. С другой стороны, Андропов всегда был и оставался убежденным приверженцем классового подхода к международным делам и совершенно чужд методам уговоров и односторонних уступок, применявшимся временами Хрущевым. И уж тем более он был чужд концепциям сближения двух противоположных общественных систем, стирания граней между ними в духе последующей политики Горбачева. Там, где речь шла о защите того, что он понимал как коренные интересы социализма и союза социалистических стран, Андропов мог выступать в числе инициаторов и проводников самых жестких и репрессивных мер — от Венгрии до Чехословакии и затем, к сожалению, также Афганистана.

Правда, в последнем случае это была с его стороны, как я уже упоминал, не столько продуманная кровавая

акция, сколько тактический просчет, ставка на быстрый шоковый эффект, который испугал бы другую сторону. Ошибочность этого он очень скоро понял сам.

Во внутренней политике Андропов придавал ключевое значение выработке новых стимулов повышения производительности труда, развитию науки и укреплению дисциплины на производстве и в общественной жизни. Он всячески старался настраивать Брежнева на это.

Кроме того, зная лучше других положение дел в стране, Андропов был едва ли не единственным членом Политбюро, кто задумывался над проблемами национальной политики и выдвигал некоторые предложения на этот счет — например, относительно какой-то формы автономии для советских немцев. По его инициативе даже было принято решение образовать немецкий национальный округ в Казахстане (кажется, в Павлодарской области), но Кунаев оказался бессилен провести это решение в жизнь из-за сопротивления казахских националистических группировок.

В области идеологии (которой КГБ занимался в те времена «по долгу службы») Андропов, сам образованный и интеллигентный, искал контакта с творческой интеллигенцией, поддерживал единомышленников и старался «воспитывать» колеблющихся и сомневающихся. Так, по моей просьбе он помог выходу на сцену пьесы Шатрова «Так победим» (вопреки возражениям Суслова и консерваторов из Института марксизма-ленинизма), вел «душеспасительные» личные беседы с Евтушенко и другими «полудиссидентами» в мире литературы.

Однако, когда он сталкивался с представителями тех кругов интеллигенции, в ком видел убежденных и активных противников социализма и советской власти, Андропов становился бескомпромиссным и побуждал Брежнева к принятию жестких мер (при поддержке, конечно, Суслова и деятелей типа Подгорного) Достаточно вспомнить о ссылке в Горький Сахарова, выдворении из страны Солженицына и судьбе многих других диссидентов тех лет.

Влияние Андропова на Брежнева было велико, а кроме того, Леонид Ильич по-человечески ценил и даже любил Юрия Владимировича. Хотя и никогда не был с ним запанибрата — для этого они были слишком разные.

Учитывая все сказанное выше, можно понять, что Брежнев на склоне лет, чувствуя надвигавшуюся на него

болезнь, начал сознательно готовить Андропова на роль своего преемника.

Хорошо памятен мне эпизод, когда через день-два после внезапного заболевания Суслова в начале 1982 года Леонид Ильич отвел меня в дальний угол своей приемной в ЦК и, понизив голос, сказал: «Мне звонил Чазов. Суслов скоро умрет. Я думаю на его место перевести в ЦК Андропова. Ведь, правда же, Юрка сильнее Черненко — эрудированный, творчески мыслящий человек?» Я, естественно, полностью поддержал это мнение.

Как-то позже, уже став вторым секретарем ЦК, Андропов рассказывал мне, что Леонид Ильич сделал ему внушение за то, что Андропов, стесняясь, не перенял до сих пор от Черненко, временно осуществлявшего тогда руководство заседаниями секретариата ЦК, эту обязанность на себя.

«Если так пойдет, то мы никогда не подготовим достойную замену на пост генерального секретаря»,— сказал Брежнев, обращаясь к Андропову.

Таким образом, даже больной Брежнев думал о перспективе и делал определенную ставку на Андропова — увы, к тому времени тоже уже тяжело больного.

Пожалуй, самым близким из окружения Леонида Ильича Брежнева по руководству партией и страной был **Дмитрий Федорович Устинов.** Это был несомненно крупный, выдающийся государственный деятель и организатор производства. Человек, получивший блестящее военно-техническое образование, имевший за плечами большую практическую деятельность сначала инженером, а затем главным конструктором знаменитого Обуховского завода в Ленинграде. О выдающихся качествах Устинова как специалиста говорит уже тот факт, что в самом начале войны, в июне 1941 года, его совсем еще молодого человека — тридцати с небольшим лет — Сталин назначил наркомом вооружений Советского Союза. И на этом посту (который позже именовался «министр оборонной промышленности СССР») Устинов находился вплоть до 1957 года, то есть и при Сталине, и при Хрущеве. В 1957 году Хрущев продвинул его до должности заместителя и даже первого заместителя председателя Совета Министров СССР. Таким образом, Устинов — это человек, к заслугам которого можно прежде всего отнести гигантскую работу по созданию вооруженной

мощи Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.

Занимаясь еще при Хрущеве как секретарь ЦК да и председатель Президиума Верховного Совета СССР непосредственно руководством оборонно-вооруженческими делами (включая космос), Брежнев, конечно, находился в тесном и постоянном контакте с Дмитрием Федоровичем Устиновым.

Видимо, именно с этих лет и началась их тесная дружба. Едва только встав во главе партии, Леонид Ильич почти сразу же обеспечивает переход Устинова на работу в Центральный Комитет партии секретарем ЦК, а также кандидатом в члены Президиума Центрального Комитета. На этом посту Устинов имел те же обязанности, то есть курировал всю работу по созданию вооружений, военной техники страны, а также всего, что относилось к космическим делам.

Брежнева и Устинова объединяло многое. Начать с того, что это были люди практически одного возраста — Устинов был на два года моложе Брежнева. Между ними было большое сходство и в плане, я бы сказал, культурного уровня и профессиональной направленности. Как и Брежнев, Устинов был довольно далек от всякого рода культурных проблем. Более того, я бы сказал, что между ними было очень большое сходство характеров, чисто человеческих качеств. Устинов, как и Брежнев, был человеком общительным, доброжелательным, оптимистом по натуре. Им легко было понимать друг друга, они во многом одинаково смотрели на окружающий мир. Однако по характеру Устинов был намного тверже и решительнее Брежнева. И, уж конечно, был гораздо более неутомимым работником. От его помощников я знаю, что Устинов никогда не работал меньше 12 часов в день, но часто больше. И, как правило, приезжал на работу в выходные дни. Тут, конечно, сказывались привычки, выработанные еще в годы войны и вообще в те времена, когда он входил в близкое окружение Сталина. Одно совершенно определенно: Устинов был исключительно надежным работником. Если ему что-то поручалось, можно было быть уверенным, что дело будет сделано по-настоящему, до конца, добросовестно.

В то же время не было да и не могло быть никакой проблемы политического соперничества между Брежневым и Устиновым: Дмитрий Федорович был специали-

стом своего конкретного дела и на какую-то более широкую, в смысле политического влияния, позицию никогда не претендовал. Ему было достаточно того влияния, которым он пользовался как человек, знающий свое огромное, ответственное дело.

В 1976 году, после смерти маршала Гречко, Брежнев возложил на Устинова еще более высокие обязанности: он был назначен министром обороны СССР и одновременно введен в состав Политбюро как полноправный его член (одновременно с Андроповым и Громыко). Брежневу, отношения которого с Гречко, как я уже упоминал, не совсем ладились, было исключительно важно обеспечить твердое и надежное влияние на Вооруженные Силы страны. И в этом смысле Устинов был для него идеальной кандидатурой. А знания и опыт Устинова как руководителя оборонной промышленности и оборонных конструкторских работ, великолепное знание им всех ведущих наших деятелей в этой сфере как нельзя лучше отвечали задаче технического перевооружения Вооруженных Сил СССР, что было, конечно, особенно важно в период нараставшего военного соперничества с Соединенными Штатами.

Если говорить в самых общих чертах о влиянии, которое оказывал Устинов как человек из ближайшего окружения Брежнева на политику руководства в целом, то можно, пожалуй, сказать, что это было влияние в сторону как можно более решительной политики, в том числе и во внешних делах. При выработке позиции на переговорах по разоруженческим вопросам он был сторонником твердого отстаивания равноправия, паритета сторон по основным ключевым позициям, противником всяких односторонних уступок. Особенно, пожалуй, это касалось вопроса о ракетах средней дальности, известных на Западе под названием СС-20, созданием и развертыванием которых Устинов очень гордился.

Он, а вместе с ним и другие члены нашего руководства искренне считали, что развертывание этих ракет решало наконец долгую и трудную для Советского Союза проблему обороны от окружавших наши границы почти по всему их периметру американских военных баз и подводных лодок, снабженных ядерным оружием.

Когда Брежнев стал уже совсем болен и фактически отошел от руководства крупнейшими проблемами нашей политики, он передоверил формирование внешнеполити-

ческой части этих проблем по существу «тройке» в составе Громыко, Андропова и Устинова. При этом с мнением Устинова всегда очень считались и Громыко, и Андропов. У меня нет для этого каких-то прямых доказательств, но я совершенно убежден, что когда возникла проблема ввода войск в Афганистан, то Устинов наряду с Андроповым был одним из сторонников такого нашего шага. Это вовсе не означало, что он рассчитывал на длительную и кровавую войну. Нет, это был с его стороны, как и со стороны всего нашего руководства, грубый просчет, неправильная оценка соотношения сил и положения дел в Афганистане.

В заключение хочу добавить только одно: Брежнев не просто доверял Дмитрию Федоровичу Устинову как товарищу по работе, но и любил его как близкого друга.

Я не упомянул пока имени еще одного человека, безусловно входившего очень долгое время в состав ближайшего окружения Брежнева. Я имею в виду **Константина Устиновича Черненко.** Дело в том, что Черненко среди других коллег Брежнева играл несколько своеобразную роль. Долгие годы он был просто близким доверенным секретарем Брежнева: например, начальником секретариата Президиума Верховного Совета СССР, затем, после перехода Брежнева в ЦК, заведующим общим отделом ЦК. Должность эта чрезвычайно важная и во многих отношениях позволявшая оказывать серьезное влияние на формирование и осуществление политики, но вместе с тем должность эта не творческая — канцелярист с большой буквы, человек, который во многом определяет формулирование важнейших решений руководящих органов партии, в том числе Политбюро, а затем осуществляет контроль за их претворением в жизнь на практике. Вот всем этим и занимался Черненко на упомянутых мной постах. И, конечно, он лично, именно лично — это было для него чрезвычайно важно — докладывал Леониду Ильичу все важнейшие документы, поступавшие в высшие эшелоны Центрального Комитета, сопровождая это, когда было уместно, какими-то своими комментариями, может быть, рекомендациями. Причем делал он это, надо отдать должное, с большим искусством, поскольку обладал тонкой интуицией по улавливанию настроений и направления мысли начальства, умел подстроиться к этому направлению, умел доложить дело так, чтобы оно не вызывало раздра-

жения, сглаживал острые углы, что осознанно или неосознанно, но весьма нравилось Леониду Ильичу. А так как их сотрудничество насчитывало многие годы, даже десятилетия — оно восходило ко времени работы Брежнева в Молдавии после войны, то естественно, что между ними установились весьма близкие, доверительные отношения, и Леонид Ильич, насколько я мог понять, неоднократно давал Черненко поручения даже самого деликатного характера, с которыми он не обратился бы ни к одному из других своих сотрудников и коллег. Нетрудно поэтому понять, что Леонид Ильич не только ценил услуги Черненко, но и пытался его как-то поощрять — это было вполне в его характере. Черненко в последние годы, когда Брежнев чувствовал себя совсем больным и малоработоспособным, стал особенно нужен Брежневу, и последний быстрыми темпами начал продвигать его вверх по ступеням служебной лестницы. Не успели мы моргнуть глазом, как Черненко вместо обычного заведующего отделом ЦК стал и Героем Социалистического Труда, и секретарем Центрального Комитета, а вскоре после этого — и членом Политбюро ЦК, то есть вошел в самый высший руководящий орган партии.

При всем этом, однако, я должен откровенно сказать, что Черненко не был политиком и не стал им, несмотря на все свои возвышения по лестнице власти. Это был преданный помощник, умный, хорошо организованный и умелый канцелярист, и, пожалуй, не более. Вот поэтому я говорю о нем в контексте ближайшего окружения Брежнева только в самом конце и так коротко.

БОЛЬНОЙ БРЕЖНЕВ

Это — печальная, но неизбежная тема, если говорить о периоде моей работы у Леонида Ильича. Это была поистине нарастающая драма — драма чисто человеческая для того, о ком идет речь, но вместе с тем, конечно, и драма для страны, во главе руководства которой он стоял.

Где-то примерно с начала второй половины 70-х годов Брежнев стал, как говорится, на глазах меняться в худшую сторону. Стала слабеть память, сильно ухуд-

шилась дикция (что его лично очень мучило, действовало на его самолюбие), ослабла способность сосредоточиваться на сложных политических вопросах. В этом состоянии он стал всячески как бы уходить от острых, больших и сложных проблем, раздражался, когда ему их «навязывали». Хорошо помню один случай, когда мой коллега Блатов и я пришли к нему в кабинет, чтобы все-таки получить решение каких-то абсолютно неотложных, «горевших» вопросов. В ответ Леонид Ильич раздраженно бросил нам: «Вечно вы тут со своими проблемами. Вот Костя (Черненко.—*Авт.*) умеет доложить...»

Дело, конечно, значительно усугублялось тем, что в своей семье Леониду Ильичу становилось все труднее. Обстановка дома была действительно сложной. Дети выходили из-под контроля, становясь все более жертвами надвигающегося алкоголизма. Супруга, очевидно, не имела никакого влияния на ход событий. Дело кончилось тем, что Леонид Ильич начал попросту сбегать из дому, запираясь в своем кабинете в Кремле даже в свободные от работы дни, принимал там в больших количествах успокаивающие и снотворные таблетки и спал по нескольку часов среди бела дня.

Его стремление изолироваться от трудностей и проблем выразилось также и в том, что своим рабочим местом он окончательно избрал специально построенный для него на третьем этаже основного здания в Кремле кабинет, который как бы территориально отстранял его от всего аппарата Центрального Комитета, находившегося за целый квартал оттуда, в другом месте, от членов Политбюро и секретарей ЦК, тем более от заведующих отделами Центрального Комитета, словом, ставил его в положение даже чисто физического одиночества. Сквозь стену этой изоляции был способен, как правило, пробиться только Черненко, ну и, может быть, в необходимых случаях такие люди, как Андропов, Устинов и Громыко.

Хорошо понимая происходящий процесс ослабления своих возможностей, Леонид Ильич за последнее время почти полностью передоверил формирование как внутренней, так и внешней политики узкому кругу людей, на которых больше всего полагался (Тихонов, Суслов, Андропов, Громыко, Устинов и, конечно, Черненко). В составе руководящих органов партии появилось множество так называемых комиссий Политбюро, которые

занимались той или иной актуальной крупной политической проблемой, например энергетикой, отношениями с Китаем, Польшей, Ираном, вопросами разоружения и т. д. Эти комиссии, каждая из которых возглавлялась одним из членов Политбюро, подробнейшим образом рассматривали все соответствующие вопросы, формулировали проекты решений по ним, а по существу предрешали эти решения. Черненко потом лишь в рабочем порядке согласовывал их с другими членами Политбюро. Сами заседания Политбюро, которые проводил Брежнев, в свое время продолжавшиеся по нескольку часов, стали сокращаться до одного часа, до 45 минут и т. д. Всем было видно, что Брежнев думает только об одном: как бы поскорее закончить заседание и уехать на отдых в Завидово.

В этот же период он, как я уже упоминал, начал уходить и от внешнеполитических контактов, в частности от встреч с Фордом, Картером. В Бонне, где он был с визитом в предпоследний год своей жизни, относился крайне невнимательно к обсуждавшимся вопросам, держался только за заранее подготовленные шпаргалки, упускал из поля зрения даже очень важные возникавшие вопросы (например, проблему ракет средней дальности в Европе).

Все сказанное вовсе не означает, что сам Леонид Ильич не сознавал, не представлял себе то положение, в котором в действительности оказался, не представлял степень ослабления своих возможностей, своей работоспособности. Напротив, многое из того, что мне приходилось наблюдать, говорило о том, что он все это прекрасно видел, знал и очень мучился таким положением. Из совершенно надежного источника мне известно, что Леонид Ильич дважды ставил перед своими товарищами по Политбюро вопрос о своем уходе в отставку. Но «старики» (Тихонов, Соломенцев, Громыко, Черненко, может быть, Устинов) решительно были против: «Что ты, Леня! Ты нам нужен, как знамя, за тобой идет народ. Ты должен остаться. Работай гораздо меньше, мы тебе будем во всем помогать, но ты должен остаться». Видимо, у Брежнева не хватило силы воли противостоять этим уговорам (а может быть, сыграло свою роль и честолюбие — нежелание завершать свою жизнь в положении человека, ушедшего с высшего поста в государстве).

При всем этом, однако, ясно одно: Брежнев думал об избрании своего преемника. Как я уже упоминал, в последние месяцы своей жизни он принял на этот счет совершенно ясное решение: этим преемником должен стать Андропов.

III. ПОСЛЕ БРЕЖНЕВА

МОЯ РАБОТА У АНДРОПОВА (1982—1984 гг.)

О Юрии Владимировиче Андропове как человеке и работнике я уже говорил неоднократно в различных контекстах. Мы были давние товарищи — я познакомился с ним еще в МИД в 1953 году и с тех пор проникся уважением к этому умному, тонкому и принципиальному человеку. В годы моей работы у Л. И. Брежнева я систематически поддерживал с ним контакт, советовался по самым различным вопросам, всегда высоко ценил его мнение. Чтобы дать читателю более наглядное представление о характере этих контактов, прибегну к несколько необычному способу: приведу здесь случайно сохранившиеся у меня тексты двух записок, которыми мы обменялись с Юрием Владимировичем во время одного из заседаний Политбюро (под руководством Брежнева) где-то осенью 1978 года, то есть когда Андропов был членом Политбюро и председателем КГБ. А я во времена Брежнева присутствовал по его указанию почти на всех заседаниях этого руководящего органа партии. В данном случае мои мысли занимал вопрос о нашей реакции на недавно (в августе 1978 г.) заключенный договор о мире и дружбе между Китаем и Японией. Учитывая продолжавшуюся напряженность в наших отношениях с Китаем, для советского руководства этот китайско-японский шаг был почти столь же неприятным явлением, как неожиданное примирение Никсона с Пекином в 1972 году. И мне очень не понравилась весьма эмоциональная, порывистая и необдуманная реакция на новую ситуацию в некоторых наших дипломатических и иных влиятельных кругах. Размышляя, как тут быть, я решил

прозондировать мнение Андропова и написал ему тут же, на заседании, записку следующего содержания:

«Юрий Владимирович,

Вы очень правильно призвали к более тонкому и точному подходу к «единству Китай — США». Думаю, то же очень важно учитывать и в связи с подписанием японо-китайского договора. Сейчас много горячих людей, которые под влиянием эмоций требуют «выдать» японцам, «решительно разоблачить» их, заморозить те или иные намечавшиеся контакты, поездки и переговоры.

По-моему, это наивно. Договор стал фактом, этого не изменишь. Кстати, мы все же добились его явного смягчения.

Все дело теперь в том, какова будет практическая политика Японии. Проклятиями и отказами мы ее не испугаем, а лишь толкнем ближе к Китаю. Лучше использовать склонность Токио сбалансировать договор какими-то шагами навстречу нам. Надо развивать, а не свертывать связи с Японией и втягивать ее еще больше в долгосрочное сотрудничество с СССР.

Разве не так?

А. Александров».

Ответ, который Юрий Владимирович написал сразу же, сидя за столом заседания, был примерно таков, как я и ожидал: сочетанием гибкости и твердости. Он написал:

«Андрей Михайлович!

Я думаю, что в долгосрочном плане мы должны быть готовы к таким «поворотам» даже в условиях «разрядки». Что касается Японии, то мы теперь (при наличии их договора с КНР) можем «наотмашь» отбивать их по Курильским островам и вообще прагматически использовать их стремление «оправдаться» перед нами (в смысле получения от них чего-либо выгодного для нас). Это — выгоднее, чем «фыркать».

Андропов».

Я привел здесь текст этих записок для того, чтобы дать представление о характере наших многолетних контактов с Андроповым по многим политическим вопросам. Конечно, когда я стал помощником Юрия Владимировича, то есть его непосредственным подчи-

ненным, характер контактов изменился, вступили в силу такие факторы, как уважение к начальнику и дисциплина, но возможность свободно выразить свое мнение оставалась до конца.

Что можно добавить, опираясь на недолгий (фактически чуть более полугода) опыт этого последнего отрезка моего общения и сотрудничества с Юрием Владимировичем? Прежде всего я получил возможность отчетливо, на близком расстоянии наблюдать такие его качества, как исключительная организованность и точность, глубокое, можно сказать, дотошное проникновение в суть любого рассматриваемого вопроса, высокая требовательность в этих отношениях к себе и к другим. Наверное, ничто так не раздражало Андропова, как халтурный, поверхностный подход к делу. Особенно недостоверность, непроверенность сообщаемой ему информации. (Здесь, наверное, сказались навыки 15-летней работы в КГБ.)

При этом от помощников своих он ожидал не только информации, но и серьезного ее осмысления, оценок, идей, предложений. И очень внимательно к ним прислушивался. Характерно, что из всех руководителей, с которыми мне пришлось работать, только Андропов практиковал серьезное коллективное обсуждение вопросов, намечавшихся к рассмотрению на очередном заседании Политбюро. Мы все собирались вокруг него в кабинете, каждый докладывал суть «своего» вопроса и свои соображения о путях и методах его решения. Другие высказывали свои мнения. Андропов или соглашался, или возражал, или просто принимал к сведению. Но, во всяком случае, в итоге он был лучше «вооружен» по каждому из вопросов. Мне такой метод определенно нравился, он обогащал всех его «соавторов» и, наверное, был полезен для дела.

В целом же Юрий Владимирович в общении со своими ближайшими сотрудниками был чужд всякой фамильярности (в отличие от Л. И. Брежнева*) и всегда держался в строго корректных деловых рамках.

* Кстати, в отношении самого себя Брежнев никакой фамильярности, панибратства «снизу» абсолютно не терпел. Всегда была черта, переступить которую было небезопасно. В этом убедился, например, А. Е. Бовин, которого Брежнев ценил как работника, но однажды именно на этой «этической» почве довольно надолго отстранил от сотрудничества *(прим. автора)*.

Что касается политического курса Андропова во *внутренних* делах, то он был в те немногие месяцы, которые ему удалось поработать в качестве руководителя страны, отмечен, я бы сказал, тремя главными направлениями. Прежде всего — быстрое наведение самыми жесткими методами дисциплины и порядка во всех сферах производственной и общественной жизни, включая борьбу с коррупцией в высших эшелонах. Здесь Андропов был беспощаден и, не мешкая, использовал информацию, которой располагал, еще будучи председателем КГБ. Первые удары были нанесены по Щелокову, Медунову и Рашидову. Щелоков и Медунов были немедленно исключены из состава ЦК и смещены со своих постов.

В один из этих дней он, сидя со своими помощниками, стал советоваться, на какой пост лучше всего «упрятать» министра внутренних дел (Щелокова), чтобы он не мог больше вредить, разворачивая коррупцию и поощряя преступные элементы. Предложение избрать его на малозначительный пост председателя одной из палат Верховного Совета Андропов отверг категорически: «Это же настоящий, прожженный жулик, разве вы не понимаете?» В итоге был избран гуманный, но эффективно «обеззараживающий» путь: Щелокова определили в так называемую «райскую группу» при Министерстве обороны на должность одного из «генеральных инспекторов», сохранив за ним воинское звание, мундир и кабинет, но никаких прав и обязанностей. (С собой Щелоков покончил уже позже, при Черненко, убедившись, что новый генсек вовсе не собирается «реабилитировать» его, как он надеялся, по старому, еще со времен Молдавии, знакомству и общей дружбе с Брежневым.)

Медунова просто без всякого шума отправили на пенсию.

Рашидова Андропов вызвал сам (тот все-таки был первым секретарем ЦК Узбекистана и кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС). И, видимо, в ходе беседы изложил ему все скопившиеся к тому времени в КГБ и в ЦК материалы о фактах коррупции и иных преступных деяний в тогдашнем узбекском руководстве, в том числе и со стороны самого Рашидова. (Позднее, как известно, последовал ряд громких процессов по «узбекским» делам, в том числе и расстрел одного из министров за злоупотребления и обман государства.) Не знаю, чем

завершил тогда Андропов этот свой разговор, но я сам видел, как Рашидов вышел из его кабинета бледный, как бумага. Вскоре после этого он покончил с собой в Ташкенте.

Пристально присматривался Андропов и к настроению, и к поведению некоторых других видных работников, чья политическая или моральная надежность в чем-то вызывала у него сомнения (тоже явное наследие традиций работы в КГБ). Я почувствовал это во время разговора с ним, в ходе которого попытался замолвить слово за А. Н. Яковлева, находившегося уже несколько лет в «ссылке» — несправедливой, как я считал,— на посту посла в Канаде. Мне казалось, что потенциал Яковлева можно было бы эффективнее использовать в Центре. Тогда был вакантен пост председателя АПН, и я намекнул на возможность назначения Яковлева. Андропов поначалу реагировал довольно вяло. «Может быть,— сказал он и вдруг решительно добавил:— Но назад, в аппарат ЦК, ему пути нет!» Я понял, что тут претензии серьезные. Яковлев, однако, был возвращен в Москву в 1983 году и назначен директором Института мировой экономики и международных отношений.

Или вот еще один любопытный штрих. Как-то, задумавшись, Юрий Владимирович вдруг сказал: «Знаете, есть коммунисты, которых нельзя считать большевиками. Вот возьмите, например, Арбатова — коммунист-то он, конечно, коммунист, а вот назвать его большевиком язык не поворачивается».

Известна начатая при Андропове массовая кампания против нарушителей дисциплины на производстве и прогульщиков, включая и пресловутые «рейды» органов правопорядка по магазинам Москвы и других городов с целью «отлавливания» людей, ушедших с работы в рабочее время. Эти меры, естественно, вызвали неоднозначное отношение населения, многие иронизировали. Я как-то не удержался и пересказал Андропову услышанный в городе анекдот о том, что возглавленное им учреждение называется отныне не ЦК КПСС, а Чека КПСС. Юрию Владимировичу это очень не понравилось, он нахмурился и помрачнел.

Но Андропов думал и пытался заглядывать вперед гораздо дальше элементарного наведения дисциплины и порядка. Особенно, как я уже упоминал, его заботили две кардинальные проблемы: отыскание путей скорей-

шего подъема в стране *производительности труда* и создание условий для наиболее успешного и эффективного развития *науки* — как в сфере естественно-технических исследований, так и в области серьезного, творческого анализа путей и законов развития нашего общества. Об этом Юрий Владимирович думал непрестанно, часто говорил в беседах с нами, не раз затрагивал эти темы в своих публичных выступлениях, включая и свою последнюю, может быть, наиболее масштабную по содержанию публичную речь — на пленуме ЦК КПСС 15 июня 1983 г. Обдумывал он подходы к этой проблеме и в кадровом плане. Когда надо было найти кандидатуру на пост заведующего отделом науки ЦК КПСС, я назвал ему имя академика Е. П. Велихова — крупнейшего физика и активного общественного деятеля. Но Юрий Владимирович сразу же ответил: «Нет, насчет него у меня другие планы. Его надо будет поставить во главе Академии наук».

Ну а что касается *внешней политики*, то тут у Андропова просто до многого руки не дошли, не хватило времени. Правда, он прежде всего заботился о том, чтобы поддерживать тесные товарищеские контакты и сотрудничество с руководителями стран Варшавского Договора (чем занимался ранее, до 1967 г., будучи секретарем ЦК). Был я также свидетелем того, как при встрече в Москве Юрий Владимирович как-то сразу сблизился с Фиделем Кастро, отнесся к нему с подчеркнутой теплотой, уважением и вместе с тем с полной товарищеской откровенностью. Фидель это почувствовал и высоко оценил.

Так получилось, что приход Андропова к руководству совпал с периодом резкого обострения наших отношений с *США*.

Ведущую роль в этом обострении играл, безусловно, Рональд Рейган. Еще в период предвыборной борьбы за президентский пост, а затем в первые годы президентства он уже «прославился» своими ожесточенными антикоммунистическими и антисоветскими выпадами, продолжал на практике начатую Картером еще в конце 1979 года политику «блокады» связей и контактов с СССР и одновременно всячески стимулировал достигшую невероятных масштабов гонку ядерных вооружений всех видов между двумя сверхдержавами. Достаточно сказать, что ко времени, о котором идет речь, США имели

десять с лишним тысяч ядерных стратегических зарядов (СССР — около восьми тысяч), перешли на установку разделяющихся головных частей на своих баллистических ракетах, что многократно увеличило их поражающую мощь, начали готовить развертывание крылатых ракет. СССР отвечал созданием новых, все более мощных типов стратегических ракет и развернул сеть нацеленных на Западную Европу ракет средней дальности СС-20.

И вот в этой предельно напряженной обстановке Рейган решил накалить атмосферу еще больше. Произошло это в марте 1983 года. Не знаю, почему в Вашингтоне выбрали именно это время: может быть, потому, что рассчитывали на ослабление рычагов руководства в Кремле (болезнь Андропова не была, конечно, секретом), а может быть, Рейган решил начать под звук воинственных фанфар свою кампанию по подготовке к президентским выборам конца 1983 года.

8 марта 1983 г. президент США выступил с публичной речью, в которой обрушился на СССР с потоком самых резких и грубых обвинений, когда-либо звучавших со стороны американского руководства в адрес страны, с которой США поддерживали нормальные дипломатические отношения. Советский Союз, заявил Рейган,— это «империя зла», «концентрация всего зла, имеющегося в современном мире», «место его общественного строя — на свалке истории». Даже ближайшие союзники США по НАТО были ошарашены этой бешеной атакой американского президента.

Двумя неделями позднее —23 марта — Рейган, тоже в публичной речи, выдвинул и настойчиво рекомендовал американскому народу свой впоследствии ставший широко известным план так называемой стратегической оборонной инициативы (СОИ). Суть его состояла в идее создания всеобъемлющей, покрывающей всю страну сети объектов, базирующихся частично на земле, частично в космосе и имеющих своим назначением уничтожение в *полете* стратегических ракет, выпущенных по Соединенным Штатам, то есть надежно прикрыть эту страну и ее население от любого ядерного удара извне. Это — чисто оборонительный план, заявил Рейган, гораздо гуманнее предотвратить удар, чем уничтожать противника ответным ударом. И призвал конгресс и народ приступить к осуществлению этого «гуманного плана».

При этом, конечно, умалчивалось о том, что, будь он реализован, это означало бы сохранение в руках США всех средств по уничтожению Советского Союза при лишении последнего возможности нанести эффективный ответный удар. Возникла угроза качественно нового, еще более грозного и разорительного витка гонки вооружений. Оставлять такое выступление руководителя США без быстрой ответной реакции было не в характере Андропова. И он отреагировал почти немедленно — обширным интервью на страницах «Правды». Заявление Андропова было выдержано в исключительно резких тонах, беспрецедентных в течение многих лет для высказываний советского руководства в отношении президента США. Андропов заявил, что Рейган допустил «беспардонные извращения» политики Советского Союза, применял «нечистоплотные приемы», что президент говорил «заведомую неправду» о действиях СССР и т. д. «Приемы, к которым прибегают нынешние руководители Вашингтона, чтобы очернить политику СССР,— недопустимые в отношениях между государствами»,— завершил свою атаку Андропов. Что же касается выдвинутого Рейганом предложения о СОИ, то оно, по словам Андропова, было «рассчитано на то, чтобы обезоружить Советский Союз перед лицом американской ядерной угрозы»[1]. Закончил он заверением, что СССР не допустит достижения военного превосходства над собой.

Инициатива Рейгана и происшедший обмен крайне резкими заявлениями «на высшем уровне» между двумя сверхдержавами надолго отравили атмосферу политических отношений между ними и к тому же основательно подхлестнули гонку вооружений всех видов.

Но любопытная деталь: в это же самое время Рейган начал буквально засыпать Андропова многочисленными намеками насчет своего желания установить личный контакт, чтобы обсудить возможности улучшения американо-советских отношений. Эти намеки делались и устно (в беседах с послом Добрыниным), и в форме письменных обращений (частично даже написанных от руки).

Андропов, как правило, в корректной, но самой общей, необязывающей форме реагировал на эти сигналы, в действительности же, как я мог убедиться, абсолютно не принимал их всерьез: слишком уж трудно было совместить эти «жесты доброй воли» с публичными

заявлениями и реальными действиями Рейгана. Скорее Юрий Владимирович воспринимал их как проявление лицемерия и желание запутать, сбить с толку руководство СССР. Это была характерная для Андропова подозрительность, воспитанная в нем долгим жизненным опытом (руководство заброской партизан в тыл врага в годы войны, переживания в период венгерского восстания 1956 г., да и весь период работы в КГБ). Допустить, что Рейган по-своему, неуклюже, но искренне пытался проводить «двухлинейную» политику в отношении Москвы и предпринять какие-то позитивные шаги, особенно накануне новых президентских выборов в США, Андропов просто не мог. Между тем события последующих лет (1985 г.) показали, что это могло быть и так.

Во всяком случае, какого-либо улучшения отношений с США и вообще с Западом Андропов за краткий период своей внешнеполитической деятельности записать в свой актив не смог. Да и физической возможности для этого не было: через пару месяцев он слег в больницу, чтобы уже никогда не вернуться в свой рабочий кабинет.

О его твердом намерении вывести поскорее наши войска из Афганистана я уже говорил.

РАБОТА С К. У. ЧЕРНЕНКО

В течение года пребывания Черненко у власти, да и позже, я не раз задавал себе вопрос: как же все-таки получилось, что на высшем руководящем посту огромного государства оказался этот слабый и физически, и во многих других отношениях человек, не имевший для этого ни достаточной эрудиции, ни опыта настоящей государственной работы, ни знания экономики? Ведь не могли же этого не видеть избравшие его коллеги, да и сам Константин Устинович, если уж на то пошло? Ведь он был человек неглупый. Ну, самого его, очевидно, на старости лет попутал так часто обуревающий людей бес честолюбия: находясь столько лет в непосредственной близости от главного руля управления, трудно было удержаться от соблазна ухватиться за него, пусть ненадолго, коль скоро такая возможность появилась. А появилась

она в результате внутренней борьбы в Политбюро после смерти Андропова, под сплоченным давлением «стариков», которые больше всего не хотели прихода к руководству Горбачева и его единомышленников и надеялись, что слабый и послушный Черненко обеспечит им восстановление тех господствующих позиций, которыми они располагали в последние годы при больном Брежневе. Ими, конечно, активно использовался и такой факт, как многолетнее тесное сотрудничество Черненко с Брежневым, доверие, которое Леонид Ильич ему подчеркнуто оказывал. При этом, однако, предпочитали обходить то обстоятельство, что Брежнев доверял Черненко прежде всего как своему надежному *помощнику*, лояльному исполнителю его, Брежнева, воли и замыслов, видел в нем разумного, здравомыслящего, трудолюбивого, честного и порядочного человека, на которого можно было положиться, а вовсе не творческого государственного деятеля, формирующего политику (подобно, скажем, Андропову, Громыко, Устинову). Об этом говорят все мои наблюдения за их взаимоотношениями в течение многих лет. Об этом же, наконец, со всей ясностью свидетельствует и упоминавшаяся мной выше беседа Леонида Ильича со мной в январе 1982 года, накануне смерти Суслова.

Но так или иначе, Черненко стал генсеком, а я, по его настоятельной просьбе, остался в роли помощника по внешнеполитическим делам. Работать с ним пришлось совсем недолго — всего несколько месяцев. Еще и до того, как Константин Устинович слег в больницу, он был все время ослабшим, полубольным и находился под неусыпной опекой своих давних ближайших сотрудников (прежде всего В. В. Прибыткова), которые всячески старались оберегать его от больших нагрузок и охранять его (а заодно и свой) престиж.

К своему предшественнику, Андропову, Черненко до конца сохранил явную неприязнь, тем более что тот, оставив за Черненко пост второго секретаря ЦК, фактически его игнорировал, ничего серьезного ему не поручал и вообще за глаза отзывался о его способностях слегка иронически. Не удивительно поэтому, что, став генеральным секретарем, Черненко сразу же — и с определенным раздражением — заявил нам, сотрудникам своего секретариата: «Работать будем *по-брежневски*, как при Леониде Ильиче».

Я, со своей стороны, с самого начала пытался внушить Черненко, что необходимо продолжить начатую Андроповым линию на преодоление в обществе расхлябанности, упадка производственной дисциплины, коррупции, что весьма ценилось в народе. Иначе начнет распространяться мнение о бессилии нового руководства, а это опасно. Черненко в общем соглашался и кое в чем пытался действовать в этом направлении. Не случайно он, в частности, решительно отверг требование о реабилитации сразу же явившегося к нему «по старой дружбе» Щелокова.

Будучи не в состоянии справиться со свалившейся на него на новом посту горой работы в самых различных направлениях, Черненко, подобно больному Брежневу, передоверил подготовку, а во многом и решение крупных проблем узкому кругу наиболее близких ему людей в руководстве — тем же Устинову, Громыко, Тихонову, а также Гришину. Идеологические дела — подготовку текстов выступлений, «теоретических» статей и т. п. поручал — под эгидой того же Прибыткова — чаще всего своему новому помощнику В. А. Печеневу (из аппарата отдела пропаганды ЦК) и главному редактору журнала «Коммунист» Р. И. Косолапову, которые очень усердно (но, на мой взгляд, не очень успешно) пытались создать для Константина Устиновича «имидж» деятеля, продолжающего развивать и углублять теоретические основы развитого социализма.

Ни сформировать какую-то свою линию *во внешней политике,* ни установить и тем более развить личные контакты с зарубежными лидерами Черненко практически не имел времени, да, видимо, и особых возможностей. Однако кое-какие тенденции у него в этой сфере отметить можно. Черненко пришел к руководству в период, как уже говорилось, весьма серьезного обострения международной обстановки, особенно наших отношений с США. И, по моим наблюдениям, он считал одной из своих важных задач во внешней политике принимать (в пику Андропову!) возможные меры к смягчению этих отношений, к успокоению обстановки. Об этом, в частности, свидетельствуют содержание и тональность бесед, которые он провел с такими видными американскими деятелями, как А. Гарриман и А. Хаммер, а также его интервью журналу «Шпигель» (ФРГ). Характерно, что и Гарриман, и Хаммер говорили потом,

что Черненко произвел на них весьма благоприятное впечатление своей спокойной рассудительностью и доброжелательностью. В очень добрых, конструктивных тонах провел он также переговоры в Кремле с королем Испании Хуаном Карлосом во время официального визита его в СССР.

И в восточном направлении Константин Устинович успел сделать один заметный шаг. После длительного периода внешне корректных, но по существу весьма прохладных отношений московского руководства с Северной Кореей и лично с Ким Ир Сеном Черненко принял лидера КНДР в Москве и имел с ним длительную дружескую беседу, которой Ким Ир Сен остался очень доволен и на которую потом часто ссылался.

Из своих бесед в МИД Японии (куда я ездил в 1984 г. в составе делегации Верховного Совета СССР) я знаю, что японцы возлагали некоторые надежды на положительный (с их точки зрения, разумеется) сдвиг в японо-советских отношениях, выражая в то же время понятное беспокойство по поводу состояния здоровья Черненко, стабильности его перспектив на посту руководителя. Чего-либо конкретного в отношении Японии Черненко не предпринял. Мало того — даже ответить на вежливое письмо общего характера, которое я ему привез от японского премьер-министра Накасонэ, Громыко ему «отсоветовал», хотя сам Черненко был склонен это сделать.

Так что диапазон деятельности Черненко в области внешней политики был весьма и весьма ограничен — в силу как медицинских обстоятельств, так и краткости его пребывания на руководящем посту. Но общая тенденция была заметна: в пользу разрядки.

И в заключение любопытная деталь совсем другого рода, тоже говорящая о том, что Черненко был склонен продолжать политическую линию Брежнева. Речь идет об отношении к 94-летнему к тому времени В. М. Молотову, виднейшему из оставшихся еще в живых представителей сталинского руководства. При Хрущеве отправленный на пенсию Молотов был поставлен в подчеркнуто унизительные условия: исключен из партии, получал 120 рублей пенсии, лишен всяких льгот. Но в брежневские времена его положение потихоньку, без всякой огласки, начали постепенно облегчать: удвоили размер пенсии, предоставили дачу в совминов-

ском поселке. Однако Черненко был первым, кто взял на себя ответственность за восстановление Молотова в партии (с сохранением прежнего партстажа) и даже вызвал его в ЦК, чтобы сообщить об этом. Но и это без всякой огласки. Даже с нами, своими помощниками, он не говорил на эту тему.

ГОД С М. С. ГОРБАЧЕВЫМ

Мои личные контакты с М. С. Горбачевым, хотя и в ограниченных масштабах в виде отдельных бесед, начались еще в то время, когда он был вторым секретарем, а Черненко или лежал в больнице, или сидел в кабинете полубольной и ничего важного не решал. Чувствуя себя каким-то «покинутым» и в то же время ощущая, что Горбачев внимательно следит за событиями и, как правило, имеет свое определенное мнение о них, я иногда заходил к нему в кабинет «отвести душу», поделиться кое-какими идеями из внешнеполитической области и прозондировать его отношение к ним. Заходил в основном для моральной поддержки, так как к конкретному решению крупных проблем Черненко Горбачева не особенно привлекал. Однажды я пожаловался, что у меня лично такое ощущение, что я сижу в своем кабинете на стуле, которого подо мной нет. На это Михаил Сергеевич с усмешкой сказал: «Ничего, потерпи. Ты думаешь, мне легко?»

С приходом Горбачева к руководству сразу же хлынул поток динамичных, целеустремленных действий: совещаний, встреч, поездок в различные регионы страны. Поначалу это проявлялось в основном во внутриполитических делах. К внешнеполитическим он еще пока присматривался, привыкал, хотя и тут имел, как правило, свое определенное мнение. Представленные материалы рассматривал быстро (хотя и без личных обсуждений, как это часто делал Андропов). Новые предложения воспринимал с интересом, не идя при этом на поводу у мидовских традиций. Вот один пример. В мае 1985 года, при подготовке к приему в Москве Раджива Ганди (с которым Горбачев, кстати, отлично поладил), я предложил включить в речь Горбачева на обеде в

Кремле абзац, содержавший призыв подумать о создании в Азии какой-либо формы сотрудничества государств во имя установления стабильности и безопасности в этом беспокойном регионе (не обязательно, как в Европе, но что-то в этом духе). При этом доложил, что руководство МИД, с которым я советовался, отнеслось к этой идее скептически, считая это делом бесполезным. Горбачев только отмахнулся: «Включай весь текст, как есть». Вместе с тем, когда я посетовал на часто проявляющийся крайне негибкий, «консервативный» подход Громыко и его «школы» к попыткам искать новые, нестандартные подходы к решению тех или иных внешнеполитических проблем, Горбачев ответил: «Ты Громыко не беспокой, он еще нам будет нужен». (Правда, уже летом того же года Громыко оказался замененным на постуининдел Эдуардом Шеварднадзе.)

Мне довелось принимать активное участие в подготовке и обеспечении двух первых визитов Горбачева на Запад для переговоров на высшем уровне — с Миттераном (Париж, октябрь 1985 г.) и Рейганом (Женева, ноябрь 1985 г.). И я видел, как невероятно много, интенсивно работал Горбачев во время таких визитов. Помню, например, в Женеве накануне очередной встречи с Рейганом мы все сидели с ним над разработкой очередных документов почти до 4 часов утра. А в 7 часов мидовцы уже будили его, чтобы согласовать какие-то поправки американцев, набежавшие за ночь. Материалы, заранее подготовленные МИД и помощниками, Михаил Сергеевич использовал охотно, без излишних придирок, но постепенно начал переносить центр тяжести своих контактов на личные беседы с глазу на глаз, без специальных заготовок, считая это (и не без основания) более эффективным методом воздействия на собеседника, чем переговоры делегаций за большим столом. Так было в Париже и тем более в Женеве, где даже первая встреча началась с того, что советской и американской делегациям пришлось часа полтора просидеть практически молча друг против друга в ожидании, пока в соседнем маленьком кабинете закончится возникшая экспромтом у камина беседа двух лидеров.

Контакты с Миттераном проходили и завершились в атмосфере взаимного уважения и традиционной для советско-французских связей доброй воли. Миттеран, при всей его природной сдержанности и даже сухости,

проявил в отношении своего нового гостя, я бы сказал, максимум теплоты. Горбачев отвечал тем же.

Рейгана как партнера Михаил Сергеевич поначалу, пожалуй, недооценил. Помню, после первой продолжительной беседы один на один, когда президент то и дело вытаскивал из кармана памятные карточки, и ужина в нашей резиденции, во время которого Рейган беспрерывно рассказывал анекдоты, Горбачев, сам не очень склонный к юмору, бросил слегка насмешливую реплику: «Да, это был бы очень приятный сосед по даче, но президент...» Впрочем, в дальнейшем оба руководителя научились легче находить общий язык, как-то больше сблизились. Горбачев и в этом случае проявил свой несомненный талант располагать к себе собеседника.

Политические итоги этих двух первых визитов генсека на Запад были существенными, хотя в каждом случае различными.

Во Франции в центре официальных переговоров были, как это уже часто случалось, вопросы экономических связей, и главным подписанным документом стало пятилетнее соглашение об экономическом сотрудничестве. Но основная задача была в другом: Горбачеву надо было подать себя Франции и всей Западной Европе как политика, последовательно выступающего за углубление мирного сосуществования, за дальнейшее развитие процесса ограничения гонки вооружений и обеспечение прочного мира и безопасности в Европе. Этому были посвящены его пространные речи, произнесенные в Париже, и обстоятельные высказывания на совместной с Миттераном пресс-конференции. И поставленная задача, я считаю, была выполнена вполне успешно. Визит этот, как парижская поездка 1971 года для Брежнева, открыл Горбачеву «окно» в Западную Европу.

Что касается встречи с Рейганом, то здесь надо было не просто попытаться наладить контакт с «трудным» в прошлом президентом, но и добиться какого-то сдвига к лучшему в давно уже замороженных советско-американских отношениях. И эту задачу, как я считаю, решить в основном удалось. Конечно, переговоры были трудными, особенно по СОИ, где Рейган так и не сдал своих позиций. Но по ряду принципиальных вопросов разоруженческого плана удалось найти общий язык, что получило свое отражение в довольно кратком, но содержательном совместном коммюнике об итогах перегово-

ров. Там, в частности, содержатся такие положения: «...Стороны... заявляют, что ядерная война никогда не должна быть развязана... Они также подчеркнули важность предотвращения любой войны между ними — ядерной или обычной. Они не будут стремиться к достижению военного превосходства»[2]. И наконец, была подчеркнута кардинальная цель: «...Предотвратить гонку вооружений в космосе и прекратить ее на Земле, ограничить и сократить ядерные вооружения и укрепить стратегическую стабильность»[3].

В отличие от Андропова, Горбачев вполне благожелательно отозвался на авансы Рейгана относительно расширения «человеческих контактов» между американцами и советскими людьми. Поэтому в совместном заявлении есть и такой абзац: «Они считают, что должно быть больше взаимопонимания между нашими народами, и с этой целью будут содействовать расширению поездок и контактов между людьми»[4].

Словом, по общему духу и настрою отношения с Соединенными Штатами удалось, пожалуй, вернуть (после многолетнего перерыва) где-то приблизительно к уровню итогов московского визита Никсона в 1972 году. Только у Горбачева была возможность строить и развивать на достигнутой базе эти отношения дальше, и он ею воспользовался.

Я, конечно, удовлетворен тем, что смог участвовать в этих двух крупных внешнеполитических акциях и внести в них какой-то вклад.

Постепенно, однако, в течение года мое отношение к Горбачеву стало меняться — и не в лучшую сторону. И дело тут было не в политике («перестройка» со всеми ее «красотами» к тому времени еще не развернулась), а скорее в чисто человеческих качествах. Наблюдая его контакты с людьми, я все больше убеждался, что внешняя открытость и благожелательная приветливость — это скорее привычная маска, за которой нет действительно теплого и доброго отношения к людям. Внутри — всегда холодный расчет. А это малоприятно.

И второе. К сожалению, я убедился, что Горбачеву присущ один очень серьезный для большого руководителя недостаток: оказалось, он совершенно не умеет слушать (вернее, слышать) своего собеседника, а целиком увлечен тем, что говорит *сам*. Даже при такой процедуре,

как доклад ему информации, это давало себя знать, что, согласитесь, не очень помогало делу. Монолог, лишь монолог...

Личные контакты с Горбачевым у меня постепенно ослабевали, поскольку он, видимо, погруженный в разработку основ предстоявшей «перестройки», замкнулся в кругу своих ближайших единомышленников, таких как А. Н. Яковлев, В. А. Медведев, А. С. Черняев, проводил с ними целые дни. Чувствуя себя в какой-то мере инородным элементом в этой среде (да и для них я, видимо, представлялся носителем старых, подлежащих замене брежневских традиций), я все больше ограничивал свое общение с шефом обменом докладными записками и резолюциями на них. (Правда, писания мои он рассматривал быстро и реагировал на них оперативно.)

Постепенно такая обстановка стала меня тяготить, хотя внешне все было вполне корректно, никаких упреков, ни тем более конфликтов. Да и возраст мой (68 лет) все труднее сочетался с нарастающим динамизмом жизни и работы. Поэтому, поразмыслив, я решил подать заявление об отставке, о выходе на пенсию. Поблагодарил за доверие, которое было мне оказано, за возможность выполнять ответственные поручения руководства. Горбачев просил меня еще «подумать», но через месяц, когда я пришел вновь, просьбу удовлетворил. Расстались мы по-хорошему. Михаил Сергеевич, обнял меня на прощание, сказал: «Я доволен нашим сотрудничеством. Спасибо». Назначил мне хорошую (по тем временам) пенсию и в заключение добавил: «Ты внешнеполитические дела не бросай. Если будут какие-то полезные идеи, передавай мне через помощников». Я в этой связи сказал ему о только что учрежденной должности советника при МИД СССР (для ветеранов — дипломатов высокого ранга). Он тут же отдал распоряжение о назначении меня на эту должность.

Так в феврале 1986 года закончилась моя 23-летняя работа международника в аппарате ЦК КПСС.

ПОСЛЕДНИЕ ШЕСТЬ ЛЕТ В МИД

Итак, с мая 1986 года начался последний этап моей деятельности на внешнеполитической арене. Вместе с ря-

дом своих коллег (В. С. Семенов, С. В. Червоненко, бывший заместитель министра и посол в Югославии Н. Н. Родионов, бывшие послы в Италии и Англии Н. М. Луньков и В. И. Попов) я стал советником при МИД СССР (кстати, последняя должность, которую занимала А. М. Коллонтай, вернувшись из Швеции). Поначалу я принял это назначение всерьез и старался «выкладываться» со всей энергией (хотя и в пределах ограниченного рабочего времени): писал докладные записки с различными идеями и предложениями, выполнял ряд поручений. И руководство МИД, судя по всему, воспринимало пока еще нас как действующих лиц на мидовской сцене. Нас приглашали, в частности, на все заседания коллегии министерства, мы имели возможность высказывать свое мнение по обсуждавшимся вопросам. Но самое главное и отрадное лично для меня: нас неоднократно направляли в самые различные страны в роли специальных представителей советского руководства для разъяснения государственным деятелям этих стран позиций СССР по ряду крупных внешнеполитических проблем (чаще всего — разоруженческих) и итогов встреч М. С. Горбачева с иностранными лидерами. Эти поездки (1986—1988 гг.) были для меня большой радостью. Прежде всего, они дали мне возможность, против всякого ожидания, после сорокалетнего «интервала» трижды (1986, 1987 и 1988 гг.) побывать в стране моей молодости — Швеции, с которой было столько связано в моей жизни. Они дали также возможность снова увидеть Финляндию и Данию, которые я очень люблю. И наконец, я смог посетить страны, где, несмотря на свои многочисленные поездки по всем континентам в предыдущие годы, вообще никогда не бывал раньше: Норвегию, Исландию, Англию, Канаду, Ирландию.

Всюду были обстоятельные и, как правило, очень приятные беседы с руководящими деятелями этих государств (без переводчика, что значительно упрощало дело). Особенно теплыми были беседы с премьер-министром Швеции Ингваром Карлссоном и министром иностранных дел Стеном Андерссоном, с президентом Финляндии Мауно Койвисто, а также с премьером и главой МИД Канады Б. Малруни и Дж. Кларком, с премьерами Дании (Шлютером) и Исландии (С. Херманссоном). Собеседники мои, как правило, щедро

отводили время для обстоятельного и спокойного обсуждения проблем, слушали внимательно и с интересом, задавали немало вопросов. Я, со своей стороны, старался со всей искренностью и объективностью изложить и мотивировать позиции и предложения советского руководства, подробнее рассказать о ходе проведенных им переговоров. Мои партнеры говорили потом (в частности, нашим послам), что беседы были для них полезны. Датский премьер Шлютер даже упомянул об этом в разговоре с Горбачевым во время своего визита в Москву. Наряду с этим я направлял также более или менее регулярно небольшие тематические записки Горбачеву (согласно его просьбе) и Шеварднадзе как министру с соображениями относительно нашей линии по самым различным вопросам (проблемы разоруженческого плана, отношение к военной интеграции Западной Европы, развитие отношений с Израилем, проблемы национальной политики в СССР и др.). До Горбачева, я знаю, коечто доходило и принималось им с вниманием. С Шеварднадзе дело обстояло несколько иначе. Из направленных ему лично 15 записок я получил ответ (и то через секретарей) лишь на три. Причем, когда одну из них поставили на обсуждение коллегии (в позитивном духе), автор даже не был приглашен.

И вообще где-то года через два после своего «второго пришествия» в МИД я (как, впрочем, и мои коллеги) почувствовал, что всякий интерес к нашей группе у руководства МИД пропал. Командировки прекратились, приглашений на коллегию больше не было, заданий никаких. Не знаю, случайно или нет, но это совпало с периодом самых яростных «разоблачений» в наших средствах массовой информации эпохи Брежнева и всего, что было связано с ней. У меня сложилось, откровенно говоря, впечатление, что в этих условиях Шеварднадзе просто стыдится — или боится — публично показать, что у него в аппарате все еще находятся такие довольно известные в свое время представители «партократической» системы, как С. В. Червоненко, Н. Н. Родионов и тем более Александров. Нельзя сказать, чтобы это было очень приятное ощущение, особенно если учесть ту «пылкость дружеских чувств», которую тот же Шеварднадзе неизменно старался демонстрировать в отношении меня (и моей семьи), пока я работал в ЦК. И это притом, что, попав в его подчинение в МИД, я, естественно,

об этом никогда и никак не напоминал и даже ни разу не просился к нему на прием.

Почувствовав себя некоторым образом в вакууме и не желая получать зарплату «ни за что», я обратился к министру (через помощников) с предложением принять участие в начавшейся тогда в МИД большой работе по рассекречиванию архивов внешней политики СССР. Для этого остро не хватало квалифицированных работников, а просматривать надо было (причем внимательно, со всей ответственностью) десятки тысяч дел. Шеварднадзе, как мне передавали, очень обрадовался такому моему предложению и тут же отдал соответствующее распоряжение. Итак, в последние три года своей многолетней работы в МИД я оказался под эгидой ИДУ (историко-дипломатического управления), где ранее не один десяток лет проработала моя жена Маргарита Ивановна.

Мне предложили для просмотра архивы из фонда В. М. Молотова за годы второй мировой войны. Должен признать, что это было очень интересное чтение. Даже я, работавший в те годы в системе НКИД, узнал очень много для себя нового и поучительного. Рассекречивать в новой обстановке можно было спокойно почти все — процентов, наверное, 97 всей документации. То, что в сталинские и тем более военные времена было глубочайшей государственной тайной, стало теперь доступно и для наших ученых, и для общественности. Так что я испытывал определенное моральное удовлетворение, сидя в своем кабинетике с этими архивными делами.

В заключение считаю своим долгом с благодарностью и признательностью отметить то внимательное и исключительно теплое отношение, которое все эти последние годы неизменно проявляли ко мне мои добрые друзья — послы Швеции в СССР Андерс Тунборг и Эрьян Бернер, гостями которых в шведском посольстве сначала мы с женой, а потом я один бывал не раз.

Тем временем внутримидовская жизнь радикально изменилась. С исчезновением Советского Союза исчез и МИД СССР, превратившись в МИД Российской Федерации. В него влилась широкая струя новых, молодых работников, в основном из различных органов Федерации, со своим стилем работы и поведения. «Стариков» постепенно отправляли в отставку. В этих условиях я, вместе с Червоненко, счел неудобным продолжать

отсиживаться в сторонке, занимая место. (Тем более что незадолго до этого — в 1990 и 1991 гг.— я перенес два инфаркта.) Мы подали заявление об отставке — уже на имя А. В. Козырева. Наша просьба была удовлетворена. Таким образом в конце июня 1992 года завершилась моя работа в МИД — и тем самым более чем полувековая деятельность в сфере международных дел.

Оглядываясь сегодня, в конце своего пути, назад, хочу сказать одно: жизнь была яркая, полная больших и важных дел и незабываемых впечатлений, часть которых я попытался донести до читателей этих строк. Думаю, что при всех скромных масштабах моей личной деятельности я смог сделать кое-что полезное для мира и безопасности своей Родины, своего народа. Во всяком случае, считаю, что ни сожалеть о чем-либо из сделанного, ни тем более стыдиться мне не приходится. «Если бы снова начать, я бы выбрал опять бесконечные хлопоты эти».

ПРИМЕЧАНИЯ

I. В ГУЩЕ ДЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫХ

[1] *Nilsson A.* Glimtar uz mitt liv som lãkarе, Stockholm, 1969, s. 146.

[2] *Gerhard K.* Om jug inte minnstel, Stockholm, 1953, s. 206.

[3] *Из письма от 18 сентября 1940 г.*//АВПР, 1940, фонд В. М. Молотова, оп. 2, п. 27, д. 241, л. 85.

[4] *Из письма от 18 октября 1940 г.*//Там же, л. 91.

[5] *Там же,* л. 103.

[6] *Там же,* л. 105.

[7] *Там же,* л. 122, 124.

[8] *Hägglöf G.* Diplomat, L., 1971, p. 162.

[9] *Porter C.* Alexandra Kollontay, N. Y., 1980, p. 480.

[10] *Иткина А. М* Революционер, трибун, дипломат, М., 1970, с. 273.

[11] *Там же,* с. 278.

[12] Цит. по *Porter C.* Op. cit., p. 479.

[13] *Utriksspolitik och historia, Mititärhistoriska Förlaget,* Stockholm, 1987, s. 158.

[14] *Idem.,* s. 152.

[15] *Nilsson A.* Op. cit., s. 150.

[16] *АВПР,* 1948, фонд референтуры по Швеции, оп. 43, п. 153, д. 43, л. 6.

[17] *Там же,* л. 14.

[18] *Там же,* л. 63.

[19] *АВПР,* 1940, фонд В. М. Молотова, оп. 2, п. 38, д. 371, л. 74.

[20] *Там же,* д. 37, л. 18.

[21] *Там же,* л. 21, 28.

[22] *АВПР,* 1943, фонд В. М. Молотова, оп. 5, п. 15, л. 137.

[23] *Чуев Ф.* Сто сорок бесед с Молотовым, М., 1991, с. 52.

[24] *Громыко А. А.* Памятное, т. 1, М., 1988, с. 413.

[25] *Правда,* 1983, 17 июня.

[26] *Правда,* 1983, 27 сент.

[27] *АВПР,* фонд 22, оп. 11.

[28] *Правда,* 1983, 8 сент.

[29] *Ленинская внешняя политика в современном мире*//Коммунист, 1981, № 1.

[30] *Из речи Л. И. Брежнева на XXXVI сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 22 сентября 1981 г.* // Правда, 1981, 22 сент.

[31] *Громыко А. А.* Указ. соч., т. 2, с. 151.

[32] *Киссинджер Г.* Переломные годы, М., 1983, с. 214.

[33] *Сталин И. В.* О Великой Отечественной войне Советского Союза, М., 1951, с. 46.

[34] *Там же*, с. 75.

[35] См. *Правда*, 1952, 11 марта.

[36] *АВПР*, фонд В. М. Молотова, оп. 12, п. 19, д. 291, л. 5.

[37] *Там же*.

[38] *Там же*, л. 8.

[39] *История внешней политики СССР*, ч. 2, М., 1971, с. 191—192.

[40] *АВПР*, 1953, фонд В. М. Молотова, оп. 12, п. 29, д. 450, л. 3.

[41] *Там же*, л. 4.

[42] *Организация Варшавского Договора. Документы и материалы, 1955—1980*, М., 1980, с. 9.

[43] См. *Международная жизнь*, 1955, № 5, с. 64.

[44] *Там же*, с. 67.

[45] См. *История внешней политики СССР*, с. 234.

II. ПЕРЕХОД НА РАБОТУ К Л. И. БРЕЖНЕВУ

[1] *Материалы XXII съезда КПСС*, М., 1961, с. 370.

[2] *Там же*, с. 390.

[3] *Там же*, с. 428.

[4] *Брежнев Л. И.* 47-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции, М., 1964, с. 21—23.

[5] *Брежнев Л. И.* Ленинским курсом, т. 1, М., 1973, с. 108.

[6] *Там же*, с. 111.

[7] См. *Правда*, 1968, 28 марта.

[8] См. *Правда*, 1968, 18 июля.

[9] См. *Правда*, 1968, 4 авг.

[10] *Медведев Р.* Личность и эпоха, М., 1991, с. 211—212.

[11] См. *Правда*, 1966, 18 янв.

[12] *Брежнев Л. И.* Ленинским курсом, т. 1, с. 261.

[13] *XXIV съезд КПСС*. Стенографический отчет, т. 2, с. 221.

[14] *Правда*, 1976, 26 окт.

[15] *Брежнев Л. И.* Ленинским курсом, т. 9, с. 444—445.

[16] *Там же*, т. 4, с. 406.

[17] *Там же*, с. 409.

[18] *Там же*, с. 412.

[19] *Правда*, 1971, 28 окт.

[20] *Правда*, 1980, 20 мая.

[21] *Правда*, 1980, 23 мая.

[22] *Внешняя политика Советского Союза*, М., 1985, с. 226.

[23] *Правда*, 1970, 13 авг.

[24] *Визит Л. И. Брежнева в Федеративную Республику Германии 4—7 мая 1978 года*, М., 1978, с. 60.

[25] *В интересах прочного мира и добрососедства*, М., 1981, с. 20.

[26] Цит. по *Киссинджер Г.* Переломные годы, М., 1983, с. 445.

[27] *Там же*, с. 442.

[28] *Там же*, с. 462.

[29] *Там же*, с. 418.

[30] *Там же*, с. 445.

[31] *Там же*, с. 453.

[32] *Там же*, с. 454.

[33] *Киссинджер Г.* Годы в Белом доме, М., 1980, с. 170.
[34] *Там же*, с. 176—177.
[35] *Там же*, с. 181.
[36] *Там же*, с. 182.
[37] См. *The Memoirs of Richard Nixon*, N. Y., 1978, p. 525—530.
[38] *Ibid*, p. 530.
[39] *Киссинджер Г.* Годы в Белом доме, с. 302.
[40] *The Memoirs of Richard Nixon*, p. 620.
[41] *Советская программа мира в действии*, М., 1972, с. 47.
[42] *Документы и материалы третьей советско-американской встречи на высшем уровне*, М., 1974.
[43] *Брежнев Л. И.* Ленинским курсом, т. 6, с. 486.
[44] *Там же*, т. 7, с. 322.
[45] *Там же*, т. 8, с. 556—557.
[46] См. *Oberdorfer D.* The Turn from the Cold War to a New Era, N. Y., 1991, p. 257.

III. ПОСЛЕ БРЕЖНЕВА

[1] *Андропов Ю. В.* Избранные речи и статьи, М., 1983, с. 250.
[2] *Советско-американская встреча на высшем уровне*, М., 1985, с. 14.
[3] *Там же*.
[4] *Там же*.

СОДЕРЖАНИЕ

I. В ГУЩЕ ДЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫХ

II. ПЕРЕХОД НА РАБОТУ К Л. И. БРЕЖНЕВУ

III. ПОСЛЕ БРЕЖНЕВА

Мемуары

Андрей Михайлович
Александров-Агентов

От КОЛЛОНТАЙ *до* ГОРБАЧЕВА

Редактор *О. А. Топалова*

Художественный редактор *С. С. Водчиц*

Технический редактор *Г. В. Лазарева*

Корректор *А. В. Федина*

ИБ № 2217

Сдано в набор 21.01.94. Подписано в печать 1.04.94. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 15,96. Усл. кр. отт. 15,96. Уч.-изд. л. 16,41. Тираж 2 000 экз. Заказ № 17. Изд. № 33-и/93.

Издательство «Международные отношения»
107078, Москва, Садовая-Спасская, 20

Тульская типография,
300600, г. Тула, пр. Ленина, 109

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

готовятся к выходу мемуары:

Корниенко Г. М. «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА»: свидетельство ее участника: Мемуары. Объем — 15 л.

Автор книги прошел путь от референта информационной службы советской политической разведки в 40-х годах до первого заместителя министра иностранных дел СССР в 80-х годах. На протяжении всего этого периода основной областью его интересов и прямых служебных обязанностей были отношения между СССР и США — главными противниками в «холодной войне».

Читатель найдет в книге много нового и интересного и об истоках «холодной войны», и о таких ее острейших эпизодах, как карибский и берлинский кризисы, афганская эпопея, инцидент с южнокорейским самолетом, узнает об упущенных возможностях покончить с «холодной войной» намного раньше, чем это произошло.

Для широкого круга читателей, интересующихся современными международными отношениями.

Медведев В. А. РАСПАД (Как он назревал в «мировой системе социализма»). Объем —14 л.

Крушение послевоенных режимов в странах Восточной Европы — одно из крупнейших событий мировой истории последних лет. О политических переворотах 1989—1991 годов в восточноевропейских странах написано уже довольно много, они еще свежи в нашей памяти. Но пока в тени остается все то, что предшествовало распаду мировой социалистической системы.

Предлагаемая книга — одна из первых попыток дать читателю объективную информацию об этих исторических процессах. Ее автор В. А. Медведев — в прошлом секретарь и заведующий отделом ЦК КПСС, отвечавший за связи с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран, затем член политбюро, человек, входивший в ближайшее окружение М. С. Горбачева. Он участвовал в разработке и проведении политики СССР по отношению к соцстранам.

В специальной главе «Восток — дело тонкое» автор рассказывает об отношениях Москвы с братскими партиями азиатских стран, вступившими в мировую социалистическую систему.

В книге автор излагает свою точку зрения на общую ситуацию в социалистическом лагере и роль СССР, приводит в доказательство многочисленные никогда ранее не публиковавшиеся документы и материалы.

Для широкого круга читателей.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Издательство «Международные отношения» сообщает всем, кому не удалось в 1991 году приобрести «Историю Советского Союза» Дж. Боффы, о втором издании этой книги.

Боффа Дж. ИСТОРИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА / Пер. с ит.: В 2-х т.: Т. 1. От революции до второй мировой войны. Ленин и Сталин. 1917—1941 гг.; Т. 2. От Отечественной войны до положения второй мировой державы. Сталин и Хрущев. 1941—1964 гг. Объем —92 л.

Большая исследовательская работа «История Советского Союза» (в 2-х томах) написана одним из самых авторитетных специалистов по истории, итальянским ученым Дж. Боффой. Это обстоятельное, подробное, опирающееся на множество документов исследование истории Советского государства. По охвату событий, по оригинальности подхода этот труд не имеет аналогов в мировой историографии.

Книга Дж. Боффы, недавно переизданная массовым тиражом в Италии, переведенная на многие языки, имела большой успех и у российских читателей. Написанная живым языком, она фактически заполнила вакуум школьных и вузовских учебных курсов по отечественной истории советского периода.

Первый том освещает события 1917—1941 годов; второй охватывает период с начала Великой Отечественной войны до падения Н. С. Хрущева и начала периода брежневского «застоя».

Printed In Russia